Эмма
Клайн

ДЕВО-
ЧУК

Роман

PH

Эмма Клайн

Девочки

THE GIRLS by Emma Cline
Copyright: © 2016 by Emma Cline

Все права защищены.

Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана с любезного согласия автора и при содействии Anna Jarota Agency

© А. Завозова, перевод на русский язык, 2017

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017

© “Фантом Пресс”, издание, 2017

* * *

Я обернулась, услышав смех, и не отвернулась, увидев девочек.

Сначала я заметила их волосы, длинные и нечесаные. Затем — солнечные зайчики на их украшениях. Девочки были далеко от меня, я видела только очертания лиц, но сразу поняла: эти трое отличаются от всех в парке. Семейства топтались возле гриля в ожидании сосисок и бургеров. Женщины в клетчатых рубашках жались к парням. Дети швырялись эвкалиптовыми пуговками в одичалых с виду кур, которые сновали между деревьями. Но эти длинноволосые девочки словно бы проплывали над всем происходящим — трагически, отстраненно. Точно королевы в изгнании.

Я разглядывала девочек бесстыдно, откровенно, приоткрыв рот: и представить было нельзя, что они посмотрят в мою сторону и меня заметят. На коленках у меня лежал позабытый гамбургер, ветерок доносил с реки уклеечную вонь. Тогда я каждую девочку оценивала и оглядывала, вечно проверяя, где я до нее недотягиваю, и поэтому сразу поняла, что черноволосая — самая красивая. Я поняла это, даже не видя их лиц. От нее исходила какая-то нездешность, грязное платье с широкой юбкой едва прикрывало зад. По бокам от нее шли две девочки — одна тощая и рыжая, другая постарше, — одетые в такое же потрепанное что попало. Будто их из озера выудили. Дешевые кольца — как второй ряд костяшек. Они проверяли на прочность шаткую грань между красотой и уродством, и взгляды расходились за ними кругами по всему парку. Матери, охваченные каким-то смутным, им самим непонятным чувством, озирались в поисках детей. Женщины хватали за руки своих мужчин. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев, все как всегда — сонные ивы, горячий ветер треплет расстеленные на траве пледы, — но привычность дня расколота дорожкой, которую девочки проложили по нормальному миру. Гладкие и беспечные, словно взрезающие воду акулы.

Часть первая

Все начинается с “форда” на узкой подъездной дорожке, работает двигатель, от сладкого шелеста жимолости тяжелеет августовский воздух. Девочки на заднем сиденье держатся за руки, окна опущены, в машину сочится ночь. Играет радио, но потом водитель, внезапно занервничав, его выключает.

Они перелезают через ворота, до сих пор увешанные рождественскими гирляндами. Наталкиваются сначала на глухую тишину в домике сторожа, сам сторож дремлет на диване, голые ноги уложены одна на другую, будто булки. Его подружка в ванной, стирает с глаз размазанные полумесяцы туши.

Затем — в большой дом. В гостевой спальне они поднимают на ноги читающую женщину. Подрагивающий стакан с водой на тумбочке, влажный хлопок ее трусов. Пятилетний сын лежит у нее под боком, бормочет непонятную ерунду, борясь со сном.

Они сгоняют всех в гостиную. Миг, когда перепуганные люди понимают, что сладостная будничность их жизней, утренний глоток апельсинового сока, крен велосипеда на повороте — уже позади. Их лица меняются, точно открываются ставни, отмыкается что-то за глазами.

Сколько раз я воображала себе эту ночь. Мрачная дорога в горах, бессолнечное море. Женщина лежит на темной лужайке. И хотя с годами детали поблекли, затянулись вторым, третьим слоем кожи, именно об этом я сразу подумала, когда ближе к полуночи заскрежетал замок в двери.

Кто-то лезет в дом.

Я ждала, что вот-вот опознаю источник звука. Соседский ребенок свалил урну на тротуар. Сквозь подлесок ломится олень. Конечно, это глухое гроыхание в другой половине дома, это оно, больше нечему, уверяла я себя и думала, каким безобидным дом окажется при свете дня, каким спокойным и безопасным.

Но шум не смолкал, резко перерастая в реальность. В соседней комнате слышался смех. Голоса. Пневматическое чпоканье холодильника. Я выискивала другие объяснения, но все равно натыкалась на самое худшее. Вот как все в итоге закончится. Я попалась — в чужом доме. Среди фактов и привычек не моей жизни. Мои голые ноги исчерканы варикозными венами — какой жалкой я покажусь тем, кто придет за мной. Забившаяся в угол женщина средних лет.

Я лежу в кровати и едва дышу, глядя на закрытую дверь. Жду незваных гостей. Все ужасы, которые я себе навоображала, принимают человеческое обличье, теснятся в комнате — сразу понятно, геройства не жди.

Только отупляющий ужас, только физическая боль, которую придется перетерпеть. Убегать я не стану.

Из постели я вылезла, только услышав девочку. Голос у нее был тоненький и безобидный. Впрочем, рано радоваться — Сюзанна и все остальные тоже были девочками, и кому это помогло.

Я жила в доме с чужого плеча. За окном толпились темные прибрежные кипарисы, подрагивал соленый воздух. Питалась я без изысков, как в детстве, — гора спагетти, припорошенная сыром. Пустой скачок газировки по горлу. Раз в неделю я поливала растения Дэна — переправляла их в ванну, держала горшок под краном, пока земля не начинала влажно пузыриться. Не раз и не два я принимала душ, стоя в ванне, усыпанной сухими листьями.

Наследство, остатки бабкиных фильмов — часы ее хищных улыбок на камеру, кудрей аккуратной шапочкой, — я потратила десять лет назад. Я забивалась в пробелы между чужими жизнями, работала сиделкой с проживанием. Воспитывала в себе благообразную незаметность — бесполоя одежда, лица не разглядеть за неопределенно-приятным выражением, какое бывает у садовых статуй. Без приятности было не обойтись, фокус с невидимостью я проделывала, только когда того требовали обстоятельства. Когда я, в общем, сама того хотела. Подопечные у меня были самые разные. Ребенок с особыми потребностями, который боялся электрических розеток и светочфоров. Пожилая женщина, смотревшая ток-шоу, пока я отсчитывала ей таблетки блюдцами, бледно-розовые капсулки — будто неброские карамельки.

Одна работа закончилась, другой пока не появилось, и Дэн предложил мне пожить в их летнем доме — заботливый жест старого друга — так, будто это я ему сделаю одолжение. Застекленная крыша превращала дом в запотевший мутный аквариум, древесина раздувалась, распухала от сырости. Дом словно дышал.

На пляж мало кто захаживал. Слишком холодно, устриц нет. Одиночную дорогу через город обрамляли трейлеры, стоявшие посреди расплзшихся дворов: хлопают на ветру бумажные вертушки, крылечки завалены выгоревшими буйками и спасательными кругами — украшения бедных людей. Иногда я выкуривала немного пыльной и терпкой марихуаны, оставшейся от прежнего хозяина, затем шла в город за покупками. Дело, которое мне было по силам, понятное — как, например, тарелку вымыть. Тарелка могла быть или грязной, или чистой, и я

радовалась таким бинарностям, тому, как на них держался день.

Людей на улицах я почти не встречала. Если в городе и заводились подростки, то, похоже, только ради того, чтобы потом убится чудовищными, деревенскими способами, — я слышала рассказы о разбившихся в два часа ночи пикапах, о туристах, заночевавших в гараже и отравившихся угарным газом, о мертвом квотербеке. Я не знала, была ли всему виной провинциальность, переизбыток времени, скуки и домов на колесах или это что-то сугубо калифорнийское, световой дефект, побуждающий к риску и глупым киношным трюкам.

В океан я так и не полезла. Официантка в кафе рассказала мне, что тут размножаются белые акулы.

Они выглянули из залитой светом кухни, словно два енота — из мусорного бака. Девочка взвизгнула. Мальчик замер, долговязый, тощий. Их было всего двое. Сердце у меня колотилось, но они были такими юными. Местные, наверное, подумала я, решили залезть в пустующий летний домик. Я не умру.

— Что за херня.

Мальчик отставил пивную бутылку, девочка прижалась к нему. Мальчику на вид лет двадцать, одет в шорты капри. Длинные белые носки, алые прыщи под сеточкой щетины. А девочка совсем крошка. Пятнадцать? Шестнадцать? Бледные ноги отсвечивают синевой.

Я постаралась говорить как можно более грозно, вцепившись в край футболки, натягивая ее пониже. Когда я сказала, что вызову полицию, мальчик фыркнул:

— Валяй. — Он посильнее прижал к себе девочку. — Вызывай. А вообще, — он вытащил мобильник, — да в жопу. Я сам их вызову.

Плита страха, которую я выстроила в груди, вдруг рассыпалась.

— Джулиан?

Мне хотелось смеяться. Последний раз я его видела, когда ему было тринадцать, — костлявого, несформировавшегося. Единственный сын Дэна и Эллисон. Над ним тряслись, возили по конкурсам виолончелистов из одного западного штата в другой. По четвергам — уроки мандаринского, ржаной хлеб и жевательные витаминки, родительские щитки от провала. Потом все это стухло и он оказался в Калифорнийском университете, в Лонг-Бич или Ирвине. Я вспомнила, что там у него были какие-то проблемы. Его то ли исключили, то ли все-таки обошлись с ним помягче и перевели на курс ниже. Джулиан был застенчивым, раздражительным ребенком, сжимался от включенного в машине радио, при виде незнакомой

еды. Теперь он огрубел, из-под майки расползались татуировки. Меня он не вспомнил, да и с чего бы? Я находилась за границами его эротических интересов.

— Я тут поживу пару недель, — сказала я, понимая, что стою с голыми ногами, стыдясь разыгранной мелодрамы, слов про полицию. — Мы с твоим папой друзья. Я видела, как он силится меня опознать, соотнести с чем-то.

— Эви, — сказала я.

Опять мимо.

— Я жила в Беркли. По соседству с твоим учителем виолончели.

Иногда Дэн с Джулианом заходили ко мне после урока. Джулиан жадно хлебал молоко и, точно робот, дергал ногами, царапая ножки стола.

— Блин, — сказал Джулиан. — Ну да.

Было неясно, то ли он вправду меня вспомнил, то ли я просто перечислила достаточно подробностей, чтобы его успокоить.

Девочка взглянула на Джулиана — лицо пустое, как ложечка.

— Все нормально, малыш. — Он поцеловал ее в лоб, неожиданная нежность.

Джулиан улыбнулся мне, и я поняла, что он пьян, а может, просто накурился. Лицо оплывшее, кожа болезненно-влажная, впрочем, воспитание включилось на автомате, как родной язык.

— Это Саша, — сказал он, подтолкнув девочку в бок. — Привет, — застеснявшись, пискнула она.

Я и забыла, какие девочки в этом плане токсикоманки: на ее лице отразилась такая неприкрытая жажда любви, что мне стало неловко.

— Саша, а это... — сказал Джулиан, — это...

Его глаза никак не хотели на мне фокусироваться. — Эви, — напомнила я.

— Точно, — сказал он. — Эви. Блин.

Он отхлебнул пива, на янтарной бутылке — блики слепящего света. Он смотрел куда-то мне за спину. Оглядывал мебель, книги на полках так, будто это мой дом, а чужак тут он.

— Господи, ты, наверное, подумала, что мы того, что мы как бы в дом вломились.

— Я подумала, вы местные.

— Однажды нас грабанули, — сказал Джулиан. — Я был еще маленький. Нас дома не было. Стащили мокрые купальники и морские ушки из морозилки.

Он снова отхлебнул пива.

Саша не отрывала глаз от Джулиана. Одета она была не для холодного побережья — в обрезанные до коленей джинсы и мешковатую толстовку, наверное, с плеча Джулиана. Манжеты изжеванные и с виду сыроватые. Накрашена она была ужасно, и не макияж даже, скорее, сигнальная система. Я видела, как она нервничает, понимая, что я ее разглядываю. Знакомая тревога. Когда я была в ее возрасте, я даже не знала толком, как двигаться, — а вдруг я иду слишком быстро, а вдруг люди увидят, какая я зажатая, какая скованная? Как будто все только и делали, что меня оценивали и находили никчемной. Я подумала, что Саша очень юная. Маловата еще для Джулиана и этого места. Она же, словно прочитав мои мысли, глянула на меня с неожиданным вызовом.

— Жаль, что отец не сообщил тебе про меня, — сказала я. — Я могу перебраться в другую комнату, если вам нужна кровать побольше. Или если вы хотите побыть тут вдвоем, я что-нибудь придумаю...

— Не, — ответил Джулиан. — Мы с Сашей где угодно спать можем, да, малыш? И вообще мы тут проездом. Мы на север едем. Траву возем, — добавил он. — Как минимум раз в месяц езжу, из LA в Гумбольдт.

До меня дошло, что Джулиан хочет произвести на меня впечатление.

— Я не торгую, ничего такого, — сразу открестился он, — только вожу. Всего-то и надо, что пара армейских прорезиненных рюкзаков да сканер полицейских частот.

Вид у Саши был встревоженный. Вдруг из-за меня у них будут неприятности?

— Напомни-ка, откуда ты отца знаешь? — спросил Джулиан.

Он осушил бутылку с пивом, открыл вторую. Они привезли с собой несколько упаковок. Другие припасы на виду: ореховый гравий “студенческой смеси”. Невскрытая упаковка жевательных червячков, несвежий, смятый пакет с фастфудом.

— Мы с ним познакомились в Лос-Анджелесе, — сказала я. — Одно время жили вместе.

В конце семидесятых мы с Дэнном снимали в Венис-Бич на двоих квартиру — в этой Венеции с закоулками как из страны третьего мира и пальмами, которые теплыми ветренными ночами стучали в окна. Я жила на деньги от бабкиных фильмов и училась, чтобы получить лицензию сиделки. Дэн пытался стать актером. Ничего у него не вышло, с актерством. Вместо этого он женился на женщине из более-менее богатой семьи и основал компанию по производству вегетарианских полуфабрикатов. Теперь у него дом в Пасифик-Хайтс, который построили еще до землетрясения [\[1\]](#).

— Стоп, стоп, подружка из Венис, значит? — внезапно заинтересовался Джулиан. — Как, говоришь, тебя зовут?

— Эви Бойд, — ответила я и удивилась тому, как внезапно переменилось его лицо: узнавание — но, кроме этого, еще и неподдельный интерес.

— Стоп, стоп, — повторил он. Снял руку с плеча девочки, отстранился, и Саша сразу потухла. — Ты — та женщина?

Наверное, Дэн рассказал ему о том, как плохи у меня дела. От этой мысли я смутилась, машинально потянула руку к лицу. Давняя, стыдная подростковая привычка, я так прыщи прикрывала. Небрежно поднести руку ко рту, потерев губу. Как будто так я не привлекала внимание, не делала еще хуже.

Джулиан заметно оживился.

— Она была в той секте, — сообщил он девочке. — Правда ведь? — он обернулся ко мне.

В желудке раскрылась воронка ужаса. Джулиан все глядел на меня с наглым ожиданием. Дышал скачками, прерывисто.

В то лето мне было четырнадцать. Сюзанне — девятнадцать. Иногда в общине жгли какое-то благовоние, от которого мы делались сонными, податливыми. Сюзанна читала вслух старый номер “Плейбоя”. Мы припрятывали бесстыдные, сияющие полароидные снимки, обменивались ими, как бейсбольными карточками.

Я знала, как быстро все происходит, — прошлое всегда наготове, и мозг бессильно съезжает в оптическую иллюзию. Тональность дня оседает на каком-то отдельном предмете — на шифоновом шарфе матери, на влажной поверхности разрезанной тыквы. На определенном рисунке тени. Даже солнечные блики на белом капоте отдавались во мне мгновенной рябью, открывали узенький путь назад. Я видела, как старенькие губные помады “Ярдли” — теперь уже восковое крошево — продают в интернете по сотне долларов за штуку. Чтобы взрослые женщины снова смогли вдохнуть этот химический, цветочный дух. Вот чего всем хочется — знать, что их жизни существовали, что люди, которыми они были когда-то, до сих пор живы внутри них.

Меня столько всего возвращало обратно. Резковатый привкус сои, запах дыма в волосах, травяные холмы, которые в июне становятся белесыми. Пейзаж из дубов с валунами — увидишь краешком глаза, и что-то раскалывается в груди, ладони увлажняются от выброса адреналина.

От Джулиана я ждала отвращения, а может, и страха. В общем, логичной реакции. Но я смешалась от того, как он глядел на меня. С каким-

то, что ли, восхищением.

Наверное, ему отец рассказал. Лето в ветшающем доме, загорелые двухлетки. Когда я впервые попыталась рассказать обо всем Дэну — однажды вечером в Венис перебои с электричеством привели к апокалиптической интимности при свечах, — он расхохотался. Думал, что и у меня голос дрожит от смеха. Но даже когда Дэн наконец мне поверил, он все равно говорил о ранчо с прежней шутливой издевкой. Как о фильме ужасов с плохими спецэффектами, с вывалившимся в кадр подвесным микрофоном, из-за которого резня превращается в комедию. И я с облегчением преувеличила мое невмешательство, сгладила свое участие до опрятного кулечка-анекдота.

Повезло, что в книгах обо мне почти не писали. Ни в дешевых изданиях — с брызжащими кровью заголовками, с глянцевыми снимками с места преступления. Ни в менее популярном, но куда более точном “кирпиче”, написанном главным обвинителем — с мерзкими подробностями, вплоть до непереваренных спагетти, которые нашли в желудке у мальчика. Пара строк, где я упоминалась, сгинула в давно вышедшей из печати книге бывшего поэта, мое имя он при этом переврал и про мою бабушку даже не упомянул. Этот же поэт утверждал, что ЦРУ выпускало порнофильмы, в которых снималась накачанная наркотиками Мэрилин Монро, а фильмы потом продавали политикам и главам зарубежных стран.

— Это было давно, — сказала я Саше, но на лице у нее ничего не отразилось.

— Все равно, — настроение у Джулиана улучшилось, — я вот всегда считал, что это было красиво. Ненормально, конечно, но красиво. Херовое самовыражение, но все-таки — самовыражение. Творческий порыв. Разрушить, чтобы созидать, ну и вся эта прочая индуистская херня.

Видно было, что мой растерянный ступор он расценил как то, что я с ним согласна.

— Вообще, подумать только, — сказал Джулиан, — чтоб по правде в таком участвовать.

Он ждал какой-то реакции. От напора кухонного света меня пошатывало, они, что ли, не замечают, до чего он яркий? Я не понимала даже, красива ли девочка. Зубы у нее были с желтоватым оттенком.

Джулиан подпихнул ее локтем:

— Саша даже не понимает, о чем мы тут говорим.

Хотя бы одну омерзительную подробность знал чуть ли не каждый. Студенты иногда наряжались в Расселла на Хэллоуин, поливали руки выпрошенным в столовке кетчупом. Одна группа, игравшая блэк-метал,

поместила сердце на обложку альбома, то самое кривое сердце, которое Сюзанна нарисовала у Митча на стене. Кровью женщины. Но Саша казалась такой юной — с чего бы ей знать обо всем этом? Какое ей до этого дело? Она пока что была уверена, глубоко и непоколебимо, что на свете нет ничего, кроме ее опыта. Что все обернется единственно возможным способом, что годы сами выведут ее к двери, за которой дожидается ее неизбежная личность — зародыш, готовый явиться миру. До чего же печально понимать, что до этой двери можно так и не добраться. Что иногда всю жизнь можно прожить, мельтеша на поверхности, — и время пройдет мимо, бездарно.

Джулиан потрепал Сашу по голове:

— Это пиздец какое громкое было дело. Хиппи в Марине людей поубивали.

Восторг на его лице мне был знаком. Неумирающий, неослабевающий запал жителей интернет-форумов.

Они выдирали историю из рук друг у друга, напускали на себя вид знатоков, скрывая под патиной учености морбидный интерес. Чего они искали в этих банальностях? Как будто важно было, какая в тот день стояла погода. Любые крохи информации казались важными, если их долго мусолить: станция, на которую было настроено радио у Митча в кухне, количество и сила ножевых ударов. Как там тени пробегали по такой-то машине, ехавшей по такой-то дороге.

— Да я всего-то пару месяцев с ними тусовалась, — сказала я. — Так, ничего особенного.

Джулиана это, похоже, разочаровало. Я представила себе женщину, которую он видит: встрепанные волосы, вокруг глаз — закорючки тревоги.

— Но вообще, да, — добавила я, — я там часто бывала.

Такой ответ мигом вернул меня в зону его интереса. Поэтому я оставила все как есть.

Я не сказала ему, как жалею, что встретила Сюзанну. Как жалею, что не сидела себе преспокойно дома, на сухих холмах близ Петалумы, в спальне с книжными полками, заставленными золочеными корешками моих любимых детских книжек. И я вправду об этом жалела. Но иногда, по ночам, не в силах заснуть, я, стоя у раковины, медленно чистила яблоко, кожура вилась из-под блеска ножа. Темный дом кругом. Иногда мне казалось, что нет, что я не жалею. Что я скучаю.

Джулиан потихоньку, будто добродушный мальчик-пастушок, отогнал Сашу во вторую спальню. Перед тем как пожелать спокойной ночи,

спросил, не нужно ли мне чего. Я растерялась — он напоминал школьника, из тех, что, накурившись, становятся вежливее и расторопнее. Под “приходами” старательно моют тарелки после семейного ужина, замороженные психоделической мыльной магией.

— Хороших снов, — сказал Джулиан и, слегка поклонившись, точно гейша, закрыл дверь.

Скомканные простыни, в комнате до сих пор припахивает страхом. Выставила себя на посмешище. Это ж надо так перепугаться. Но даже такие неожиданные, хоть и безвредные гости меня растревожили. Не хотелось бы — пусть и ненароком — выставить напоказ свою внутреннюю труху. Поэтому-то и страшно жить одной. Некому приглядеть за твоими прорехами, за тем, как ты выдаешь самые примитивные свои желания. Обрастаешь коконом из своих обнаженных склонностей, да так и не встраиваешь его в реальную жизнь.

Я все еще была напряжена, с трудом расслабилась, выровняла дыхание. Здесь безопасно, твердила я себе, все со мной будет хорошо. Вдруг все это показалось мне таким нелепым, эта наша несуразная встреча. Сквозь тонкую стену я слышала, как в соседней комнате обустраиваются Джулиан с Сашей. Скрипят половицами, открывают шкаф. Наверное, натягивают простыни на матрас. Страхивают годы накопившейся пыли. Я представила, как Саша разглядывает семейные фотографии на полке. Маленький Джулиан сжимает огромную красную телефонную трубку. Джулиану лет одиннадцать, он наблюдает с корабля за китами, лицо исчерканное солью, зачарованное. Она, наверное, примеряет эту славность, эту невинность к почти взрослому мужчине, который стянул шорты и зовет ее к себе, похлопывая рукой по кровати. На руках — расплывшаяся рябь любительских татуировок.

Послышался стон матраса.

Тому, что они трахаются, я не удивилась. Но затем Саша начала подвывать, будто в порно. Тоненько, задыхаясь. Неужто не понимают, что я сплю в соседней комнате? Я повернулась к стене спиной, закрыла глаза.

Джулиан рычал.

— Ты сучка, да?

Изголовье кровати шлепало об стену.

— Да?

Потом до меня дойдет. Джулиан точно знал, что я все слышу.

1969

1

Был конец шестидесятых или лето их конца, и таким оно все и казалось — бесконечным, бесформенным летом. Хейт кишел процессистами [2] в белых робах, раздававшими овсяного цвета брошюрки, жасмин вдоль дорог в тот год цвел особенно хмельно и пышно. Все были здоровыми, загорелыми, густо разукрашенными, а если и не были, то просто следовали другой моде. Превращались в каких-нибудь бледных лунных созданий, завешивали лампы шифоном, ради очищения организма сидели на одном кичари, от которого потом на всей посуде оставались пятна куркумы.

Но все это происходило где-то не здесь, не в Петалуме с приземистыми ранчо и навеки припаркованным возле ресторана “Хай-Хо” крытым фургоном. С выжженными солнцем тротуарами. Мне было четырнадцать, но я казалась младше своих лет. Мне это часто говорили. Конни уверяла, что я сойду за шестнадцатилетнюю, но мы тогда постоянно друг другу врали. Мы с ней дружили всю среднюю школу, Конни дожидалась меня у дверей класса, терпеливая как корова, вся наша энергия уходила на разыгрывание дружбы. Конни была пухлой, но одевалась не соответствующе — в короткие хлопковые рубахи с мексиканской вышивкой, в слишком узкие юбки, от которых у нее на ляжках оставались красные рубчики. Я любила ее совершенно не задумываясь, как, например, любишь собственные руки.

В сентябре меня отправят в ту же школу-пансион, где училась мать. В Монтерее вокруг старого женского монастыря выстроили обихоженный кампус с аккуратными, покатыми газонами. Ключья тумана по утрам, краткими наскоками, из-за близости соленой воды. В этой школе для девочек мне придется носить форму — туфли на низком каблуке, матроски с вшитыми голубыми галстучками, никакого макияжа. Это был изолятор, вот правда, окруженный каменной стеной и населенный невзрачными, круглощековыми дочками. Девочками из “Костра” и “Будущих учителей” [3], которых туда сплавили учиться скорописи — сто шестьдесят слов в минуту. Давать туманные и пылкие обещания, что будут друг у друга подружками невест на гавайских свадьбах.

Надвигающийся отъезд заставил меня взглянуть на нашу с Конни дружбу с новой, критической дистанции. Некоторые вещи я начала подмечать почти неволью. Например, Конни говорила, что “лучший способ дать парню отставку — это дать кому-нибудь еще”, словно мы

продавщицы в лондонском бутике, а не неопытные подростки в фермерском поясе округа Сонома. Мы лизали батарейки, чтобы ощутить на языке металлический разряд, который, по слухам, равнялся одной восемнадцатой оргазма. Даже представить больно, как наша парочка выглядела со стороны. Как нас, наверное, сразу записали в этаких подружек-неразлучниц. Бесполое существа, которых можно встретить в любой школе.

Каждый день после уроков мы бесшовно встраивались в привычный ход дня. Часами просиживали за какой-нибудь кропотливой работой — следуя советам Видала Сассуна, укрепляли волосы кашицей из взбитых яиц или ковыряли угри простерилизованной иглой. Как будто наш долгоиграющий проект по превращению в девушек требовал необычных, выверенных ритуалов.

Став взрослой, я поразилась тому, какую же кучу времени я потратила впустую. Тучные и тощие годы, которых нас учили ждать от жизни; нравоучительные статьи в журналах, призывавшие нас готовиться к первому школьному дню за месяц.

День 28. Сделай маску для лица из авокадо с яблоком.

День 14. Проверь, как выглядит твой макияж при разном освещении (дневном, офисном, вечернем).

Я тогда вся была настроена на чужое внимание. Одевалась, чтобы спровоцировать любовь, оттягивала вырез кофты пониже и на людях сразу же лепила на лицо задумчивое выражение, как будто думаю о чем-то очень глубоком и важном — на случай, если вдруг кто взглянет в мою сторону.

В детстве я однажды участвовала в благотворительной собачьей выставке и водила хорошенькую колли с шелковой банданой на шее. Я так радовалась срежиссированному представлению — тому, как я подходила к незнакомым людям и позволяла им восхищаться собакой, улыбалась без передышки, снисходительно, точно продавщица, и как же пусто стало у меня на душе, когда все закончилось, когда больше никому не надо было на меня смотреть.

Я дожидалась, когда мне расскажут, чем я хороша.

Потом я все думала, уж не из-за того ли на ранчо женщин больше, чем мужчин. Журналы учили нас, что, пока тебя не заметили, жизнь — всего лишь зал ожидания. И вот пока я ждала и готовилась, мальчики это же время тратили на то, чтобы вырасти в самих себя.

Тогда в парке я впервые увидела Сюзанну и остальных.

Я приехала туда на велосипеде, ориентируясь по струям дыма от гриля.

Мне там никто и слова не сказал, кроме мужчины, который прижимал к решетке уныло, влажно шипевшие котлеты. По ногам бежали тени дубов, велосипед вилял в траве. Когда на меня налетел мальчишка постарше, в ковбойской шляпе, я нарочно замедлила ход, чтобы он врезался в меня еще раз. Такие штучки были в духе Конни, она их отрабатывала, как военные маневры.

— Ты чего делаешь? — пробурчал он.

Я открыла было рот, чтоб извиниться, но мальчишка уже шел себе дальше. Словно понял — толку-то слушать, что я там скажу.

Передо мной зияло лето — россыпь дней, парад часов, мать слонялась по дому будто чужая. Пару раз я поговорила по телефону с отцом. Для него это, похоже, было не менее мучительно. Он задавал мне до странного официальные вопросы, как какой-нибудь дальний родственник, дядюшка, для которого я была набором сведений из вторых рук: Эви четырнадцать, Эви маленького роста. Паузы в нашем разговоре чего-нибудь стоили бы, будь они окрашены печалью или сожалением, но все было куда хуже — я по голосу слышала, как он рад, что уехал от нас.

Я сидела на скамейке, одна, с салфеткой на коленях, и ела гамбургер.

Я впервые за долгое время ела мясо. Моя мать Джин мяса не ела вот уже четвертый месяц, с самого развода. Она много чего больше не делала. Исчезла мама, которая всегда следила за тем, чтобы я каждый сезон покупала новое белье, мама, которая так славно, яичками, сворачивала мои белые носки. Которая шила моим куклам пижамки — точь-в-точь как у меня, до самой последней блестящей пуговки. Теперь она готовилась заняться собственной жизнью, набросившись на нее, как школьница — на сложную арифметическую задачу. Каждую свободную минуту она делала растяжку. Раскачивалась с пятки на носок, чтобы проработать мышцы бедер. Покупала и жгла благовония в обертках из фольги, от которых у меня слезились глаза. Пристрастилась к новому сорту чая из какой-то ароматической коры и, прихлебывая его, шаркала по дому, то и дело рассеянно проводя рукой по горлу, будто оправляясь от долгой болезни.

Недуг ее был туманным, зато лечение — очень определенным. Ее новые друзья советовали массаж. Советовали чаны сенсорной депривации с соленой водой. Советовали электропсихометры, гештальт-терапию и богатые минералами продукты, высаженные в полнолуние. Не верилось, что мать последует этим советам, но она всех слушала. Ей отчаянно требовалась цель, план, вера в то, что ответ может прийти откуда угодно, когда угодно, нужно только хорошенько постараться.

Она искала ответы до тех пор, пока у нее ничего не осталось, кроме

поисков. Астролог в Аламеде, на сеансе которого она расплакалась, услышав о зловещей тени в ее восходящем знаке. Терапия в обитой ватой комнате, где вместе с целой толпой незнакомцев нужно было биться о стены и кружиться, пока в кого-нибудь не врежешься. Она возвращалась домой с расплывчатыми бликами под кожей, с синяками, мутневшими до цвета сырого мяса. Я видела, как она трогает эти синяки — с какой-то даже нежностью. Заметив, что я на нее смотрю, она покраснела. От ее свежееобесцвеченных волос воняло химикатами и синтетическими розами.

— Нравится? — спросила она, проведя рукой по обкромсанным концам.

Я кивнула, хотя из-за этого цвета казалось, будто у нее желчь к лицу прихлынула.

Она менялась, день за днем. В мелочах. Покупала сережки ручной работы, которые делали ее товарки по групповой терапии, возвращалась домой — и в ушах у нее покачивались примитивные деревянные брусочки, подрагивали на запястьях эмалированные браслеты цвета мятных конфеток. Она начала подводить глаза карандашом, разогревая его над зажигалкой. Вращала кончик в огне, чтобы его размягчить, чтобы прочертить штрихи над глазами, от которых она казалась сонной и похожей на египтянку.

Собравшись куда-то вечером, она остановилась в дверях моей комнаты, на ней была помидорнокрасная блуза с открытыми плечами. Она все стягивала рукава пониже. Плечи у нее были присыпаны блестками.

— Солнышко, хочешь, я и тебе глаза покрашу?

Но я-то никуда не собиралась. Кого волнует, станут ли у меня глаза больше или голубее?

— Я поздно вернусь. Так что сладких снов. — Мать наклонилась, поцеловала меня в макушку. — Нам же с тобой хорошо, правда? Вот так, вдвоем?

Улыбаясь, она меня приласкала, и от улыбки лицо ее словно бы расколосось, неудовлетворенность так и хлынула наружу. Отчасти мне и вправду было хорошо, ну или за счастье я принимала привычность. Потому что даже там, где любви не было, все это сохранялось — ячейка семьи, чистота домашнего, привычного. Мы ведь проводим дома какое-то невообразимое количество времени, так что, может, это все, на что и стоит рассчитывать, — на чувство бесконечности, как будто все ковыряешь пальцем липкую ленту и никак не можешь отыскать кончик. Ни швов, ни пробелов — одни свидетельства твоей жизни, которые и не замечаешь даже, до того они с тобой срослись. Щербатая тарелка с узором из ивовых

листьев, которую я уж и сама не помню, почему любила. Такие знакомые обои в коридоре, которые другому человеку не скажут ровным счетом ничего, — все эти выцветшие рожицы блеклых пальм, все цветки гибискуса, каждому из которых я выдумала свой, особый характер.

Мать больше не заставляла меня регулярно питаться, просто оставляла в раковине дуршлаг с виноградом или приносила с кулинарных классов по макробиотическому питанию банки укропного мисо-супа. Салаты из водорослей, утопающие в тошнотворном янтарном масле.

— Ешь это на завтрак, — сказала она, — и ни одного прыщика больше не вскочит.

Я поморщилась, отдернула руку от прыща на лбу. До поздней ночи мать заседала с Сэл, пожилой женщиной, с которой они познакомились на групповой терапии. Жадная до драмы Сэл появлялась по первому требованию матери, в любое время. Она носила туники с воротником-стойкой, очень коротко стриглась, и торчавшие из-под седых волос уши делали ее похожей на престарелого мальчишку. Мать разговаривала с Сэл про растирание тела щетками, про энергетические токи в меридианных точках. Про акупунктурные схемы.

— Мне просто нужно время, — сказала мать, — чтобы восстановиться. Слишком уж многого они требуют, правда ведь?

Сэл поерзала по стулу грузной задницей, кивнула. Примерная, как взнузданный пони.

Мать и Сэл пили этот ее древесный чай из пиал, еще одна новая причуда матери.

— Это по-европейски, — оправдываясь, сказала она мне, хотя я вообще ничего и не говорила.

Когда я вошла в кухню, обе они замолчали, мать наклонила голову.

— Детка, — поманила она меня. Прищурилась. — Убери челку слева. Тебе так лучше будет.

Я так начесала волосы, чтобы прикрыть прыщ, который расковыряла. Прыщ я намазала маслом с витамином Е, но все равно никак не могла оставить его в покое, промокая кровь обрывками туалетной бумаги.

Сэл согласилась.

— Круглая форма лица, — с видом знатока заявила она. — Ей бы лучше челку и вовсе не носить.

Я представила, что было бы, опрокинь я стул, на котором сидела Сэл, как ее туша грохнулась бы на пол. Как растекся бы по линолеуму древесный чай.

Они быстро потеряли ко мне интерес. Мать снова завела свою

заезженную историю — как человек, контуженный после аварии. Передергивая плечами, словно желая поплотнее укутаться в страдания.

— А самое-то смешное, знаешь, я почему никак не могу успокоиться? — Она улыбнулась собственным рукам. — Карл начал зарабатывать, — сказала она. — На этих штуках с курсами валют.

Она снова рассмеялась.

— Это и вправду сработало. В конце-то концов. Но зарплату-то он ей из моих денег платил, — сказала она. — Из денег моей матери. Тратил их на эту девку. Мать имела в виду Тамар, секретаршу, которую отец нанял, открыв нынешнее свое дело. Что-то там завязанное на курсы валют. Он покупал иностранные деньги, менял их туда-сюда, тасовал до тех пор, пока, как уверял отец, у него не выходила чистая прибыль, — ловкость рук в особо крупных масштабах. Вот зачем он держал в машине кассеты с уроками французского — пытался провернуть сделку с франками и лирами.

Теперь они с Тамар жили в Пало-Альто. Я ее видела всего-то пару раз — однажды, еще до развода, она забрала меня из школы. Махнула вяло из “плимута фьюри”.

Подтянутой и бойкой Тамар было слегка за двадцать, она вечно болтала о своих планах на выходные, о том, до чего маленькая у нее съемная квартира. Ее жизнь складывалась совершенно невообразимым для меня образом. Волосы у нее были такими светлыми, что казались седыми, и она носила их распущенными — не то что аккуратные локоны матери. Тогда я оценивала каждую женщину — жестко, бесстрастно. Измеряла взглядом крутизну груди, воображала, как они будут выглядеть в разных непристойных позах, жадно пялилась на чужие голые плечи. Тамар была красоткой. Она заколола волосы пластмассовым гребнем, похрустывая шеей, то и дело мне улыбаясь.

— Жвачку хочешь?

Я вытащила из серебряных оберток две засохшие пластинки. Сидя рядом с Тамар, скользя ляжками по виниловому сиденью, я чувствовала нечто граничащее с любовью. Только девочки могут внимательно друг друга разглядывать, это у нас за любовь и засчитывается. Девочки замечают ровно то, что мы выставляем напоказ. Именно так я и вела себя с Тамар — откликалась на ее знаки, на прическу, на одежду, на аромат ее духов *L'Air du Temps*, словно одно это и было важно, словно в этих символах как-то проявлялась ее внутренняя суть. Ее красоту я принимала на свой счет.

Когда мы, хрустя гравием, подъехали к дому, она спросила, можно ли

зайти в туалет.

— Конечно, — ответила я, отчасти мне даже льстило, что я приму ее у себя дома, будто какого-то высокопоставленного гостя.

Я проводила ее в приличную ванную комнату рядом со спальней родителей. Тамар глянула на кровать, сморщила нос.

— Покрывало уродское, — прошептала она.

Еще секунду назад это было просто родительское покрывало, но теперь я резко подхватила с чужого плеча стыд за мать, за безвкусное покрывало, которое она купила и которому еще как дура радовалась.

Я сидела за обеденным столом, вслушиваясь в приглушенные звуки из туалета — как Тамар писала, как шумела вода. Тамар долго не выходила. А когда наконец вышла, что-то изменилось. Я не сразу поняла, что она накрасилась маминой помадой, и, заметив, что я это заметила, взглянула на меня так, будто я помешала ей смотреть кино. Ее лицо так и горело предчувствием новой жизни.

Больше всего на свете я любила фантазировать про лечение сном, о котором прочла в “Долине кукол” ^[4]. Доктор в больничной палате погружает тебя в тот самый затяжной сон, о котором так мечтала крикливая, отупевшая от демерола бедняжка Нили. Лучше и не придумаешь — пока надежные, бесшумные аппараты поддерживают в теле жизнь, мозг преспокойно спит в водичке, как золотая рыбка в аквариуме. Через несколько недель я просыпаюсь. И даже если жизнь снова вернется в прежнюю безрадостную колею, у меня останется хотя бы эта крахмально-белая полоса небытия.

Предполагалось, что школа-пансион меня исправит, подхлестнет. Родители, даже с головой уйдя в собственные отдельные жизни, все равно были мной разочарованы, недовольны моими средними оценками. Я была самой обыкновенной девочкой, и это-то и оказалось для них самым большим разочарованием: я не блистала талантами. Я не была красавицей, чтобы мне сходили с рук средние оценки, у меня не было ни мозгов, ни внешности — нечему было склонить чашу весов. Порой меня охватывали ханжеские порывы — учиться получше, прилагать побольше усилий, — но, разумеется, все оставалось по-прежнему. Казалось, мне противостояли какие-то неведомые силы. Кто-то оставил открытым окно возле моей парты, и я весь урок смотрела, как дрожит листва, — вместо того чтобы заниматься математикой. Потекла ручка, поэтому я не могла ничего записать. Все мои умения оказывались бесполезными. Я могла надписывать конверты пузырячатыми буквами и рисовать улыбочивые

рожицы на клапанах. Варить кофейную жижу, а потом с самым серьезным видом ее пить. Безошибочно настраиваться на радиостанцию с вожделенной песней, словно медиум — на голоса мертвых.

Мать говорила, что я похожа на бабушку, но я подозревала, что она выдает желаемое за действительное, хочет вселить в меня неоправданные надежды. Бабкину историю я знала, ее повторяли машинально, как молитву. Гарриет с финиковой фермы в Индио, которая из выжженной солнцем глуши попала напрямиком в Лос-Анджелес. Влажные глаза, мягкий подбородочек. Мелкие зубки, ровные и слегка заостренные, будто у необычной и прекрасной кошки. В студии ее носили на руках, кормили яйцами и взбитыми сливками, а точнее — вареной печенюю и пятью морковками, именно такой ужин на моей памяти бабка съедала каждый вечер, когда я была маленькой. Когда она закончила карьеру, семья залегла на дно в Петалуме, на просторном ранчо, где бабка выращивала выставочные розы, прививая их по Бербанку, и держала лошадей.

После бабкиной смерти мы жили на ее деньги — отдельное государство посреди холмов, хотя до города можно было добраться на велосипеде. Но наша удаленность была скорее психологической — став взрослой, я все недоумевала, отчего же мы жили в таком уединении. Мать ходила перед отцом на цыпочках, да и я тоже. Он глядел на нас искоса, советовал есть побольше белка, читать Диккенса или дышать поглубже; он пил сырые яйца и ел соленые стейки, в холодильнике у него всегда стояла тарелка говяжьего тартара, к которой он прикладывался по пять-шесть раз на дню. “Внешний вид отражает внутреннее состояние”, — говорил он, делая гимнастику на японском коврике возле бассейна — сажал меня на спину, отжимался пятьдесят раз. Это казалось каким-то волшебством — вот так взмывать в воздух, сидя по-турецки. Мятлик, аромат остывающей земли.

Если с холмов спускался койот и лез в драку с псом — злобное, захлебывающееся шипение, от которого у меня бежали мурашки по телу, — выходил отец с ружьем и койота убивал. Тогда казалось, что все вот так просто. Лошадей я срисовывала из учебников по карандашному рисунку, заштриховывала им графитовые гривы. Обводила по контуру рысь, тащившую полевку в пасти, в острых клыках природы. Потом я пойму, как же мне всегда было страшно. Как у меня сосало под ложечкой всякий раз, когда мать оставляла меня с нянькой, Карсон, от которой пахло какой-то сыростью и которая всегда садилась не на тот стул. Как мне вечно рассказывали, что мне было весело, а я никому не могла объяснить, что нет, не было. Даже счастливые минуты были чем-нибудь да омрачены — вот отец смеется, а потом я с ног сбиваюсь, чтобы успеть за ним, потому

что он уже ушел далеко вперед. Мать кладет руку на мой пылающий лоб, а затем — отчаянное одиночество болезни, мать куда-то исчезла, и я слышу, как она говорит с кем-то по телефону незнакомым голосом. Поднос с круглыми крекерами и остывшей куриной лапшой, желтоватое мясо торчит из-под пленки жира. Галактическая пустота, которая уже тогда, даже в детстве, казалась сродни смерти.

Я даже не задумывалась о том, чем себя занимала мать. Что она сидела, наверное, в пустой кухне, за столом, от которого пахло затхлой тряпкой, и ждала, когда я примчусь из школы, когда вернется домой отец.

Отец целовал мать с такой формальностью, что нам всем делалось неловко, отец оставлял на крыльце пустые пивные бутылки, куда заползали осы, и по утрам колотил себя по голой груди, чтобы укрепить легкие. Он до упора заполнял грубую реальность своего тела, из его ботинок торчали плотные рубчатые носки, перемазанные пылью от кедровых саше, которыми он перекладывал белье в комод. Отец, который вечно, шутки ради, изображал, будто глядится в капот как в зеркало. Я сберегала новости, чтобы было о чем ему рассказать, перебирала дни в поисках хоть чего-то, что его заинтересует. Только став взрослой, я поняла, как странно, что я знала о нем так много, а он обо мне — как будто и ничего. Я знала, что он любил Леонардо да Винчи, потому что тот родился в нищете и открыл солнечную энергию. Знала, что он по одному звуку мотора может угадать марку автомобиля и что, по его мнению, названия деревьев должны знать все. Ему нравилось, когда я соглашалась с ним насчет того, что бизнес-колледжи — это сплошное надувательство, или поддакивала, если он объявлял предателем подростка, который разрисовал свою машину пачификами. Однажды он сказал, что мне нужно научиться играть на классической гитаре, хотя на моей памяти он сам только и слушал каких-то декоративных ковбоев, которые пели о желтых розах, притопывая изумрудными ковбойскими сапогами. Он считал, что не добился успеха только из-за своего роста.

— Роберт Митчем тоже невысокий, — как-то раз сказал он мне. — Так ему подставляют ящички из-под апельсинов.

Заметив идущих через парк девочек, я так и впиалась в них взглядом. Брюнетка и ее фрейлины, их смех казался укором моему одиночеству. Я, сама того не зная, чего-то ждала. И тут оно случилось. Очень быстро, но я все равно успела увидеть: черноволосая девочка буквально на секунду оттянула ворот платья, обнажив грудь до красного соска. Прямо посреди многолюдного парка. Не успела я поверить глазам, как она уже подпернула

ворот обратно. Все они хохотали, беспечно, непристойно, на окружающих никто даже и не оглянулся.

Девочки прошли мимо гриля, нырнули в проулок за рестораном. Ловко, легко. Я все смотрела. Старшая подняла крышку мусорного бака. Рыжая нагнулась, и брюнетка, упершись коленом в край бака, залезла внутрь. Она что-то там искала, хотя что именно — я даже представить не могла. Я встала, чтобы выбросить салфетку, но остановилась возле урны и принялась смотреть, что будет дальше. Брюнетка вытаскивала что-то из бака, передавала подругам: пакет с хлебом в нетронутой упаковке, кочан худосочной капусты, который они, понюхав, зашвырнули обратно. Было видно, что они не впервые проделывают эту операцию, — неужели они это и вправду потом съедят? Когда брюнетка наконец, перевалившись через край, вылезла из бака, в руках у нее что-то было. Странной формы, цвета как моя кожа, поэтому я подобралась поближе.

Я увидела, что это завернутая в блестящую пленку сырая курица. Тут я, наверное, совсем уж откровенно на них вытаращилась, потому что черноволосая девочка повернулась и поглядела мне прямо в глаза. Она улыбнулась, и в животе у меня все словно оборвалось. Между нами будто что-то промелькнуло, легонько дрогнул воздух. Она встретила мой взгляд открыто, без смущения. Хлопнула дверь ресторана, и девочка, дернувшись, обернулась. На улицу с криками выскочил какой-то здоровяк. Стал гнать их как собак. Девочки похватали курицу, пакет с хлебом и бросились наутек. Мужчина остановился, с минуту глядел им вслед. Вытирая ручищи о передник, пыхтя и раздувая грудь.

К тому времени девочки уже были за квартал отсюда, их волосы взвивались знаменами, черный школьный автобус, покачиваясь, притормозил рядом с ними, и вся троица скрылась внутри.

Один только их вид; омерзительная курица, похожая на эмбрион; одинокая вишенка соска. Все это было таким вызывающим, и, может, поэтому девочки всё не шли у меня из головы. Я никак не могла понять, что к чему. Зачем им искать еду в мусорном баке. Кто был за рулем автобуса, что это за люди решили выкрасить его в такой цвет. Я видела, что эти девочки дорожат друг другом, что они заключили семейный союз, что они точно знали: они все вместе. Долгий вечер впереди — мать ушла куда-то с Сэл — внезапно показался мне невыносимым.

Тогда я впервые увидела Сюзанну — черные волосы даже издали выделяли ее из толпы, она улыбалась мне откровенно, оценивающе. Я сама

не понимала, отчего у меня так защемило в груди, когда я ее увидела. Она казалась такой же странной и дикой, как те цветы, что расцветают раз в пять лет мясистым взрывом, ворсистой, колючей пышностью, которая почти похожа на красоту. Но что же она увидела, когда посмотрела на меня?

В ресторане я зашла в туалет. *Не раскисай* — нацарапал кто-то фломастером на стене. *Тэсс Пайл сосет хуй!* Сопутствующие иллюстрации были вымараны. Столько глупых и непонятных зарубок, оставленных людьми, которым пришлось здесь задержаться, сделать крюк, чтобы проделать неизбежную процедуру. Которым хотелось хоть как-то выразить свой протест. Вот самое печальное: *Черт* — нацарапано карандашом.

Пока я мыла руки и вытирала их жесткой салфеткой, я все рассматривала себя в висевшем над раковиной зеркале. Пыталась хотя бы секунду взглянуть на себя глазами той черноволосой девочки или хотя бы мальчишки в ковбойской шляпе, всматривалась в свои черты в поисках пульсации под кожей. Лицо у меня заметно исказилось от усилий, и мне стало стыдно. Понятно, почему мальчишка презрительно отвернулся, заметил, наверное, как я изнываю. Прочел на моем лице неприкрытый голод, как в пустой тарелке у сироты. Вот чем я отличалась от черноволосой девочки — ее лицо не лезло к другим с вопросами.

Я не хотела этого о себе знать. Я поплескала в лицо водой, холодной, как меня Конни однажды научила. “От холодной воды поры сужаются”. Может, и правда, кстати, кожу на лице как будто стянуло, вода потекла по лицу, по шее. Как отчаянно мы с Конни верили, что стоит нам только следовать всем этим ритуалам — умываться холодной водой, расчесывать щетками из свиной щетины волосы перед сном до тех пор, пока они, наэлектризовавшись, не встанут дыбом, — всё как-то само собой решится и перед нами распахнутся двери в новую жизнь.

2

Дзынь! Игровой автомат у Конни в гараже издавал мультяшные звуки, розовый отсвет с экрана лился на лицо Питера. Ему было восемнадцать, старшему брату Конни, кожа у него на руках была пшеничного цвета. Рядом переминался с ноги на ногу его друг Генри. Конни решила, что она сохнет по Генри, поэтому каждую пятницу мы ерзали на скамье для жима штанги, а рядом, будто призовой пони, стоял оранжевый мотоцикл Генри. Мы смотрели, как парни играют в однорукого бандита, попивая какое-то безымянное пиво, которое отец Конни держал тут же, в холодильнике. Потом они стреляли по пустым бутылкам из воздушки, победно ухая под треск стекла.

Зная, что вечером увижу Питера, я надела вышитую рубашку, унавозила волосы лаком. Потыкала в прыщ на подбородке бежевой замазкой от Мерль Норман, однако она сползла к краям, так что прыщ засиял еще больше. Но волосы лежали нормально, и выглядела я неплохо, ну или думала, что неплохо выгляжу, поэтому я заправила поглубже рубашку, чтобы в вырезе виднелась моя небольшая грудь, искусственно подпертая лифчиком. Ощущение собственной оголенности вызвало у меня нервную радость, заставило распрямиться, держать голову на манер яйца в чашечке. Подражать той черноволосой девочке из парка, легкому выражению ее лица. Увидев меня, Конни сузила глаза, задергала уголком рта, но смолчала.

По правде сказать, Питер впервые заговорил со мной всего две недели назад. Я ждала Конни внизу. Ее комната была гораздо меньше моей, дом — невзрачнее, но мы почти все время проводили тут. Дом был отделан в морском стиле — ее отец хотел, чтобы в обстановке угадывалась женская рука, но не угадал с выбором. Мне было жаль отца Конни — из-за того, что по ночам он работал на молокозаводе, из-за того, как нервно стискивал и разжимал подагрические руки. Мать Конни жила где-то в Нью-Мехико, рядом с горячими источниками, у нее были близнецы и другая жизнь, о которой никогда не говорили. Однажды она прислала Конни на Рождество коробочку расколовшихся румян и свитер с жаккардовым узором, оказавшийся таким маленьким, что ни я, ни она не смогли даже голову в ворот просунуть.

— Цвета красивые, — оптимистично сказала я. Конни только плечами пожала:

— Она сука.

В дом ввалился Питер, швырнул книгу на стол. Кивнул мне — незлобно, как обычно, и принялся делать себе сэндвич, вытащил ломти белого хлеба, кислотноркую банку горчицы.

— А где принцесса? — спросил он.

Губы у него были в кричаще-розовых трещинках.

Слегка перемазанные, фантазировала я, смолой каннабиса.

— За кофтой пошла.

— А-а. — Он схлопнул два куска хлеба, откусил кусок. Жуя, разглядывал меня. — А ты, Бойд, ничего так выглядишь в последнее время, — сказал он и громко сглотнул.

Я так растерялась от этого заявления, что мне на миг даже показалось, будто я все это выдумала. Должна ли я что-то сказать в ответ? Его слова я уже заучила наизусть.

Открылась входная дверь, он обернулся. Размытая тень за дверью-сеткой, девушка в джинсовой куртке. Памела, его подруга. Они встречались накрепко, буквально перетекали друг в друга: одинаково одевались, без слов передавали газеты, когда сидели рядышком на диване или смотрели “Агентов А. Н. К. Л.”. Сдували друг с друга пушинки как с самих себя. Я видела Памелу в школе, когда проезжала на велосипеде мимо желто-бурого здания, где учились старшекласники. Прямоугольники суховатой травы, низкие широкие ступеньки, на которых вечно сидели старшие девчонки в маечках “лапшой”, сцепившись мизинчиками, пряча в ладонях пачки “Кента”. Над ними витал душок смерти — их мальчики были в душных джунглях. Они казались совсем взрослыми, даже пепел с сигарет стряхивали по-взрослому — лениво дергая рукой.

— Привет, Эви, — сказала Памела.

Некоторым девчонкам легко быть милыми. Помнить, как тебя зовут. Памела была красивой, что правда, то правда, и меня подспудно тянуло к ней, как всех нас тянет к красоте. Рукава джинсовки у нее были поддержаны до локтей, глаза затуманены жирными стрелками. Загорелые голые ноги. У меня ноги были все в крапинку от комариных укусов, которые я еще и расчесала до крови, на ляжках дыбились светлые волоски.

— Крошка, — сказал Питер с набитым ртом и прошлепал к ней, обнял, зарылся лицом в шею.

Памела взвизгнула и оттолкнула его. Когда она смеялась, был виден ее кривой резец.

— Фу, смотреть тошно, — прошептала вошедшая Конни.

Но я молчала, пытаюсь вообразить, каково это — когда кто-то знает тебя так, что вы становитесь все равно что одним человеком.

Потом мы сидели наверху, у Конни, и курили травку, которую она стащила у Питера. Щель под дверью заткнули полотенцем, свернув его в толстый валик. Конни то и дело приходилось заново защипывать бумагу пальцами, мы с ней дымили в торжественной, парниковой тишине. Из окна была видна машина Питера, припаркованная так криво, словно он выскочил из нее в большой спешке. Не то чтобы я раньше не замечала Питера, но тогда мне мог понравиться любой его ровесник, тогда мальчишки привлекали внимание одним своим существованием. Но внезапно мои чувства усилились, обострились, стали такими же гротескными и неотвратимыми, как это часто бывает во сне. Я прожорливо хваталась за любую связанную с ним банальность: футболки, которые он менял по кругу; пятнышко нежной кожи на шее, прятавшееся за воротником. Закольцованное мычание *Paul Revere and the Raiders*, доносившееся из его комнаты; то, как иногда он бродил по дому с гордым, откровенно загадочным видом, — и я догадывалась, что он наелся кислоты. Как с преувеличенной аккуратностью лил и лил воду в стакан.

Пока Конни принимала душ, я зашла в комнату Питера. Там резко пахло — как будто взорвалось что-то влажное, мастурбацией, как я уже потом поняла. Все его вещи источали непостижимую значительность: низкая кровать, возле подушки — целлофановый пакет, набитый серовато-пепельной ганджой. Учебное пособие для автомехаников. На полу — заляпанный стакан с затхлой водой, на комод — рядок гладких речных камешков. Дешевый медный браслет, который он иногда надевал. Я вглядывалась во все, словно могла расшифровать потаенный смысл каждого предмета, собрать воедино внутреннюю архитектуру его жизни.

Любое вожделение в том возрасте было по большей части делом сознательным. Мы изо всех сил старались обтесать грубые и раздражающие стороны мальчишек под пригодную для любви форму. Мы говорили о том, до чего они нам нужны, заученными и привычными словами, будто подавали реплики в пьесе. Я только потом это все пойму — пойму, какой безличной, какой липкой была наша любовь, метавшаяся по вселенной в поисках организма-хозяина, который воплотил бы в себе наши желания.

В юности я видела журналы, которые лежали в выдвижном ящике в ванной, отцовские журналы с разбухшими от сырости страницами. Их внутренности были набиты женщинами. Обтянутые тугой сеткой лобки,

прозрачный свет, делавший кожу сияющей, бледной. Больше всего мне нравилась девушка с клетчатым бантиком на шее. Так странно это было, так возбуждающе — видеть, как можно быть голой и в то же время носить бантик на шее. От этого ее нагота казалась условной.

К журналам я навевывалась регулярно, как на исповедь, и потом аккуратно клала на место. Закрывала дверь в ванную с дурным, захлебывающимся удовольствием, от которого быстро начинала тереться промежностью о край ковра, край матраса. Спинку дивана. Как же у меня это вообще получалось? Вновь и вновь вызывая в памяти изображение девушки, я могла разогнать это чувство, этот поток удовольствия до тех пор, пока он не превращался в компульсивное желание ощутить его снова и снова. Странно, кстати, что я тогда представляла себе девочку, а не мальчика. И что чувство это могли разжечь и другие странности. Цветная иллюстрация из книжки сказок: попавшая в паутину девочка. И злые существа, следящие за ней фасеточными глазами. Воспоминание о том, как отец ухватил — сквозь мокрый купальник — соседку за задницу.

Я уже кое-что пробовала — не секс, но почти. Скупые обжимания в коридорах во время школьных танцев. Перегретое удушие родительского дивана, пот под коленками. Алекс Познер с бесстрастным, исследовательским интересом протискивает руку мне в шорты, мы резко отпрыгиваем в разные стороны, слышав шаги. Ничто из этого — ни поцелуи, ни руки, ползавшие у меня под бельем, ни нагое подрагивание пениса в кулаке — и близко не походило на то, чем я занималась в одиночестве, на это разбухание удовольствия, лестницей уходившее вверх. Я чуть ли не воображала, что Питер поможет мне обуздать мои желания, которые становились до того навязчивыми, что меня это иногда пугало.

Я лежала на кровати Конни, на тонком индийском покрывале. Она здорово обгорела на солнце; я смотрела, как она обдирает с плеч мутную кожицу, скручивает в маленькие серые шарики. Я сдерживала легкое отвращение, думая о Питере, который жил с Конни в одном доме, дышал с ней одним воздухом. Ел с ней из одной посуды. По сути своей они были неотделимы друг от друга, как две особи, выращенные в одной лаборатории.

Снизу доносился смех накурившейся Памелы.

— Когда у меня будет парень, уж я заставлю его сводить меня в ресторан, — важно сказала Конни. — Питер ее сюда приводит, только чтоб перепихнуться, а ей и все равно.

Питер вечно ходит без нижнего белья, пожаловалась Конни, и я все

думала и думала об этом, желудок у меня сводило — впрочем, ощущение было не то чтобы неприятным. Набрякшие, сонные веки, признак того, что он всегда под кайфом. Рядом с ним Конни отходила на второй план: тогда я всерьез не верила, что дружба сама по себе может быть конечной целью, а не фоном для драмы о том, любят ли тебя мальчики или не любят.

Конни стояла перед зеркалом, подпевая миленькой печальной “сорокопятке”, у нас было несколько таких пластинок, которые мы заводили снова и снова. Песни, подогревавшие мою праведную тоску, мою воображаемую сопряженность с трагической природой мира. Как же я любила тогда себя выкручивать, раскошегаривать чувства до невыносимости. Я хотела всю жизнь, целиком, ощущать вот так лихорадочно, на разрыв от дурных предчувствий, чтобы даже цвета, даже погода и вкусы казались более насыщенными. Вот что обещали мне песни, вот что они вытягивали из меня.

В одной песне словно бы вибрировало чье-то личное эхо, будто какая-то метка. Простые строчки о женщине, о том, как выглядит ее спина, когда она уходит от мужчины в самый последний раз. Сигаретный пепел, что остается после нее в постели. Песня закончилась, и Конни вскочила, чтобы перевернуть пластинку.

— Поставь эту еще раз, — сказала я.

Я попыталась представить себя такой, какой видел эту женщину певец: на руке у нее покачивается подернутый зеленью серебряный браслет, волосы распущены. Но, открыв глаза, я почувствовала себя дурой, потому что увидела Конни, которая крутилась возле зеркала, разделяя ресницы булавкой, увидела ее задницу, в которую врезались шорты. Нет, себя такой не представишь. Такие песни поют о других девочках. Вроде той, что я видела в парке. Или Памелы, или вроде старшеклассницы на школьных ступенях, ждущей, когда ее парень лениво заведет наконец машину, чтобы вскочить как по сигналу. Отряхнуть зад, выйти на солнце, помахать тем, кто остался.

Вскоре после того дня, дождавшись, когда Конни заснет, я зашла в комнату к Питеру. Слова, сказанные им на кухне, я восприняла как приглашение, которым нужно воспользоваться до определенной даты — иначе сгорит. Мы с Конни перед сном пили пиво, сидя на полу, подпирая ножки плетеных стульев, зачерпывая творог пальцами прямо из коробки. Я выпила гораздо больше нее. Мне хотелось, чтобы все как-то разом переменялось, ожило. Я не хотела быть как Конни: сидеть на одном месте и ждать, пока что-нибудь произойдет, есть кунжутные крекеры пачками,

потом прыгать у себя в комнате — ноги вместе, ноги врозь, десять раз. Конни уснула — глубоко, подергиваясь, а я все не спала. Прислушивалась, ждала шагов Питера на лестнице.

Наконец он ввалился к себе в комнату, и я, достаточно, как мне показалось, выждав, пошла к нему. Прокралась по коридору призраком в пижаме с шортиками, в полиэстеровой гладкости: унылая переходная стадия между бельем и нарядом принцессы. Тишина в доме казалась живым существом, недружелюбным и осязаемым, однако она окрашивала все незнакомой мне прежде свободой, заполняла комнаты, будто густеющий воздух.

Питер неподвижно лежал под одеялом, высунув наружу шишковатые мальчишеские ноги. Он дышал, подхрипывая после очередной дозы наркотиков. Вся комната была ему колыбелью. Может, на этом и нужно было остановиться — просто по-родительски глядеть, как он спит, радоваться, что стала свидетелем его сладких снов. Слушать его было все равно что перебирать четки, каждый вдох успокаивал, каждый выдох. Но я не хотела останавливаться.

Когда я привыкла к темноте и подошла поближе, его лицо стало четче, проступили все черты. Я разглядывала его, и мне не было стыдно. Вдруг Питер открыл глаза и вроде бы даже не удивился, увидев, что я стою возле кровати. Поглядел на меня кротким, млечным взглядом.

— Бойд. — Он заморгал, голос у него еще сонный, срывающийся, но сказал он это как-то безропотно, и я решила, что он меня ждал. Знал, что я приду.

Мне стало стыдно, что я стою тут в таком виде.

— Ты садись, — сказал он.

Я присела на корточки возле низенькой кровати, глупо покачиваясь. Ноги тотчас же заныли от напряжения. Питер потянулся, втащил меня на матрас, и я улыбнулась, хотя вряд ли он видел мое лицо. Он молчал, я тоже. С пола комната казалась странной — возвышался шкаф, кренилась дверь. О том, что Конни в соседней комнате, вспоминалось с трудом. Конни, которая часто бормотала что-то во сне, иногда выкрикивая номер, точно сбитый с толку игрок в лотерею.

— Залезай, если замерзла, — сказал он, откинув одеяло, и я увидела его голую грудь, его наготу.

Я залезла к нему в кровать с торжественным молчанием. Вот так запросто — сбылось то, что всегда было возможным.

Больше он ничего не сказал, и я тоже. Он прижал меня к себе, спиной к груди, уткнулся мне в бедро членом. Мне даже дышать не хотелось, вдруг

он сочтет это за навязчивость, вдруг ему станет неудобно просто от того, что у меня ребра слишком часто поднимаются и опускаются. Я делала крошечные вдохи через нос, голова кружилась все сильнее. Его резкий запах в темноте, его одеяло, его простыни — всего этого Памеле доставалось с избытком, она с легкостью могла проникнуть на его территорию. Он приобнял меня, и я все запоминала, что вот эта тяжесть сверху — это рука парня. Питер вел себя так, словно собрался спать дальше, вздыхал и ворочался как ни в чем не бывало, но именно так и надо было себя вести. Как будто ничего такого необычного не происходит. Когда он задел пальцем мой сосок, я замерла. Я чувствовала шеей его ровное дыхание. Его рука бесстрастно измеряла мою грудь. Он сжал сосок, я шумно вздохнула, он на миг замер, но потом продолжил. Мазнул членом по моим голым ляжкам. Я поняла, что соглашусь на любой сценарий. На все, во что он решит превратить эту ночь. Страшно мне не было, я чувствовала что-то сродни восторгу, глядела на все как из-за кулис. Что же случится с Эви?

Тут в коридоре скрипнула половица, чары рассеялись. Питер убрал руку, резко перевернулся на спину. Уставился в потолок, я видела его глаза.

— Мне нужно поспать, — сказал он, стараясь говорить как можно более сухо. Голос-ластик, такой нарочито тусклый, что я засомневалась даже, а было ли вообще что-то. Вставала я медленно, слегка опешив, но в то же время млея от счастья, как будто мне и этих крох хватило, чтобы насытиться.

Казалось, мальчики играют уже несколько часов. Мы с Конни сидели на скамейке, вибрируя от такого подчеркнутого невнимания. Я все ждала, когда Питер хоть как-нибудь намекнет на то, что произошло между нами. Ждала какого-то промелька в глазах, взгляда, на котором будет высечена вся наша история. Но он не смотрел на меня. В сыром гараже отдавало холодным бетоном и пропахшими костром палатками, которые свернули, даже не высушив. На стене висел календарь дальнобойщиков: женщина с застывшим взглядом и чучельным оскалом лежит в горячей ванне. Хорошо хоть Памелы не было. Они с Питером вроде как поругались, сообщила мне Конни. Расспрашивать я не стала, от этого Конни меня предостерегла одним взглядом — явный интерес выказывать было нельзя.

— Эй, малышня, а у вас что, нет занятий поинтереснее? — спросил Генри. — Никто вас там не звал, например, на мороженое?

Конни тряхнула волосами, встала, чтобы взять себе еще пива. Генри

насмешливо глядел на нее.

— Ну отдай, — заныла она, потому что Генри схватил две бутылки пива и держал их в вытянутой руке.

Помню, я тогда впервые отметила, какая же она громогласная, как резко эта глупая напористость прорывалась у нее в голосе. А ее нытье, а ужимки, а визгливый смех, который казался отрепетированным, — так оно, кстати, и было. Между нами разверзлась пропасть, едва я начала все это подмечать, составлять опись ее недостатков, прямо как мальчишка. Теперь жалею, конечно, что была к ней так беспощадна. Можно подумать, что, отдалившись от нее, я сумела бы вылечиться от точно такой же болезни.

— А что мне за это будет? — спросил Генри. — Бесплатно в этом мире, Конни, ничего не бывает.

Она пожала плечами и, резко подпрыгнув, попыталась выхватить пиво. Генри зажал ее солидной массой своего тела и смеялся, глядя, как она вырывается. Питер закатил глаза. Ему это все тоже не нравилось, это водевильное блеянье. Его друзья постарше пропадали в джунглевых хлябях, в густом иле рек. Возвращались домой, бормоча какую-то чушь себе под нос, курили одну за другой тонкие черные сигареты, а дождавшиеся их подружки жались за их спинами маленькими нервными тенями. Я как могла распрямилась, сделала взрослое, скучающее лицо. Отчаянно желая, чтобы Питер на меня посмотрел. Мне казалось, что Памела не видит того, чего от Питера хотела я, — колючей печали, иногда проскальзывавшей у него во взгляде, доброты, которую он незаметно проявлял по отношению к Конни. Например, однажды он повез нас с ней на озеро Эрроухед, когда мать даже не вспомнила о дне рождения Конни. Ничего этого Памела не знала, и я изо всех сил вцепилась в этот факт — мне бы любой рычаг сгодился, лишь бы он был мой и только мой.

Генри ущипнул Конни за мягкую кожу над пояском шорт:

— Аппетит хороший, да?

— Не трогай меня, маньяк. — Она шлепнула его по руке. Похихикала. — Пошел в жопу.

— Идет, — сказал он, выкрутив ей руку, — поворачивайся жопой.

Она стала вяло отбиваться, заныла, и наконец Генри ее отпустил. Она потеряла запястья.

— Придурок, — пробормотала она, хотя на самом деле совсем не обиделась.

Быть девочкой значило и это тоже — быть готовой ко всему, что о тебе скажут. Обиделась — ну тогда ты чокнутая, никак не отреагировала — стерва. Поэтому оставалось только улыбаться из угла, в который тебя

загнали. Присоединиться ко всеобщему смеху, даже если смеются над тобой.

Мне не нравился вкус пива, его сыпучая горечь — не то что приятный дезинфицирующий холодок отцовских мартини, но я выпила бутылку, потом еще одну. Парни скармливали автомату пятицентовики из почти опустевшего мешочка.

— Нужен ключ от автомата. — Питер вытащил из кармана тоненький косяк, закурил. — Надо его открыть.

— Я схожу, — сказала Конни. — Смотри не заскучай тут без меня, — промурлыкала она, небрежно помахав рукой Генри.

Обернувшись ко мне, она только бровь вскинула. Я поняла, что это все — часть какого-то плана, который она придумала, чтобы привлечь внимание Генри. Сначала уйти, потом вернуться. Вычитала, наверное, в каком-нибудь журнале.

Вот, скорее всего, в чем мы ошибались. И не только в этом. Мы верили, что мальчики делали все, следуя какой-то логике, которую мы когда-нибудь сможем понять. Верили, что каждое их действие было осмысленным, что это не просто бездумный порыв. Нам, словно конспирологам, в каждой детали мерещились тайные знаки и умыслы, потому что мы отчаянно хотели быть достойными того, чтобы о нас думали, чтобы нас замечали. Но мальчики были просто мальчиками. Глупыми, юными и простыми; ничего они не утаивали.

Питер вернул рычаг в начальную позицию и уступил место у автомата Генри. Они по очереди затягивались косяком. На обоих были белые, застиранные до полупрозрачности футболки. Питер улыбнулся, когда из автомата с ярмарочным звоном высыпалась кучка монет, но казалось, что голова у него занята чем-то другим. Он прикончил еще одну бутылку пива, докурил косяк до сплющенного, липкого окурка. Они тихо переговаривались. До меня доносились обрывки.

Они обсуждали Уилли Потерака. Его все знали, он первым в Петалуме записался в армию. Отец отвез его на призывной пункт. Потом я его видела в “Бургерберге”, с миниатюрной брюнеткой, у которой текло из носа. Она упрямо называла его полным именем — Уильям, как будто лишний слог был секретным паролем, услышав который он превратится во взрослого, ответственного человека. Цеплялась за него как репей.

— Он всегда торчит во дворе, — говорил Питер, — машину моет, вроде как все по-прежнему. Вряд ли он теперь и водить-то может.

Это были вести из другого мира. Когда я увидела лицо Питера, мне стало стыдно, что я только играю в настоящие чувства, познаю мир при

помощи песен. А Питера и вправду могут услать отсюда, он вправду может умереть. Чтобы все это почувствовать, ему не нужно, как нам с Конни, тужиться и выдумывать себе эмоциональные экзерсисы: что ты будешь делать, если твой отец умрет? Что ты будешь делать, если забеременеешь?

Что ты будешь делать, если учитель захочет с тобой переспать, как мистер Гаррисон — с Патрисией Белл?

— Она вся сморщенная, культа его, — сказал Питер. — Розовая.

— Отвратительно, — отозвался Генри. Он даже головы не повернул, уставился на экран с вертевшимися вишенками. — Хочешь убивать людей, так не жалуйся, если эти люди тебе бомбой ноги поотрывают.

— А он, кстати, ей гордится, — сказал Питер, повысив голос, щелчком сбросив окурок на пол. Поглядел, как окурок гаснет. — Показывает ее всем. Вот где шиза. Их разговор приобрел драматичный оборот, и меня тоже потянуло на драму. Я разгорячилась от алкоголя, накрутила себя до жжения в груди и уже перестала отвечать за свои действия. Я встала. Мальчики даже не заметили. Они обсуждали фильм, который смотрели в Сан-Франциско. Название было знакомое, но у нас этот фильм не показывали, потому что он вроде как был неприличный, хотя я не помнила почему.

Когда я наконец, уже став взрослой, посмотрела этот фильм, меня поразила осязаемая невинность постельных сцен. Аккуратный бугорок жира над лобковыми волосами актрисы. Как она смеялась, прижимая голову капитана к миленьким, висящим грудям. Это была добродушная похабщина, эротика, где было место и веселью. Не то что фильмы, которые пошли потом, когда девочки морщатся и ноги у них безжизненно болтаются.

Генри закатывал глаза, непристойно вываливал язык. Изображал какую-то сцену из фильма.

Питер рассмеялся:

— Извращенец!

Они гадали, по-настоящему актрису трахали или нет. Похоже, им было наплевать, что я тут стою.

— Видно было, что ей нравится, — сказал Генри. — О-о-о, — простонал он высоким женским голосом, — о-о-о, да-а, ммм!

Он принялся долбить бедрами игровой автомат.

— Я смотрела этот фильм, — вырвалось у меня. Мне нужно было как-то вклиниться в их разговор, пусть даже и соврав. Они поглядели на меня.

— Так-так, — сказал Генри, — тень подала голос.

Я покраснела.

— Смотрела? — недоверчиво спросил Питер.

Я сказала себе, что это он просто за меня волнуется.

— Да, — ответила я. — Чумовой фильм.

Они переглянулись. Неужели я вправду думала, что они поверят, будто меня кто-то подбросил до Сан-Франциско? Что я поехала посмотреть фильм, который был, по сути, порнухой?

— Ну, — глаза у Генри заблестели, — и какая сцена тебе понравилась больше всего?

— Про которую ты рассказывал, — сказала я. — С девушкой.

— Ну а в ней-то что именно понравилось? — спросил Генри.

— Отстань от нее, — беззлобно сказал Питер.

Он уже заскучал.

— А про Рождество тебе понравилось? — не унимался Генри. Его улыбка меня обнадежила, я поверила, что мы с ним по-настоящему разговариваем, что я сдвинулась с мертвой точки. — Елка огромная? Куча снега?

Я кивнула. Почти веря в собственную ложь.

Генри рассмеялся:

— Фильм снимали на Фиджи. Там все на острове происходит.

Генри фыркал, захлебываясь от смеха, и косился на Питера, — мне показалось, что Питеру как будто неловко, так неловко бывает, когда, например, поскользнется на улице прохожий. Так, словно между нами ничего и не было.

Я толкнула мотоцикл Генри. Я и не думала, что он упадет, конечно, нет, — думала, ну просто накренится и Генри умолкнет, хоть на секунду перепугается, шутливо огрызнется и мое вранье будет забыто. Но я толкнула очень сильно. Мотоцикл с оглушительным лязганьем повалился на цементный пол.

Генри вытаращился на меня:

— Сучка.

Он кинулся к упавшему мотоциклу, как к подстреленному питомцу. Разве что на ручки не подхватил.

— Не сломался ведь, — глупо сказала я.

— Дура шизанутая, — пробормотал он. Он провел рукой по корпусу мотоцикла, протянул Питеру оранжевый металлический осколок: — Ты смотри, ну вообще.

Питер глядел на меня с застывшим от жалости лицом, лучше бы он, наверное, на меня разозлился. Я как ребенок — вызывала только ограниченный набор эмоций.

В дверях показалась Конни.

— Тук-тук, — крикнула она, ключи свисали у нее с пальца.

Она оглядела всю сцену: Генри на корточках сидит возле мотоцикла, Питер стоит, скрестив на груди руки.

Генри резко хохотнул.

— Твоя подруга — просто сучка, — сказал он, злобно на меня глянув.

— Эви опрокинула мотоцикл, — сказал Питер.

— Малолетки долбаные, — сказал Генри, — няньку себе найдите, не путайтесь под ногами. Блядь.

— Извини, — тихо сказала я, но до меня никому и дела не было.

Питер потом, конечно, помог Генри поднять мотоцикл, присмотрелся к сколу — “Так, царапина, — объявил он, — починим без проблем”, — но я поняла, что трещина появилась не только на мотоцикле. Конни разглядывала меня с ледяным удивлением, словно я ее предала, — впрочем, может, так оно и было. Я сделала то, чего нам делать было нельзя. Высветила уголок тайной слабости, обнажила подергивающееся кроличье сердечко.

3

Хозяин заправки *Flying A* был толстяком, прилавок вреzался ему в брюхо, и, чтобы проследить за тем, как я брожу между рядами с болтающейся у бедра сумочкой, он привставал на локтях. Перед ним лежала газета, но я ни разу не видела, чтобы он переворачивал страницы. Вид у него был устало-официальный, и в бюрократическом, и в мифологическом смысле — как у человека, который вынужден до скончания веков охранять вход в пещеру.

В тот день я была одна. Конни, наверное, дулась у себя в комнатке, в приступе праведного негодования запойно слушая *Positively 4th Street*. При мысли о Питере меня подташнивало — тот вечер хотелось пролистнуть, хотелось, чтобы мой стыд потускнел, усох до обозримых размеров, до сплетни о незнакомом мне человеке. Я начала было извиняться перед Конни. Парни, будто полевые врачи, склонились над мотоциклом. Я даже предложила оплатить ремонт и отдала Генри все, что было у меня в кошельке. Восемь долларов, которые он взял, насупившись. Наконец Конни сказала, что мне, наверное, лучше пойти домой.

Пару дней спустя я снова зашла к ним. Отец Конни открыл дверь почти мгновенно, точно ждал меня. С молокозавода он обычно возвращался за полночь, странно было видеть его дома.

— Конни наверху, — сказал он.

На кухонном столе у него за спиной я заметила стакан виски, водянистого, с солнечными зайчиками. Я была так зациклена на собственных планах, что не распознала катастрофы в воздухе, необычности самого его присутствия.

Конни лежала на кровати, юбка у нее задралась, была видна белая ластовица трусов, пористые бедра. Когда я вошла, она села, заморгала.

— Отличный макияж, — сказала она. — Это ты ради меня так накружилась? — И снова откинулась на подушки. — У нас новости, ты оценишь. Питер уехал. Типа совсем. И — *quelle* сюрприз — с Памелой.

Она закатила глаза, но имя Памелы произнесла с извращенной радостью. Покосилась на меня.

— То есть как — уехал? — У меня в голосе уже подрагивала паника.

— Он такой эгоист, — ответила она. — Папа сказал, что нам, может, придется переехать в Сан-Диего. А на следующий день Питер свалил.

Собрал шмотки, еще какие-то свои вещи. Наверное, к сестре ее поехали, в Портленд. Да я почти уверена, что туда. — Она дунула на челку. — Он трус. А Памелу разнесет, когда она родит, она из таких.

— Памела беременна?

Она недобро поглядела на меня.

— Сюрприз! То есть тебе все равно, что я могу уехать в Сан-Диего?

Знаю, мне в ответ нужно было расписать во всех подробностях, как я ее люблю, как буду тосковать, если она уедет, но меня как загипнотизировали — я думала только о Памеле, которая сидит рядом с Питером в машине, спит, склонив голову ему на плечо. Под ногами у них шуршат ависовские карты в прозрачных пятнах жира от гамбургеров, задние сиденья завалены одеждой и его пособиями по автомеханике. Думала о Питере, который поворачивает голову и видит ее пробор — белую полоску кожи. Может, даже целует ее, преисполнившись семейной нежности, хотя она спит и этого не чувствует.

— Может, он просто идиотничает? — сказала я. — Ну то есть, может, вернется еще.

— Да пошла ты, — сказала Конни.

Похоже, и она удивилась, что это сказала.

— Что я тебе сделала? — спросила я.

Конечно, мы обе знали что.

— Сейчас мне хочется побыть одной, — чопорно объявила Конни и уставилась в окно.

Питер едет на север с подружкой, которая, быть может, даже родит ему ребенка, — теперь не выкинуть из головы всей этой биологии, множасьегося белка в животе у Памелы. Но Конни была здесь — пухлая фигурка на кровати, до того знакомая, что я могла прочертить все ее веснушки, отыскать на плече оставшуюся после ветрянки щербину. Конни, внезапно такая любимая, всегда была здесь.

— Может, в кино сходим? — спросила я.

Фыркнув, она принялась разглядывать бледные краешки ногтей.

— Питера тут больше нет, — сказала она. — Так что и тебе тут делать больше нечего. И вообще, ты в школу уезжаешь.

Мое отчаяние прорывалось все заметнее.

— Сходим на заправку?

Она прикусила губу.

— Мэй говорит, ты мне хамишь.

Мэй была дочкой зубного врача. Она носила клетчатые штаны и жилеты им в тон, будто какая-нибудь бухгалтерша.

— Ты же говорила, что Мэй нудная.

Конни молчала. Мы всегда жалели Мэй, она была богатая, но нелепая, но теперь я поняла, что Конни жалела меня, глядя, как я с высунутым языком бегаю за Питером, который, наверное, уже несколько недель как думал уехать в Портленд. Несколько месяцев.

— Мэй милая, — сказала Конни. — Очень милая.

— Мы можем сходить в кино все вместе.

Теперь я давила до упора в надежде выжать хоть какое-то сцепление — выставить кордон против пустого лета. Мэй, в общем-то, ничего, убеждала я себя, ну и пусть, что ей из-за скобок на зубах нельзя ни попкорн, ни конфеты, а так, ну да, я вполне могла себе представить нас втроем.

— Она говорит, что ты дешевка, — сказала Конни. Она отвернулась к окну. Я уставилась на кружевные занавески, которые помогала Конни подрубать клеем, когда нам было двенадцать. Я прождала слишком долго, было ясно, что мое присутствие здесь — ошибка, и мне ничего не оставалось, кроме как уйти, сквозь ком в горле попрощаться с отцом Конни — тот в ответ рассеянно кивнул — и выкатиться на велосипеде на улицу.

Было ли мне когда-нибудь так одиноко? Так, чтобы целый день впереди, а до тебя никому и дела нет? Я почти убедила себя, что на самом деле живот у меня сводит от радости. Нужно найти себе дело, твердила я, чтобы часы сгорали без перебоев. Я смешала мартини, как отец научил — лихо плеская вермут через руку, не обращая внимания на лужи на барной стойке. Бокалы для мартини мне никогда не нравились — из-за ножки и смешной формы они казались мне какими-то глупыми, бокалы для взрослых, которые переигрывают со взрослостью. Поэтому я налила мартини в стакан с золотой каемкой, куда обычно наливали сок, и заставила себя все выпить. Потом смешала второй и снова выпила. Забавно было размякнуть и в припадке веселости вдруг обнаружить, до чего у тебя смешной дом и какая мебель, оказывается, уродливая, а стулья тяжелые и вычурные, будто горгульи. Заметить, как слипся от молчания воздух и что шторы вечно задернуты. Я раздвинула их, попыталась открыть окно. На улице было жарко — я представила, как бы на меня прикрикнул отец, мол, напустила в дом духоты, — но окно закрывать не стала.

Матери не будет весь день, я стенографировала одиночество алкоголем. Странно, что вот так легко можно чувствовать столько всего разного, что есть проверенный способ унять всю эту тоскливую дрянь. Можно пить, пока проблемы не станут милыми и аккуратными — достойными восхищения. Я внушала себе, что вкус алкоголя мне нравится, а когда

затошнило, старалась дышать помедленнее. Я срыгнула на покрывало горькую блевотину, потом замыла пятно — осталась только кисловатая перечная горечь в воздухе, но этот запах мне как будто даже нравился. Я сшибла лампу, неумело, но старательно нарисовала глаза черным. Посидела перед маминым зеркалом для макияжа, переключая подсветку. Комнатное освещение. День. Вечер. Волны цветного света, мое лицо мутнело и белело снова, когда я щелчком включала фальшивый день.

Я пыталась читать книжки, которые мне нравились в детстве. Избалованная девчонка попадает в подземный мир, в город гоблинов. Детское платьице, голые коленки, на гравюрах — темный лес. От картинок со связанной девочкой я возбуждалась, поэтому на них приходилось смотреть дозированно. Мне очень хотелось самой нарисовать что-то подобное, ужасающее нутро чужих мыслей. Или лицо той черноволосой девочки, которую я видела в городе, лицо, в которое вглядывалась, чтобы понять, как соединить ее черты в единое целое. Часами напролет я мастурбировала, уткнувшись в подушку, дойдя до полного безразличия ко всему. Через какое-то время начинала болеть голова, потряхивало мышцы, ноги дрожали, ныли. Намокали трусы, ляжки.

Другая книга: серебряных дел мастер нечаянно проливает себе на руку расплавленное серебро. Наверное, после того как ожог сначала покрылся коростой, а потом облез, казалось, будто руку освеживали. Тугая, розовая, новенькая кожа, без волос и веснушек. В голову лез Уилли с его культей, как он окатывает машину теплой водой из шланга. Лужи медленно испаряются с асфальта. Я пробовала чистить апельсин так, будто одна рука у меня обгорела до локтя и на ней нет ногтей.

Смерть казалась мне гостиничным вестибюлем.

Такое цивилизованное, хорошо освещенное помещение, легко войти, легко выйти. В Петалуме один мальчишка застрелился у себя в подвале, когда его поймали на продаже фальшивых лотерейных билетов. О луже крови и влажных внутренностях я даже не думала, представляла только, какая легкость охватила его за секунду до выстрела, каким чистым и проветренным, наверное, показался ему мир. Все разочарования, вся обыденная жизнь с ее наказаниями и унижениями вдруг, в одно точное движение, стала лишней.

Казалось, будто я впервые хожу по этому магазину, от алкоголя мысли сделались бесформенными. Непрерывное моргание ламп, засохшие лимонные карамельки в банке, косметика, разложенная притягательными, фетишистскими кучками. Я раскрутила тюбик помады, чтобы попробовать

ее на руке, — я читала, что именно так надо делать. На двери звякнул магазинный колоколец. Я подняла голову. Вошла та самая черноволосая девочка из парка — в джинсовых кедах и в платье с обрезанными рукавами. По мне прокатилась волна возбуждения. Я уже воображала, что ей скажу. Из-за ее внезапного появления мне показалось, что весь день пронизан строгой синхронностью, что сам угол падения солнечных лучей пересчитан заново.

Она не красивая, поняла я, увидев девочку снова. Тут дело было в чем-то другом. Что-то такое я видела на снимках дочки актера Джона Хьюстона. Когда на лице, казавшемся ошибкой, действовали какие-то иные силы. Это было лучше красоты.

Мужчина за прилавком набылчился.

— Говорил же, — сказал он, — не пущу вас сюда больше, никого. Проваливай.

Девочка лениво улыбнулась, подняла руки. У нее под мышками я увидела иголки волос.

— Эй, — сказала она, — я просто зашла купить туалетную бумагу.

— Вы меня обворовали, — сказал мужчина, багровея. — Ты и подружки твои. Носились тут босиком, наследили грязными ножищами. Думали меня отвлечь.

Попав под прицел его гнева, я бы перепугалась до ужаса, но девочка держалась спокойно. Даже насмешливо.

— Ну это вряд ли, — она склонила голову, — может, вы меня с кем-то спутали.

Он скрестил руки:

— Я тебя запомнил.

Лицо девочки дрогнуло, взгляд стал леденеть, но она по-прежнему улыбалась.

— Ладно, — сказала она, — как скажете.

Она посмотрела в мою сторону — равнодушно, холодно. Словно почти меня и не заметила. Меня так и потянуло к ней; я и сама удивилась, как же мне хочется не упустить ее снова.

— Иди отсюда, — сказал мужчина. — Давай.

Уходя, она показала ему язык.

Самый кончик, будто шаловливый котенок.

Я всего-то на секунду замешкалась, прежде чем выскочить вслед за девочкой, но она уже быстро шагала по парковке. Я побежала за ней.

— Эй! — крикнула я.

Она не сбавляла шаг.

Я крикнула снова, громче, и она остановилась. Подождала меня.

— Вот урод, — сказала я.

Наверное, я вся блестела, как яблочко. Щеки покраснелись — от бега и от алкоголя.

Она злобно оглянулась на магазин.

— Жирный мудака, — пробормотала она. — Даже туалетной бумаги купить нельзя.

Наконец она будто бы меня заметила, пригляделась ко мне. Видно было, что я показалась ей маленькой. А рубашка с манишкой — мамин подарок — слишком уж выпендренной. Мне захотелось вмиг перерастить эти детали. Я предложила помощь, даже не подумав.

— Давай стащу, — сказала я неестественно бодрим голосом. — Бумагу. Это легко. Я у него все время ворую.

Не знаю, поверила ли она мне. Вранье, наверное, так и просвечивало. Но, может, это ее и подкупило. Как отчаянно я к ней лезла. Или хотела посмотреть, чем все закончится. Как богатая девочка поиграет в песочнице для преступников.

— Ты серьезно? — спросила она.

Я пожала плечами, сердце так и колотилось. Может, она меня и пожалела, но этого я не заметила.

Мое необъяснимое возвращение заставило мужчину за прилавком насторожиться:

— Опять пришла?

Даже если бы я и вправду хотела что-то украсть, у меня бы ничего не вышло. Я таскалась по рядам, пытаюсь стереть с лица предательский блеск, но мужчина ни разу не отвернулся. Так и пялился, пока я наконец не схватила рулон туалетной бумаги и не притащила его на кассу, стыдясь того, как быстро привычка взяла свое. Конечно, я не собиралась ничего красть. Какое там.

Пробивая бумагу, он прослезился.

— Такая милая девочка, а водишься с этими девками, — сказал он. — Они все там отбросы. Мужик еще, с черной собакой. — Вид у него был оскорбленный. — Таких к себе не пуцу.

Сквозь рябоватое стекло я видела, как девочка бродит по парковке. Прикрывает рукой глаза. Какая нежданная, внезапная удача: она ждет меня. Я заплатила, и мужчина внимательно поглядел на меня.

— Ты еще ребенок, — сказал он. — Шла бы ты домой.

После этого я перестала его жалеть.

— Пакет не нужен, — ответила я и затолкала бумагу в сумку.

Я молчала, пока он отсчитывал мне сдачу, облизывая губы, точно хотел согнать дурной привкус.

Увидев меня, девочка встрепенулась:

— Достала?

Я кивнула, и она потащила меня за угол, легонько подталкивая. Я уже почти верила, что на самом деле украла бумагу, вены горели от адреналина, когда я раскрыла сумку.

— Ха, — сказала она, заглянув туда. — Так ему и надо. Придурок. Сложно было?

— Ничего сложного, — ответила я. — Да и он вообще не смотрит.

Меня взбудоражил наш сговор, наше сообщничество. Несколько пуговиц на ее платье были расстегнуты, виднелся треугольничек голого живота. До чего же ощутимо от нее исходила какая-то вальяжная сексуальность, как будто ее одежда была наброшена прямо на остывающее от пота тело.

— Я Сюзанна, — сказала она. — Кстати.

— Эви.

Я протянула руку. Сюзанна рассмеялась, и я сразу поняла, что пожимать руки не стоило, что это пустой знак из мира нормальных людей. Я покраснела.

Без привычных жестов и условностей было непонятно, как себя вести. Я не знала, чем их можно заменить. Мы молчали, и я заторопилась со словами.

— По-моему, я тебя недавно видела, — сказала я. — Возле “Хай-Хо”.

Она ничего не ответила, уцепиться было не за что.

— Ты была с другими девочками, — сказала я. — Потом автобус подъехал.

— А, — она оживилась, — да, тот придурок здорово взбесился. — Она расслабилась, вспоминая. — За девчонками приходится приглядывать, не то они перестараются. Попадемся.

Наверное, видно было, с каким интересом я смотрела на Сюзанну: она не стеснялась, позволяла себя разглядывать.

— Я запомнила твои волосы, — сказала я.

Сюзанне это, казалось, польстило. Она рассеянно потрогала кончики:

— Я не стригусь.

Потом я узнаю, что им запретил стричься Расселл.

Внезапно она прижала туалетную бумагу к груди, сказала с достоинством:

— Тебе заплатить за нее?

У нее не было ни карманов, ни сумки.

— Не-а, — ответила я. — Я ведь тоже за нее не платила.

— Ну спасибо, — с явным облегчением сказала она. — Ты тут рядом живешь?

— Да, недалеко, — ответила я. — С мамой.

Сюзанна кивнула.

— На какой улице?

— Морнинг-Старлейн.

Она удивленно хмыкнула:

— Шикарно.

Видно было, для нее это что-то значит — то, что я живу в таком хорошем районе, но я не понимала почему. Додумалась разве что до глубинной неприязни к богатым, присущей всем молодым людям. Богачи, пресса, правительство — они всех молодых мешают в один мутный источник зла, фабрикаторов великого заговора. Сама я тогда только училась со стыдом говорить о деньгах. Высмеивать себя, чтобы опередить других.

— А ты?

Она легонько — одними пальцами — отмахнулась. — А, — ответила она, — да знаешь. У нас тут дела разные. Но когда много народу живет в одном месте, — она потрясла бумагой, — это значит, что и жоп много. У нас сейчас трудно с деньгами, но это только сейчас, ненадолго.

Нас. Эта девочка была частью *нас*, и я завидовала ее легкости, тому, что она точно знает, куда пойдет с парковки. К этим двум девочкам, с которыми я видела ее в парке, к кому-то еще, с кем она живет. К людям, которые заметят ее отсутствие и обрадуются ей, когда она вернется.

— Ты молчунья, — заметила Сюзанна.

— Извини.

Я изо всех сил старалась не расчесывать комариные укусы, хотя кожа так и зудела. Мне до дрожи хотелось о чем-то с ней поговорить, но в голову приходило только то, чего я сказать не могла. Нельзя было говорить, как часто, как много я думала о ней с того самого дня. Нельзя было говорить, что у меня нет друзей, что меня выпихивают в школу-пансион, в это общество ненужных детей. Что для Питера я хуже пустого места.

— Да нормально все. — Она помахала рукой. — Люди такие, какие

есть, понимаешь? Я сразу поняла, как тебя увидела, — продолжила она, — ты человек думающий. На своей волне, вся в своих мыслях.

Такое неприкрытое внимание было мне в новинку. Особенно от девочки. Обычно что-то такое подавалось в качестве утешения, когда тебя игнорировал очередной мальчик. Я разрешила себе поверить, что кажусь людям думающим человеком. Сюзанна переступила с ноги на ногу. Я понимала, что она хочет уйти, и не знала, как еще растянуть разговор.

— Ладно, — сказала она. — Вон та — моя.

Она кивнула в сторону машины, припаркованной в тени. “Роллс-ройс”, похороненный под слоем грязи. Увидев мое замешательство, она улыбнулась.

— Мы его одолжили, — сказала она.

Как будто это все объясняло.

Я смотрела, как она уходит, не пытаясь ее удержать. Мне не хотелось жадничать, хорошо, что мне хоть немного перепало.

4

Мать снова начала встречаться с мужчинами. Первый, любивший массировать ей голову скрюченными пальцами, сказал, что его зовут Висмайя. Сказал, что я родилась на стыке знаков, Водолея и Рыб, и поэтому мои фразы — это “Я верю” и “Я знаю”.

— Какую выберешь? — спросил Висмайя. — Ты веришь, что знаешь, или знаешь, что веришь?

Потом был пилот, летавший на небольших серебристых самолетиках, он сообщил мне, что у меня соски просвечивают через майку. Сказал это в открытую, будто помочь хотел. Он рисовал пастелью портреты коренных американцев и хотел, чтобы мать помогла ему открыть музей в Аризоне, где он мог бы выставляться. После него был риелтор из Тибурона, который водил нас в китайские рестораны. Он все предлагал познакомить меня с дочерью. Без конца повторял, что мы с ней сразу будем не разлей вода, точно-точно. Выяснилось, что его дочери одиннадцать. Вот бы Конни посмеялась, поиздевалась над тем, как у этого мужика рис прилипает к деснам, но я с ней не разговаривала с того самого дня.

— Мне четырнадцать, — сказала я.

Он взглянул на мать, та кивнула.

— Конечно, — сказал он, обдав меня запахом соевого соуса изо рта. — Да, я вижу, ты же почти взрослая. — Извини! — беззвучно прошептала мать одними губами, но когда мужчина потянулся к ней с вилкой, чтобы скормить склизкую на вид горошину, она послушно, будто птичка, разинула рот.

Жалость, которую я в таких случаях испытывала к матери, была для меня новым, неприятным чувством, но в то же время мне казалось, я его заслужила — словно оно было моим личным тяжким долгом, каким-то заболеванием.

За год до развода родители закатали вечеринку. Это отец придумал. Пока они жили вместе, мать не отличалась особой общительностью, я чувствовала, как она нервничает на разных праздниках и мероприятиях, как прячет тревогу за натянутой улыбкой. Вечеринку устроили в честь нового отцовского инвестора. По-моему, отец тогда впервые выудил деньги из кого-то кроме матери и от этого раздулся еще сильнее, начал пить задолго до прихода гостей. Его волосы источали густой отцовский запах “Виталиса”, дыхание было сдобрено алкоголем.

Мать приготовила ребрышки по-китайски с кетчупом, и теперь они железисто блестели, будто лакированные. Оливки из банки, жареный арахис. Сырные палочки. Какой-то вязкий мандариновый десерт, рецепт она вычитала в “Макколс” [5]. Перед приходом гостей мать спросила меня, хорошо ли она выглядит. Пригладила узорчатую юбку. Помню, что вопрос меня озадачил.

— Очень хорошо, — ответила я, странно разволновавшись.

Мне налили немножко хереса в толстостенный розовый стакан; от него рот схватывало приятной гнильцой, и я тайком плеснула себе еще.

Почти все гости были друзьями отца, и я поразила широте его другой жизни — жизни, за которой я подсматривала через забор. Потому что пришли люди, явно его знавшие, люди, чье мнение об отце сложилось во время совместных обедов, поездок на ипподром Голден-Гейтфилдс и разговоров о Сэнди Коуфаксе [6]. Мать нервно переминалась возле стола с закусками, она положила палочки, но ими никто не ел, — видно было, что она из-за этого расстроилась. Она попыталась всучить палочки какому-то крепышу и его жене, но они покачали головами, мужчина отпустил какую-то шутку — я толком не расслышала. Мать приуныла. Она тоже пила. Вечеринка получилась из тех, где все быстро напиваются и разговоры сливаются в общее мычание. Кто-то из отцовских друзей раскурил косяк, и я заметила, как материнское огорчение сменилось терпеливой снисходительностью. Рамки начали расплываться. Жены глядели на пролетающие самолеты, выгибаясь в сторону аэропорта. Кто-то уронил стакан в бассейн. Я видела, как он медленно ушел на дно. А может, это пепельница была.

Я бродила среди гостей, чувствуя себя маленьким ребенком, — мне хотелось оставаться незамеченной и в то же время по возможности принимать участие в празднике. Я с радостью показывала, где туалет, сгребала в салфетку жареный арахис и ела его возле бассейна, орешек за орешком, пачкая пальцы в соленой крошке. Свобода ребенка, от которого никто ничего не требует.

Я не видела Тamar с того самого дня, когда она забрала меня из школы, и помню, что расстроилась, когда она приехала, — при ней, как при свидетелях, нужно было вести себя по-взрослому. Она приехала с мужчиной, он был старше ее. Представила его всем, расцеловалась с кем-то в щеку, пожала руки. Ее как будто все знали. Мне было завидно, как друг Тamar, пока та с кем-то говорила, положил руку ей на спину, на полоску кожи между юбкой и майкой. Мне захотелось, чтобы она увидела

меня с выпивкой. Когда она подошла к бару, я тоже подошла туда и налила себе еще хереса.

— Мне нравится твой наряд, — сказала я, огонь в груди сам вытолкнул слова наружу.

Она стояла ко мне спиной и меня не слышала. Я повторила фразу, и она вздрогнула.

— Эви, — вполне любезно сказала она, — ты меня напугала.

— Извини.

Я почувствовала себя душой, простушкой в платьехалатике. Она была одета ярко, с иголки, в узоры из волнистых ромбов, лиловых, зеленых, красных.

— Классная вечеринка, — сказала она, оглядывая толпу.

Не успела я придумать ответ, дать ей понять какой-нибудь ловкой шуткой, что стоячие факелы и мне кажутся дурацкими, как к нам подошла мать. Я быстро поставила стакан на стол. Разом себя возненавидела: мне было так хорошо, но стоило появиться Тамар, и я вдруг резко увидела каждый предмет в доме, каждую черточку родителей, как будто бы лично за все отвечала. Мне было стыдно за мамину пышную юбку, которая казалась старомодной на фоне наряда Тамар, за то, как поспешно мать к ней кинулась. Как от нервов у нее шея покрылась пятнами. Пока они вежливо беседовали, я тихонько отошла.

Меня подташнивало, я вся пропеклась тревогой, мне хотелось где-нибудь сесть и ни с кем не разговаривать, не ловить взгляд Тамар или не видеть, как мать ест палочками, весело сообщая всем, что это совсем нетрудно, хотя дольки мандарина все время выскальзывали обратно на тарелку. Я скучала по Конни — тогда мы с ней еще дружили. Мое местечко у бассейна заняло стадо сплетничавших жен, из другого конца двора доносился раскатистый отцовский смех, вокруг него все тоже смеялись. Я неуклюже одернула платье, стакана в руке очень недоставало. Неподалеку стоял друг Тамар и ел ребрышки.

— Ты дочка Карла? — спросил он. — Да?

Помню, я еще подумала, странно, что они с Тамар разъединились, что он стоит тут один и справляется с едой на тарелке. Странно вообще, что он решил со мной заговорить. Я кивнула.

— Красивый дом, — сказал он с набитым ртом. Губы блестят от ребрышек. Симпатичный, но было в нем — в его вздернутом носе — что-то такое мультяшное. Двойная оборочка кожи под подбородком. — Земля-то сколько, — прибавил он.

— Это дом бабушки с дедушкой.

Он моргнул.

— Знаю про нее, — сказал он. — Про бабушку твою. Кино с ней смотрел, когда маленьким был. — Я только тогда заметила, какой он пьяный. Как он все тыкал кончиком языка в уголок рта. — Сцена с аллигатором в бассейне. Классика.

Я привыкла к тому, что люди говорили о бабушке с нежностью. К тому, что они отрепетированно ею восхищались, рассказывая мне, как росли под ее фильмы в телевизоре, как она улыбалась прямо им в комнату, будто еще один, самый родной, член семьи.

— Тогда понятно, — приятель Тамар огляделся, — если дом ее. Твоему старику такое не по карману, куда там.

Я поняла, что он оскорбляет отца.

— Странно, правда, — сказал он, утирая губы рукой, — и чего твоя мать все терпит?

Наверное, по моему лицу было видно, что я ничего не поняла, и он махнул рукой в сторону Тамар, которая так и стояла возле бара. Отец рядом с ней. Матери нигде не было видно. Тамар, звякая браслетами, взмахивала бокалом. Они с отцом просто разговаривали. Ничего необычного. Я не поняла, почему ее друг так скалится, так явно ждет моей реакции.

— Твой отец трахает все, что движется, — сказал он. — Позвольте забрать вашу тарелку. — Я так опешила, что даже глазом не моргнула.

Этому меня научила мать: прикройся вежливостью. Парируй боль хорошими манерами. Как Джеки Кеннеди. Одно из достоинств того поколения — они умели отбивать обиду, гасить оскорбления формальностью. Но потом это вышло из моды. Сунув мне тарелку, он лишь презрительно на меня посмотрел. Впрочем, может быть, мне это только показалось.

Вечеринка закончилась, когда совсем стемнело. Догорали последние факелы, ниточки дрожащего пламени уходили в темно-синее небо. Бойкие раздутые машины с грохотом выкатывались со двора, отец громко со всеми попрощался, а мать складывала салфетки и стряхивала в ладонь оливковые косточки, мокрые от чужой слюны. Отец снова завел пластинку, я выглянула в окно и увидела, как он уговаривает мать потанцевать с ним.

— Буду глядеть на луну... — напевал он, далекий лик луны тогда был адресатом всеобщей тоски.

Я понимала, что теперь мне положено ненавидеть отца. Но я только глупо себя чувствовала. Мне было стыдно — не за него, а за мать. За то,

как она оправляла юбку, спрашивала меня, как она выглядит. За то, как у нее иногда в зубах застревали кусочки еды и как она краснела, когда я ей об этом говорила. Как она стояла у окна, когда отец задерживался на работе, пытаюсь в пустой подъездной дорожке разглядеть какой-то принципиально новый смысл.

Конечно же, она обо всем знала — как тут не знать, — но он все равно был ей нужен. Как Конни, которая прыгала за пивом, зная, что выставит себя на посмешище. Знал это и приятель Тамар, поглощавший еду с таким лихорадочным, ненасытным голодом. Не успевая глотать прожеванное. Унизительные проявления страсти.

Алкоголь выветривался. Мне хотелось спать, на душе было пусто, я опять с размаху стала собой. Мне все было противно: комната с огрызками моего детства, кружевной бортик стола. Пластмассовый проигрыватель с толстой бакелитовой ручкой, кресло-мешок, которое вечно казалось мокрым и прилипало к ногам. Вечеринка с этими вымученными закусками, мужчины в гавайских рубашках — писк выходной моды. Казалось, куда ни глянь, сразу поймешь, почему отцу хотелось чего-то иного. Я представила, как Тамар с ленточкой на шее лежит на ковре в какой-нибудь крошечной квартирке в Пало-Альто. И отца, который... смотрит на нее? Сидит в кресле? Как непристойно искрит ее розовая помада. Я не могла ее ненавидеть. И отца — не могла. Оставалась только мать, которая все это допустила, мягкая и податливая, как тесто, мать. Которая давала ему деньги, готовила ужины, неудивительно, что отцу захотелось чего-то другого — нестандартных мнений Тамар, ее жизни, похожей на телепрограмму о лете.

Тогда я еще думала о браке просто, оптимистично. Что это когда кто-нибудь обещает о тебе заботиться, обещает, что заметит, если тебе плохо, если ты устала или тебя мутит от еды с мерзлым привкусом холодильника. Обещает, что его жизнь пойдет параллельно твоей. Мать обо всем знала и все равно не ушла от отца, и что тогда нам это говорит о любви? Что за ней не спрячешься. Как печалются припевы всех грустных песен, ты не любишь меня так, как я люблю тебя.

И вот что страшнее всего: невозможно было отследить начало, миг, когда все менялось. Вид женской спины в вырезе платья перемежался мыслями о том, что жена в соседней комнате.

Музыка стихла, я знала, что мать сейчас зайдет пожелать мне спокойной ночи. Я ждала ее с содроганием — мне придется увидеть ее обвисшие кудри, пятна помады вокруг рта. Когда она постучала, я

притворилась, что сплю. Но у меня горел свет, дверь тихонько приоткрылась.

Она нахмурилась:

— Ты еще даже не переделась?

Можно было ее проигнорировать или как-нибудь пошутить, но мне не хотелось ее обижать. Тогда не хотелось. Я села.

— Хорошо все прошло, да? — спросила она. Прислонилась к дверному косяку. — Ребрышки вроде всем понравились.

Может быть, я и правда думала, что мать захочет обо всем узнать. А может, мне просто хотелось, чтобы она меня успокоила, утешила взрослыми выводами.

Я кашлянула.

— Кое-что случилось.

Я почувствовала, как она напряглась.

— Да?

Потом меня от одного воспоминания об этом передергивало. Наверное, она и так знала, что я скажу. Мысленно просила помолчать.

— Папа разговаривал... — я нагнулась, старательно затеребила застежку на туфле, — с Тамар.

Она выдохнула:

— И что?

Она тихонько улыбалась.

Безмятежно.

Я растерялась, должна ведь она понимать, о чем я говорю.

— И все, — ответила я.

Мать посмотрела на стену.

— Только десерт не удался, — сказала она. — В следующий раз лучше сделаю макарены, кокосовые макарены. Эти мандарины очень неудобно есть.

Опешив, я напряженно молчала. Я скинула туфли, поставила их рядышком под кровать. Пробормотала:

“Спокойной ночи”, наклонила голову для поцелуя.

— Свет выключить? — спросила мать, остановившись в дверях.

Я помотала головой. Она аккуратно прикрыла дверь. Как тщательно она ее закрыла, повернув ручку до щелчка. Я уставилась на красные метины от туфель, на ноги. Подумала о том, какими смятыми они кажутся, какими странными, совсем непропорциональными, как вообще можно полюбить человека, если у него такие ноги?

О мужчинах, с которыми мать встречалась после развода с отцом, она говорила с отчаянным оптимизмом заново родившегося человека. И я видела, каких трудов ей это все стоило: она делала гимнастику в гостиной на махровом полотенце, в полосатом от пота трико. Облизывала ладонь и нюхала ее, чтобы проверить, не пахнет ли у нее изо рта. Ходила на свидания с мужчинами, у которых на шее были гнойники от порезов бритвой, с мужчинами, которые тянулись за чеком, но с благодарностью глядели на мать, когда она вытаскивала карточку “Эйр Трэвел”. Вот каких мужчин она находила, но ей это, похоже, нравилось.

Во время ужинов со всеми этими мужчинами я думала о Питере. Как они с Памелой спят в подвальной квартирке в каком-нибудь незнакомом орегонском городе. Странно, но моя ревность смешивалась с тревогой за них обоих, за ребенка, растущего внутри Памелы. Далеко не каждой девочке, я поняла, суждено быть любимой. Не как, например, Сюзанне, которая пробуждала это чувство одним своим существованием.

Мужчина, который матери понравился больше всех, был золотоискателем. Точнее, так представлялся сам Фрэнк — со смехом, с фонтанчиком слюны в уголке рта.

— Рад знакомству, детка, — сказал он в первый вечер и, притянув меня к себе огромной ручищей, неуклюже обнял.

Мать была навеселе, в приподнятом настроении, как будто золотые самородки валялись прямо в руслах рек или висели гроздьями прямо у подножий скал и их можно было срывать, как персики.

Я подслушала, как мать говорила Сэл, что Фрэнк вообще-то женат, но скоро разведется. Я в этом сомневалась. Такие мужчины, как Фрэнк, из семьи не уходят. На нем была рубашка с желтовато-белыми пуговицами и вышивкой на плечах — выпуклые красные пионы. Мать нервничала, тербила волосы, постукивала ногтем по зубам. Она посмотрела на меня, затем на Фрэнка.

— Эви очень умная девочка, — сказала она.

Она говорила слишком громко. Но все равно приятно было от нее такое услышать.

— В Каталине она будет блистать.

Так называлась школа, куда меня отправляли, хотя казалось, что до сентября еще сто лет.

— Хорошие мозги, — пророкотал Фрэнк, — путь к успеху, верно?

Я не поняла, шутит он или нет, и мать, кажется, не поняла тоже.

Мы сидели в столовой и молча ели рагу, я выбирала кусочки тофу и

откладывала их на край тарелки. Мать, как я заметила, решила сдержаться и промолчать.

Даже несмотря на странную — очень уж женственную и пеструю — рубашку, Фрэнк был милым и умел развеселить мать. Не такой, конечно, красавец, как мой отец, но все-таки. Она то и дело дотрагивалась до его руки.

— Уже четырнадцать, значит? — спросил Фрэнк. — Наверное, мальчиков меняешь одного за другим?

Взрослые вечно поддразнивали меня насчет мальчиков, но в определенном возрасте это перестает быть шуткой — мысль, что мальчик и вправду может тебя захотеть.

— Угу, как перчатки, — ответила я, и мать вскинулась, услышав холодок в моем голосе.

Но Фрэнк, похоже, ничего не заметил, он широко улыбался матери, похлопывая ее по руке. Она тоже улыбалась, будто маску растягивала, взгляд так и метался — от меня к нему.

У Фрэнка были золотые прииски в Мексике.

— Там никаких нормативов, — говорил он. — И рабочая сила дешевая. В общем, не прогадаешь.

— Сколько золота вы выкопали? — спросила я. — В смысле — уже.

— Ну, как подвезем все оборудование, выкопаем целую кучу.

Он пил из винного бокала, оставляя на стекле жирные отпечатки пальцев. Под его взглядом мать размякла, расслабила плечи, разомкнула губы. В тот вечер она выглядела моложе. Во мне шевельнулось странное материнское чувство, оно было неприятным, меня передернуло.

— Как знать, может, мы туда съездим, — сказал Фрэнк. — Все втроем. Махнем ненадолго в Мексику.

Цветы в волосах. — Он срыгнул на выдохе, сглотнул, и мать покраснела, завертела бокал с вином.

Матери он нравился. Она делала эту свою дурацкую гимнастику, чтобы хорошо перед ним выглядеть без одежды. Она умастила себя и украсила, ей так хотелось, чтобы ее полюбили. Об этом больно было думать — о том, что мать так отчаянно в чем-то нуждается, и я посмотрела на нее, думая улыбнуться, показать, как нам с ней хорошо, хорошо вдвоем. Но она на меня не смотрела. Нет, она была вся обращена к Фрэнку, чтобы взять все, что уж он там пожелает ей дать. Я сжала кулаки под столом.

— А как же ваша жена? — спросила я.

— Эви! — прошипела мать.

— Ничего страшного, — Фрэнк вскинул руки, — вопрос справедливый.

Он принялся с силой тереть глаза, потом положил вилку.

— Там все сложно.

— Чего ж тут сложного, — сказала я.

— Ты грубишь, — сказала мать.

Фрэнк положил руку ей на плечо, но она вскочила и с мрачной сосредоточенностью начала убирать со стола, поэтому он, озабоченно улыбаясь, передал ей свою тарелку. Вытер сухие руки о джинсы. Я не смотрела на него. Я теребила заусенец, потом с удовольствием его оторвала.

Когда мать вышла, Фрэнк прокашлялся.

— Зря ты злишь маму, — сказал он. — Она хорошая женщина.

— Не ваше дело.

Ранка возле ногтя кровоточила, я нажала на нее, чтобы прижгло болью.

— Слушай, — сказал он так запросто, словно хотел со мной подружиться, — я все понимаю. Тебе надоело сидеть дома. Во всем слушаться маму. Да?

— Убожество, — беззвучно прошептала я.

Он не понял, что я сказала, — понял только, что ответила не так, как бы ему хотелось.

— Грызть ногти — это гадко, — запальчиво сказал он. — Гадко и вульгарно, так только очень вульгарные люди делают. И ты такая же?

Мать снова возникла в дверях. Я была уверена, что она все слышала и теперь знала, что Фрэнк не такой уж и хороший. Она, конечно, расстроится, но я решила быть к ней добрее и чаще помогать по дому.

Но мать только поморщилась:

— Что тут происходит?

— Я просто сказал Эви, чтоб не грызла ногти.

— Я это ей тоже вечно говорю, — сказала мать. Голос у нее дребезжал, губы кривились. — Так недолго и заболеть, если грязь в рот тащить.

Я прокручивала в голове разные варианты. Мать просто тянула время. Прикидывала, как бы получше выставить Фрэнка вон из нашей жизни, сказать ему, чтоб не лез ко мне. Но когда она уселась с ним рядом и дала ему погладить себя по руке, даже полезла к нему обниматься, я поняла, чем все закончится.

Когда Фрэнк вышел в туалет, я думала, она хоть как-то передо мной извинится.

— Тебе эта майка мала в груди, — злобно прошептала она, — это неприлично, ты уже взрослая.

Я открыла рот, чтобы ответить.

— Завтра поговорим, — сказала она. — Обо всем поговорим.

Тут она услышала шаги Фрэнка и, еще раз глянув на меня напоследок, заторопилась к нему. Я осталась одна за столом. Падавший на руки свет от верхней лампы был резким и неласковым.

Они вышли на веранду, там у матери вместо пепельницы стояла консервная банка с русалкой. Из своей комнаты я слышала их несвязную беседу, которая затянулась допоздна, простой и бездумный смех матери. Сквозь сетку на окне просачивался дымок сигарет. Во мне вскипала ночь. Мать думала, что жить легко — прямо как золото с земли подбирать, думала, что у нее именно так все и будет. Конни не было рядом, некому меня утешить, я осталась с неподвижной удавкой собственной персоны, в безнадежной, бесчувственной компании.

Уже потом я стала кое-что понимать о матери. Что после пятнадцати лет с отцом у нее в жизни остались огромные белые пятна, которые она училась заполнять, — так после инсульта люди заново выучивают слова: машина, стол, карандаш. И как застенчиво она поворачивалась к зеркалу, будто за предсказанием — придирчиво и с надеждой, словно подросток. Как втягивала живот, чтобы застегнуть новые джинсы.

Когда утром я зашла на кухню, мать сидела за столом, перед ней стояла пиала, из которой она пила чай, — уже пустая, с крапинками заварки на дне. Губы у нее были поджаты, в глазах обида. Я, не говоря ни слова, прошла мимо нее и открыла пачку молотого кофе, лилового и бодрящего, мать им заменила “Санку”, которую любил отец.

— И что же вчера случилось?

Видно было, что она пытается говорить спокойно, но вышло все равно сбивчиво.

Я всыпала кофе в кофейник, включила конфорку. Я все делала безмятежно, с буддистским спокойствием на лице. Это было мое самое действенное оружие, и я чувствовала, как она заводится.

— Молчишь, значит, — сказала она. — А вчера Фрэнку еще как грубила.

Я ничего не ответила.

— Хочешь, чтобы я была несчастна? — Она встала. — Я с тобой разговариваю. — Она резко выключила конфорку.

— Эй! — сказала я, но, увидев ее лицо, заткнулась.

— Ну почему же ты мне пожить не дашь? — спросила она. — Хоть один-единственный раз.

— Он ее не бросит! — Я сама вздрогнула от того, с каким жаром это сказала. — Он никогда не уйдет к тебе!

— Ты ничего в жизни не понимаешь, — сказала она. — Вообще ничего. А думаешь, что такая умная.

— А, ну да, — сказала я. — Золото. Точно. Его же ждет большой успех. Совсем как папу. Спорим, он уже и денег у тебя попросил?

Мать дернулась.

— Я так стараюсь, — сказала она. — Я столько сил положила на тебя, а вот ты и пальцем в ответ шевельнуть не хочешь. Посмотри на себя. Сидишь без дела. — Она покачала головой, затянула поясok халата. — Вот увидишь. Хлебнешь жизни, опомниться не успеешь, и знаешь что — тогда ты уже никуда от себя не денешься. У тебя ни характера, ни амбиций. В Каталине, может, из тебя что и выйдет, но там вкалывать надо. Знаешь, что моя мать делала в твоём возрасте?

— А ты вообще ничего не делала! — Внутри у меня что-то перевернулось. — Только о папе заботилась, и все. А папа ушел! — Лицо у меня пылало. — Прости, что не оправдала твоих надежд. Прости, что я такая плохая. Стоит, наверное, последовать твоему примеру — платить людям, чтобы они говорили мне, какая я распрекрасная. Почему же тогда папа ушел, раз ты так хороша?

Она рванулась ко мне, вlepила пощечину — не сильно, а, впрочем, звук вышел громкий. Я улыбнулась точно умалишенная, разом ощерив слишком много зубов.

— Вон! — Шея в пятнах крапивницы, тощие запястья. — Вон! — снова еле слышно прошипела она, и я выскочила из кухни.

Я ехала на велосипеде по грязной дороге. Сердце ухало, голову изнутри так и сдавливало. Приятно было ощущать ожог материнской пощечины, аура доброты, которую она так старательно себе отращивала весь последний месяц — чай, босые ноги, — скукожилась в один миг. Отлично. Пусть ей будет стыдно. Не помогли ей никакие занятия, гадания и очищения организма. Как была слабачкой, так и осталась. Я яростно крутила педали, в горле что-то трепыхалось. Можно съездить на заправку и купить шоколадных звездочек. Посмотреть, что сегодня идет в кино, или пройтись по берегу жижистой речки. Мои волосы легонько развевались на сухой жаре. Внутри каменела ярость, и мне это почти нравилось, такой огромной она была, такой чистой и мощной.

От очередного яростного нажатия педаль вдруг резко провисла: соскочила цепь. Велосипед стал притормаживать. Завиляв, я соскочила в

грязь возле грунтовой дороги. Я вспотела под мышками, под коленками. Сквозь дыры в плетеной кроне золотого дуба припекало солнце. Я старалась не плакать. Присела на корточки и попыталась надеть цепь, жгучий ветерок смахивал слезы с ресниц, пальцы были скользкими от масла. Цепь соскальзывала, и я никак не могла ее ухватить.

— Твою мать! — сказала я, потом сказала еще раз — громче.

Мне хотелось пнуть велосипед, что-то вырубить, но это будет уж совсем жалкое зрелище, пьеска с истерикой, которую никто не увидит. Я еще раз попробовала надеть цепь, но безуспешно, она все равно соскакивала. Я уронила велосипед в пыль и уселась рядом. Переднее колесо немного покрутилось, замерло. Я уставилась на распластанный, бесполезный велосипед. Его цвет назывался “студенческий зеленый”, в магазине мне сразу представился крепкий студент, провожающий меня домой с вечерних занятий. Слюнявые фантазии, дурацкий велосипед — я нанизывала разочарования одно за другим, пока они не превратились в плач о моей посредственности. Конни сейчас, наверное, с Мэй Лопес. Питер и Памела покупают комнатные растения в орегонскую квартиру, замачивают чечевицу для ужина. А я? Слезы стекали у меня по подбородку, капали в грязь — сладкое доказательство моих страданий. Пустоты внутри, вокруг которой я могла свернуться словно животное.

Сначала я его услышала и только потом увидела: по дороге, грохоча, вздымая колесами пыль, катил черный автобус. Серые заляпанные окна, внутри — мутные фигуры людей. На капоте автобуса было намалевано сердце с жирными ресницами, будто глаз.

Из автобуса вылезла девочка в мужской рубашке и вязаной безрукавке, трянула тусклыми рыжими волосами. За стеклами кто-то двигался, слышались голоса.

Белое лицо в окне: смотрит на меня.

У девочки оказался певучий голос.

— Что случилось? — спросила она.

— Велик... — сказала я. — Цепь соскочила.

Девочка попинала колесо сандалией. Не успела я узнать, кто она, как спустилась Сюзанна, и сердце у меня подпрыгнуло. Я вскочила, принялась отряхивать колени. Сюзанна улыбнулась, но как-то отстраненно. Я поняла, что она не помнит, как меня зовут.

— Магазин на Ист-Вашингтон, — сказала я. — Позавчера.

— А, точно.

Я думала, она скажет что-нибудь, какое, мол, странное совпадение, мы

опять встретились, но она будто заскучала. Я все посматривала на нее. Мне хотелось напомнить ей о нашем разговоре, о том, как она сказала, что я человек думающий. Но мне никак не удавалось поймать ее взгляд.

— А мы видим, ты тут сидишь, и думаем, капец, вот бедняжка, — сказала рыжая. Потом я узнала, что ее зовут Донна. Видок у нее был тронутый, бровей совсем нет, и от этого лицо казалось инопланетно-пустым. Она присела, осмотрела велосипед. — Сюзанна сказала, что тебя знает.

Втроем мы попытались надеть цепь. Поставили велосипед на подножку, запахло их потом. Когда я уронила велосипед, то каким-то образом погнула шестеренку, и теперь зубцы торчали в разные стороны.

— Твою мать. — Сюзанна вздохнула. — Тут хрен разберешься.

— Тут, не знаю, какие-то плоскогубцы нужны, — сказала Донна. — Так не починим. Тащи его в автобус, потусуешься с нами.

— Подбросим ее до города, — сказала Сюзанна. Обо мне она говорила деловито, как о беспорядке, который нужно прибрать. Но я все равно была рада.

Привыкла уже думать о людях, никогда не думавших обо мне.

— У нас праздник солнцестояния, — сказала Донна. Мне не хотелось возвращаться к матери, к собственному жалкому обществу. Я чувствовала, что если сейчас отпущу Сюзанну, то больше уже никогда ее не увижу.

— Эви хочет пойти, — сказала Донна. — По глазам вижу. Небось любишь поразвлечься, а?

— Да ладно тебе, — сказала Сюзанна, — она еще маленькая.

Я вспыхнула от стыда.

— Мне шестнадцать, — соврала я.

— Ей *шестнадцать*, — повторила Донна. — А Расселл велит нам быть гостеприимными. Думаю, он расстроится, если я ему скажу, как негостеприимно мы себя повели.

Мне не показалось, что Донна угрожает, поддразнивает — и только. Сюзанна поджала губы, но потом все-таки улыбнулась.

— Хорошо, — сказала она. — Велик сзади положишь.

Автобус был выпотрошен и полностью переделан, внутри грязно, полно всякой пестроты, как тогда любили, — полоски посеревших от пыли восточных ковриков на полу, сплюсненные, бугристые подушки с блошиных рынков. Воняло ароматическими палочками, призмы пощелкивали по стеклам. Полусвязные воззвания на кусках картона.

В автобусе были еще три девочки, они обернулись ко мне с жадным, звериным интересом, который я сочла лестным. Пока они оглядывали меня с головы до ног, у них в пальцах тлели сигареты — в воздухе царило какое-то праздничное безвременье. Мешок позеленевшей картошки, клеклые булочки для хот-догов. Ящик мокрых, перезрелых помидоров.

— Мы тут сходили в продуктовый рейс, — сказала Донна, но я так и не поняла, что она имела в виду.

Голова у меня была занята другим — моим внезапным везением, струйками пота под мышками, за медленным движением которых я внимательно следила. Я все ждала, когда меня раскусят, вычислят самозванку, которой здесь не место. Слишком чистые волосы. Уступки нормам и приличиям, до которых, похоже, никому не было дела. Пряди моих волос взлетали от ветра, перекрывая вид из окон, из-за чего общее ощущение сдвига, резкого перемещения в этот странный автобус только усиливалось. С зеркала заднего вида свисали перья и связка бус. На приборной доске — пучок выцветшей от солнца лаванды.

— Она едет с нами на солнцестояние, — прозвенела Донна, — на летнее солнцестояние.

Было начало июня, я знала, что солнцестояние в конце месяца, но промолчала. Первое из многих моих молчаний.

— Она будет нашим подношением, — сообщила Донна остальным.

Хихиканье.

— Мы принесем ее в жертву.

Я посмотрела на Сюзанну — наше знакомство, пусть и краткое, казалось, оправдывало мое здесь присутствие, — но она сидела в стороне, не отрывая взгляда от ящика с помидорами. Надавливала на кожу, выискивала гнилые. Отмахивалась от пчел. Уже потом до меня дойдет, что только Сюзанна не прыгала от радости, повстречав меня на дороге. Держалась со мной как-то формально, отстраненно. Пыталась защитить, других версий у меня нет. Сюзанна разглядела мою слабость — зримую, очевидную; она знала, что бывает со слабыми девочками.

Донна представила меня остальным, я старательно запоминала имена. Хелен казалась моей ровесницей, хотя, может быть, только из-за прически — двух хвостиков. Она была по-свежему хороша, как королева красоты в маленьком городке, — вздернутый носик, несложное личико, хоть и с явным сроком годности. Руз. “Уменьшительное от Рузвелът, — сообщила мне она. — Ну, знаешь, Франклин Дэ”. Она была самой старшей. Круглолицая, розовощекая, как персонаж из книжки со сказками.

Как звали высокую девочку за рулем, я вспомнить так и не могу: после того дня я ее больше ни разу не видела.

Донна подвинулась, похлопала по комьям вышитых подушек.

— Иди сюда, — сказала она, и я уселась на кусачую горку.

Донна казалась странной, даже немного придурковатой, но мне она понравилась. Вся ее жадность и мелочность были как на ладони.

Автобус тряско катился по дороге, внутри у меня все сжималось и подпрыгивало, но когда мне передали кувшин дешевого красного вина, я взяла его, расплескав часть на руки. У всех были счастливые, улыбающиеся лица, то и дело девочки принимались что-то напевать, словно туристы вокруг костра. Я подмечала детали — как они безо всякого стеснения держались за руки, как легко роняли слова вроде “гармония”, “любовь” и “вечность”. Как по-детски вела себя Хелен, которая теребила свои хвостики и разговаривала высоким голосом, как стремительно она вдруг нырнула на колени к Руз, будто хотела обманом втереться к ней под крылышко. Руз не жаловалась, она казалась надежной, хорошей. Потом, впрочем, я стала думать, что там была не столько хорошость, сколько хорошо замаскированная пустота.

Донна расспрашивала меня о моей жизни, и остальные тоже — бесконечный поток вопросов. Конечно, мне было приятно оказаться в центре их внимания. Непонятно почему, но я им как будто нравилась, и эта мысль была до того новой и бодрящей, что я решила не разглядывать слишком уж пристально столь не слыханный дар. Даже молчанию Сюзанны я придумала оправдание, решив, что она просто такая же, как я, — застенчивая.

— Миленько, — сказала Донна, потрогав мою рубашку.

Хелен тоже оттянула рукав.

— Ты прямо куколка, — сказала Донна. — Расселлу ты понравишься.

Она обронила его имя вот так, запросто, словно и представить не могла, что я не знаю, кто такой этот Расселл. При упоминании его имени Хелен захихикала, с наслаждением повела плечами, будто карамельку сосала. Увидев, что я растерянно заморгала, Донна расхохоталась.

— И он тебе понравится, — сказала она. — Он не такой, как все. Честно. Рядом с ним прямо улетаешь, по-настоящему. Он как солнце, типа того. Огромный и правильный.

Она посмотрела, слушаю ли я ее, и явно обрадовалась, увидев, что слушаю.

Она сказала, что там, куда мы едем, люди понимают, как им жить. Расселл учил их, как найти путь к истине, как выпустить на волю

подлинную сущность, которая сжалась в комочек у тебя внутри. Она рассказывала про какого-то Гая, который раньше был сокольничим, но потом стал жить с ними и теперь хочет быть поэтом.

— Когда мы с ним только познакомились, у него были какие-то странные закидоны, он ел одно мясо. Считал себя дьяволом, типа того. Но Расселл ему помог. Научил его любви, — сказала Донна. — Каждый может любить, может выкарабкаться из этого фуфла, но нас столько всего останавливает.

Я даже представить не могла себе Расселла. У меня были довольно скудные представления о мужчинах, и все они ограничивались отцом или мальчиками, по которым я сохла. Но эти девочки говорили о Расселле совсем иначе, их любовь была более земной, без понятного мне игривого, девчачьего томления. Их вера в него была незыблемой, и они говорили о магии и могуществе Расселла как о чем-то общепринятом — о земной орбите, влиянии Луны на приливы и отливы.

Донна сказала, что Расселл не такой, как все люди. Что с ним общаются животные. Что он может исцелить человека наложением рук, вытянуть из тебя всю гниль начисто — будто опухоль.

— Он видит тебя до последней клеточки, — добавила Руз.

Точно это было что-то хорошее.

Мысль о том, что меня кто-то оценит, затмила любые вопросы или подозрения, которые у меня могли бы возникнуть насчет Расселла. В том возрасте я была в первую очередь предметом оценки, и только, поэтому в любом общении сила всегда была на стороне моего собеседника.

Когда они говорили о Расселле, по их лицам проскальзывал отблеск секса, трепет школьниц перед выпускным балом. Об этом никто прямо не говорил, но я поняла, что они все с ним спали. Поняв это, я вспыхнула, ужаснулась про себя. Но кажется, никто никого не ревновал.

— Сердцу ничего не принадлежит, — звенела Донна. — Любовь — это другое. — Она сжала руку Хелен, они переглянулись.

Сюзанна почти всю дорогу молчала и сидела поодаль, но даже у нее лицо менялось, стоило кому-нибудь упомянуть Расселла. В ее глазах появлялась супружеская нежность, которую и мне захотелось ощутить.

Как знать, может, я улыбалась собственным мыслям, глядя, как мимо проносятся знакомые городские очертания, как автобус едет сквозь тень и солнце. Я здесь выросла, я изучила этот город так глубоко, что даже названий улиц почти не знала и ходила, ориентируясь на зрительные или памятные приметы. Угол, где мать, одетая в сиреневый брючный костюм,

подвернула ногу. Рощица, при виде которой мне всегда смутно думалось, что там собираются злые силы. Аптека с рваным навесом. Мне — в окне незнакомого автобуса, с колючим ковром под ногами — город виделся начисто лишенным моего присутствия. Уехать отсюда было легко.

Они обсуждали праздник солнцестояния. Хелен — стоя на коленях, привычными, бойкими рывками затягивая хвостики. Взахлеб говорили о платьях, в которые они переоденутся, о дурацкой песенке, которую в честь солнцестояния сочинил Расселл. Какой-то Митч дал им денег, хватит на выпивку. Непонятно, почему, но Донна произносила это имя очень многозначительно.

— Ну, Митч? — повторяла она. — Митч Льюис? Про Митча я не знала, но о его группе слышала — видела их по телевизору, они выступали в студии под софитами, на лбах пузырился пот. Фоном служила лохматая мишура, сцена вращалась, и все музыканты крутились на ней, будто балерины из музыкальной шкатулки.

Я сделала вид, что мне все равно, но надо же: оказывается, он и вправду существует, этот мир, в котором известных музыкантов зовут просто по имени.

— Митч однажды позвал Расселла на запись, — сообщила Донна. — Он обалдел от Расселла.

И снова это благоговение перед Расселлом, эта убежденность. Я завидовала этой вере — в то, что кто-то может снизить воедино пустые куски твоей жизни и ты ощутишь под ногами сеть, в которой один день соединен с другим.

— Расселл будет знаменитым, так-то вот, — прибавила Хелен, — он уже и контракт на запись альбома подписал.

Она как будто сказку рассказывала — впрочем, даже лучше, ведь она знала, что это все случится на самом деле.

— А знаешь, как Митч зовет Расселла? — Донна мечтательно всплеснула руками. — Чародей. Скажи, кайфово?

Освоившись на ранчо, я заметила, что тут все говорят о Митче. О том, как Расселл вот-вот запишет альбом. Митч был святым-покровителем, слал на ранчо ящиками молоко, чтобы детишки получали кальций, поддерживал деньгами. Всю историю я узнаю гораздо позже. Митч с Расселлом познакомились на Бейкер-Бич, на какой-то сходке хиппи. Расселл пришел в кожаных штанах, с мексиканской гитарой за спиной. В окружении своих женщин, которые клянчили мелочь с видом библейских нищенок.

Холодный темный песок, костер, у Митча передышка между записями. Какой-то мужик в круглой шляпе готовит мидий в котелке.

Я узнала, что у Митча дела тогда шли неважно — ссоры из-за денег с директором, бывшим к тому же его другом детства, отмазанный арест за хранение марихуаны, — но Расселл, наверное, показался ему гражданином куда более реального мира. Он заставил Митча еще острее чувствовать вину из-за его золотых пластинок, из-за огромного бассейна, который для вечеринок накрывали оргстеклом. Расселл, со свитой из юных девочек, с обожанием опускавших глаза, стоило ему заговорить, сулил Митчу таинственное спасение. Митч пригласил всех к себе домой, в Тибурон, распахнул перед ними свой холодильник, разрешил пожить в гостевой комнате. Они хлебали бутылками яблочный сок и розовое шампанское, залезали на кровать в грязных ботинках — ни о чем не задумываясь, будто солдаты-оккупанты. Наутро Митч отвез их на ранчо, и к тому времени Расселл уже обольстил Митча вкрадчивыми разговорами о любви и истине — вещах, столь притягательных для богатых искателей.

В тот день я поверила всему, что девочки мне наговорили, захлебываясь и раздуваясь от гордости всякий раз, когда речь заходила о гениальности Расселла. О том, что скоро он и по улице спокойно пройти не сможет. О том, что скоро он расскажет всему миру, как быть свободным. И да, Митч действительно однажды позвал Расселла на запись. Надеялся, что его студия клюнет на энергетику Расселла, сочтет его модным и интересным. Уже потом, гораздо позже, я узнала, что запись прошла не просто плохо, а по-настоящему провально. Это было еще до того, как случилось все остальное.

Люди, пережившие катастрофу, иногда начинают рассказывать о случившемся не с того, как они услышали предупреждение о торнадо или объявление капитана о поломке, а с того, что этому предшествовало: они уверяли, будто и свет в тот день был каким-то не таким, и простыни как-то уж особенно наэлектризовались. Что на пустом месте поссорились с женихом. словно предчувствие беды уже вплелось во все, что было до нее.

Может, я не заметила какого-то знака? Какого-то внутреннего укола? Ползающих блестящих пчел в ящике с помидорами? Необычно пустой дороги? Я вспомнила, как в автобусе Донна спросила меня — небрежно, будто эта мысль только что пришла ей в голову:

— Ты вообще про Расселла слышала?

Я не поняла вопроса. Не сообразила, что она пытается разузнать, какие слухи могли до меня докатиться: оргии, бешеные кислотные трипы,

сбежавшие подростки, которых заставили прислуживать взрослым мужикам. Собаки, принесенные в жертву на берегу в полнолуние, гниющие в песке козлиные головы. Дружи я с кем-нибудь, кроме Конни, может, и услышала бы на вечеринках болтовню о Расселле, какие-нибудь перешептывания на кухне. Может, знала бы, что нужно быть настороже.

Но я только головой помотала. Я ничего не слышала.

5

Столько всего было в тот первый вечер, мне бы уже тогда насторожиться. Но даже потом, даже зная все, что я уже знала, я не могла думать ни о чем, кроме настоящего. Кроме кожаной рубашки Расселла, бархатно-мягкой, пахнущей плотью и гнилью. Кроме улыбки Сюзанны, которая распускалась во мне фейерверком, оставляя цветной дымок, красивый порхающий пепел.

— Домик в прерии, — сказала Донна, когда мы вылезли из автобуса.

Я не сразу поняла, где мы. Автобус давно уже съехал с шоссе и долго трясся по грунтовке, которая убегала дальше, за белесые холмы с шапками дубов. Старый деревянный дом — точно размокший свадебный торт. Выпуклые розетки и гипсовые колонны делали его похожим на замок среднего пошиба. Он был частью импровизированного поселения, включавшего, насколько я видела, еще амбар и заболоченный бассейн. В загончике дремали шесть плюшевых лам. Вдалеке несколько человек рубили росшие вдоль забора кусты. Они помахали нам и снова склонились к земле.

— Речка мелкая, но плавать можно, — сказала Донна.

Они все и вправду жили вместе, мне это казалось каким-то чудом. По стене амбара ползли вверх нарисованные люминесцентной краской символы, раздувалось на ветру висевшее на веревках белье. Приют для распущенных детей.

Однажды на ранчо снимали рекламу авто, сообщила Хелен своим детским голоском.

— Давно, правда, но все-таки.

Донна пихнула меня локтем в бок:

— Прямо в глуши живем, да?

Я спросила:

— Как вы вообще это место нашли?

— Тут один старик жил, но потом уехал, потому что крыша текла, — пожалала плечами Донна. — Ну, мы ее починили, типа того. Внук нам дом сдает.

Чтобы заработать, объяснила она, они ухаживали за ламами и помогали соседу-фермеру: срезали салат перочинными ножами, продавали его продукты на рынке. Подсолнухи и банки клейкого от пектина джема.

— Три бакса в час. Неплохо, — сказала Донна. — Но с деньгами

напряг.

Я кивала, как будто такие проблемы были мне знакомы. Маленький мальчик, лет четырех-пяти, кинулся к Руз, врезался с разбегу в ее ногу. Он ужасно обгорел, волосы выцвели до белизны, и подгузник был ему уже явно не по возрасту. Я предположила, что это сын Руз. А Расселл — отец? Стоило подумать о сексе, и в груди вскипела дурнота. Мальчик вскинул голову, точно разбуженный пес, и, лениво, настороженно сощурившись, поглядел на меня.

Донна прижалась ко мне:

— Пойдем познакомишься с Расселлом. Он тебе понравится, честное слово.

— На празднике познакомится, — перебила ее Сюзанна.

Я и не заметила, как она подошла, вздрогнула от ее близости. Она сунула мне мешок с картошкой, сама подняла коробку.

— Сначала затащим вот это на кухню. Для праздника.

Донна надулась, но я последовала за Сюзанной.

— Пока, куколка, — крикнула Донна, прищелкивая тонкими пальцами и беззлобно хохоча.

Я шла за темными волосами Сюзанны сквозь мельтешение незнакомых лиц, удаляясь от автобуса, как от выброшенного на берег кита. Земля была неровной, под ногами непривычный уклон. И еще запах — густой, дымный запах. Мне польстило, что Сюзанна попросила меня о помощи, словно бы подтвердив, что я им не чужая. Вокруг толкалась какая-то молодежь — босиком и в ботинках, с разлетающимися, выгоревшими на солнце волосами. До меня то и дело доносились возбужденные разговоры о празднике. Тогда я еще не знала, что на ранчо такое редко бывало — чтобы люди так слаженно работали. Девочки, одетые в купленные на барахолках наряды, держали инструменты нежно, будто младенцев; солнце, отскакивая от хрома гитар, дробилось на жаркие бриллианты света. Нестройно позвякивали бубны.

— Эти гады всю ночь меня кусали, — сказала Сюзанна, прихлопнув злобного слепня, — они, жужжа, носились вокруг нас. — Я так чесалась, что проснулась вся в крови.

Ландшафт за домом был изрезан валунами, худосочными дубками и просевшими, пришедшими в негодность автомобилями. Мне нравилась Сюзанна, но мне все казалось, что между нами огромная пропасть. В том возрасте я нервничала в присутствии тех, кто мне нравился, зачастую сводя оба эти чувства воедино. Раздетый до пояса парень, с массивной

серебряной пряжкой на ремне присвистнул, когда мы проходили мимо:

— Что у нас тут такое? Подарочек к празднику?

— Умолкни, — сказала Сюзанна.

Парень ухмыльнулся — похабно, — и я попыталась улыбнуться в ответ. Он был юным, волосы темные и длинные. Средневековая понурость черт, которую я сочла романтичной. В его красоте проглядывала женственная сумрачность киношного злодея, хотя потом я узнала, что он из Канзаса.

Это и был тот самый Гай. Деревенский парнишка, который смылся с базы ВВС в Трэвисе, когда понял, что ему вешают на уши ту же лапшу, что и в отцовском доме. Какое-то время он проработал в Биг-Суре, потом перебрался в Северную Калифорнию. Связался с кучкой кустарей-сатанистов, которых тогда много повылуплялось вокруг Хейт-Эшбери, — бижутерии на них висело побольше, чем на девочках-подростках. Медальоны со скарабеем, серебристые кинжалы, красные свечи и органная музыка. Но однажды в парке Гай повстречал игравшего на гитаре Расселла. Расселла в ковбойских штанах, быть может напомнивших Гаю о приключенческих книжках, которые он читал в детстве, многотомниках, где мужчины выскабливали шкуры карибу и вброд переходили студеные реки Аляски. С тех пор Гай следовал за Расселлом.

Это Гай потом будет всюду возить девочек. Этим ремнем он стянет запястья сторожа, огромная серебряная пряжка врежется в кожу, оставит неровную метину, будто клеймо.

Но в тот первый день он был просто мальчиком, который, словно уличный комедиант, стрелял в прохожих пошлостями, и я, восторженно вздрогнув, посмотрела ему вслед.

Сюзанна остановила какую-то девочку:

— Скажи Руз, чтобы отвела Нико обратно в ясли.

Ему тут нельзя бегать.

Девочка кивнула.

Мы пошли дальше, Сюзанна взглянула на меня, почувствовав мое замешательство.

— Расселл не хочет, чтобы мы слишком привязывались к детям. Особенно к своим. — Она мрачно рассмеялась. — Они не наша собственность, да ведь? Нельзя засирать им мозги просто потому, что нам хочется кого-нибудь потискать.

Я не сразу переварила мысль о том, что у родителей нет прав на детей. Но вскоре это показалось мне очевиднейшей истиной. Мать меня родила, но это не значит, что я — ее собственность. И что она может отослать меня

в школу, только потому что ей так приспичило. Непривычно, конечно, но, может, лучше жить вот так, как здесь? Быть частью стихийного сообщества, верить, что любви можно ждать отовсюду. И не страдать, если она не приходит, откуда ты ее ждешь.

На кухне было гораздо темнее, чем во дворе, и я заморгала от нахлынувшего мрака. Во всех комнатах пахло чем-то пряным и мшистым, какой-то смесью масштабной готовки и пота. Почти все стены были голыми, только кое-где попадались полоски обоев с узором из ромашек или неуклюже намалеванные сердца, как на автобусе. Трухлявые оконные рамы, вместо занавесок прибиты футболки. Где-то рядом играло радио.

Десять — или около того — девочек хлопотали на кухне, каждая была занята своим делом, и все выглядели очень здоровыми: подтянутые загорелые руки, густые волосы. Босые ноги на грубых половицах. Они гоготали и огрызались, шлепали друг друга ложками, щипали за оголенные участки кожи. Все казалось липким и каким-то подгнившим. Не успела я поставить мешок с картошкой на стол, как одна из девочек принялась ее перебирать.

— Зеленая картошка ядовитая, — она рылась в мешке, цокая языком.

— Готовить ее не пробовала? — бросила в ответ Сюзанна. — Вот и приготовь.

Сюзанна спала в маленькой пристройке — грязный пол, у каждой стены по голому двойному матрасу.

— Здесь чаще всего девочки ночуют, — сказала она. — Ну когда как. Еще Нико иногда, хотя я этого не одобряю. Я хочу, чтобы он вырос свободным. Но я ему нравлюсь.

Над матрасом приколот кусок грязного шелка, на постели — наволочка с Микки Маусом. Сюзанна протянула мне самокрутку, кончик был мокрым от ее слюны. Пепел сыпался на ее голую ляжку, но она этого как будто не замечала. Трава была посильнее той, что курили мы с Конни — высохшие отсевки из ящика с носками Питера. Я ждала, когда начну чувствовать себя по-другому. Конни пришла бы в ужас. Сказала бы, что здесь грязно и странно, что от этого Гая у нее мурашки по коже, — представив это, я загордилась. Мои мысли смягчались, трава давала о себе знать.

— Тебе правда шестнадцать? — спросила Сюзанна. Я хотела снова соврать, но слишком уж понимающий у нее был взгляд.

— Мне четырнадцать, — сказала я.

Сюзанна, похоже, не удивилась.

— Хочешь, отвезу тебя домой? Можно не оставаться.

Я облизала губы. Она что, думает, я для такого еще мала? А может, боится, что ей будет за меня стыдно.

— Да у меня нет никаких дел, — ответила я. Сюзанна хотела что-то сказать, но потом передумала.

— Честно, — меня уже охватывало отчаяние, — все нормально.

Сюзанна глядела на меня так, что в какой-то миг мне даже показалось: вот сейчас она точно отправит меня домой. Отведет к матери, будто прогульщицу. Но взгляд схлынул, уступив место чему-то другому, и она встала.

— Можешь переодеться, — сказала она.

Одежда висела на вешалке, вываливалась из мешка для мусора. Рваные джинсы. Рубашки в “огурцах”, длинные юбки. Топорщились плохо обметанные подолы. Одежда не была красивой, но меня поразило ее количество и непривычный вид. Я всегда завидовала девочкам, которые донашивали одежду за сестрами, будто форму популярной команды.

— Это все твое?

— Наше с девочками.

Сюзанна, похоже, смирилась с моим присутствием — может, поняла, что не сумеет меня прогнать, что мое отчаяние окажется сильнее нее. А может быть, ей льстило мое обожание, мои широко раскрытые глаза, которыми я жадно высматривала каждую мелочь в ней.

— Одна Хелен скандалит. Приходится отнимать у нее вещи, она их прячет под подушкой.

— Разве ты не хочешь себе ничего взять?

— А зачем? — Она затаилась, задержала дыхание.

Заговорила надтреснутым голосом: — Я с этого трипа слезла. Я, я, я. Я, ну, всех девочек люблю. Мне нравится, что у нас все общее. А они любят меня.

Она смотрела на меня сквозь дым. Мне стало стыдно.

За то, что я усомнилась в Сюзанне, или за то, что подумала, будто делиться одеждой — это странно. За узость моей домашней спальни с ковриками. Я засунула руки в карманы шорт. Это тебе не любительская хрень вроде групповой терапии, куда вечерами таскалась мать.

— Понимаю, — сказала я.

И я вправду поняла ее и постаралась удержать в себе этот проблеск солидарности.

От платья, которое мне выбрала Сюзанна, воняло мышинными

какашками, натягивая его, я наморщила нос, но натянула его с радостью, ведь платье было чужим, и, надев его, я сняла с себя вес собственных суждений.

— Хорошо, — сказала Сюзанна, оглядев меня.

Ее слова казались мне весомее любых похвал Конни. Когда Сюзанна обращала на тебя внимание, то делала это как будто с неохотой, отчего внимание ее становилось ценным вдвойне.

— Давай заплету тебе косу, — сказала она. — Иди сюда. Не то спутаются, если будешь танцевать с распущенными волосами.

Я уселась на пол, между ног Сюзанны, пытаюсь свыкнуться с ее близостью, с этой внезапной безыскусной интимностью. Мои родители на ласку скупались, поэтому меня удивляло, что кто-то может просто до меня дотронуться, не раздумывая, протянуть мне руку, будто пластинку жвачки. Непостижимое блаженство. Она терпко дышала мне в шею, перебрасывая волосы набок. Прошлась пальцами по голове, прочертила ровный пробор. Даже прыщики у нее на подбородке казались мне смутно прекрасными, рвущимся из нее наружу розовым пламенем.

Пока она заплетала косу, мы молчали. Я подняла с пола красноватый камешек, они лежали рядом вдоль зеркала, словно яйца чужеземных особей.

— Мы какое-то время жили в пустыне, — сказала Сюзанна. — Я их оттуда привезла.

Она рассказывала о викторианском особняке, который они снимали в Сан-Франциско. О том, что им пришлось уехать, после того как Донна нечаянно устроила пожар в спальне. О том, как они жили в Долине Смерти, где все обгорало так, что не могли даже спать. О том, как на Юкатане они полгода провели на выпотрошенном, полуразрушенном соляном заводе без крыши. О мутной лагуне, где Нико учился плавать. Стыдно подумать, что в это время делала я: пила тепловатую воду с металлическим привкусом из школьного фонтанчика для питья. Ездила на велосипеде к Конни. Сидела, запрокинув голову, в кресле зубного, вежливо сложив руки на коленках, пока доктор Лопес в перчатках, скользких от слюны, которую я пускала как идиотка, ковырялся у меня во рту.

Вечер выдался теплым, праздник начался рано. Нас было человек сорок, и мы все толклись и толпились на узкой полоске грязи, над рядом столов носился горячий ветер, плескался свет керосиновых ламп. Казалось, что на празднике куда больше народу, чем собралось на самом деле. Все

было каким-то гротескным, из-за чего и мои воспоминания были искаженными, дом за нами подрагивал, словно мираж, и казалось, что по всему пробежала какая-то киношная рябь. Грохотала музыка, приятное гудение наполняло меня восторгом, люди танцевали, хватали друг друга за запястья и вприпрыжку водили хороводы, разрывая и снова смыкая круг. Цепочка визжащих, пьяных людей рассыпалась, когда Руз с хохотом шмякнулась в грязь. Какие-то дети с запекшимися болячками на губах сновали вокруг столов будто щенки — объевшиеся, тянущиеся ко взрослому веселью.

— Где Расселл? — спросила я Сюзанну.

Она, как и я, была под кайфом, черные волосы растрепались. Кто-то сорвал розу с куста и дал ей, и теперь она пыталась вплести ее, уже полуувядшую, в волосы.

— Он придет, — ответила она. — Все толком начнется, только когда он придет.

Она стряхнула пепел с моего платья, этот ее жест меня тронул.

— Вот она, наша куколка, — заворковала Донна, увидев меня.

На голове у нее была корона из фольги, которая то и дело сваливалась. Она разрисовала ладони египетскими узорами и испятнала руки сурьмой, на полпути потеряв к этому занятию всякий интерес — перемазав пальцы, испачкав платье, оставив следы на подбородке. Гай увернулся, уклоняясь от ее рук.

— Это наша жертва, — сообщила ему Донна, ее речь уже заметно укачало, — наше подношение солнцевороту.

Гай улыбнулся мне, оскалив темные от вина зубы. В честь праздника они сожгли машину, пламя было жарким, прыгучим, и я хохотала безо всякой причины. На фоне неба холмы казались совсем черными, ни один человек из моей реальной жизни не знал, где я, и сегодня солнцестояние, и плевать, что солнцестояние на самом деле не сегодня. Несколько раз я мельком подумала о матери — тревога вскидывалась, как гончая, — но она решит, что я у Конни. Где мне еще быть? Ей и в голову не придет, что такое место вообще есть, а если и придет, если каким-то чудом она сюда заявится, то меня не узнает. Платье Сюзанны было мне велико и то и дело спадало с плеч, но вскоре я уже не спешила подтягивать рукава. Мне нравилось оголяться, прикидываться, будто меня это нисколько не волнует. Потом это и вправду перестало меня волновать, даже когда я, поддерживая рукава, выставила напоказ чуть ли не всю грудь. Какой-то осовелый, блаженствующий парень с намалеванным на лице полумесяцем улыбнулся мне так, будто я была тут с ними всю жизнь.

Праздничный ужин ужином как раз и не был. Разбухшие профитроли кисли в миске, пока кто-то не скормил их собакам. Пластмассовый лоток со взбитыми сливками, зеленая фасоль, уваренная до бесформенной серости, приправленная добычей из очередного мусорного бака. В огромном горшке позвякивали двенадцать вилок — все по очереди зачерпывали водянистое овощное вариво, пюре из картошки, кетчупа и лукового супа из пакетиков. Был один арбуз со змеистыми узорами на корке, но ножа так и не нашли. Наконец Гай расколол его, с размаху ударив об угол стола. Дети накинулись на кашеобразную мякоть, будто крысы.

Не таким я себе представляла этот праздник. От этого несоответствия я немного загрустила. Но тут же напомнила себе — грустить нужно там, в моем старом мире, где люди смиренно хлебали горькую микстуру жизни. Где всех поработили деньги, где все застегивали рубашки до горла, чтобы придушить в себе любовь.

Я столько раз прокручивала в голове этот миг, что в конце концов он стал логичной кульминацией вечера — когда Сюзанна пихнула меня в бок и я поняла, что направляющийся к костру мужчина и есть Расселл.

Мое первое впечатление — шок. Издали он показался мне очень юным, но потом я увидела, что он лет на десять старше Сюзанны. Может, даже ровесник матери. Он был одет в грязные “ранглеры” и кожаную рубаху с бахромой, но шел босиком, — странно это, как они все ходили босыми ногами по сорнякам и собачьему дерьму так, будто ничего этого не было. Девочка опустилась перед ним на колени, дотронулась до его ноги.

Я не сразу вспомнила, как ее зовут, — в мозгу хлюпало от наркотиков, — но потом вспомнила: Хелен, девчонка из автобуса, с хвостиками и детским голоском. Хелен подняла голову, улыбнулась ему, разыгрывая какой-то ритуал, которого я не знала.

Я знала, что Хелен занималась с ним сексом. И Сюзанна тоже. Я покрутила эту мысль, представила, как он сгорбился над молочным телом Сюзанны. Сжал ее грудь. Я умела мечтать только о мальчишках вроде Питера, с неоформившимися мускулами под кожей, с кустиками волос, которые они растили у себя на подбородках. Может, и я пересплю с Расселлом. Я примерила эту мысль. Секс по-прежнему измерялся девочками из отцовских журналов, все виделось плоским и глянцевым. Это к вопросу о глазах смотрящего. Люди на ранчо были выше этого, любили друг друга без разбора, с чистотой и оптимизмом детей.

Мужчина вскинул руки и прогудел приветствие; толпа всколыхнулась,

задвигалась, будто греческий хор. Увидев это, я сразу поверила, что Расселл уже звезда. Он словно вращался в более плотной атмосфере, чем все мы. Он прошел сквозь толпу, раздавая благословения: рука на плече, слово на ухо. Праздник продолжался, но теперь все было сосредоточено вокруг него, все головы выжидающе поворачивались за ним, будто за солнцем. Когда Расселл подошел к нам с Сюзанной, он остановился и поглядел мне в глаза.

— Ты пришла, — сказал он.

Как будто он ждал меня.

Как будто я опоздала.

Я никогда не слышала такого голоса — густого и неспешного, без тени неуверенности. Он положил руку мне на спину, ощущение было довольно приятным. Он был ненамного выше меня, но казался сильным, крепко сбитым, литым. Топорщившиеся венцом волосы от грязи и масел слиплись в вязкую копну. Казалось, будто глаза у него и вовсе не слезятся, что он никогда не моргает, не отводит взгляда. Я наконец-то поняла, почему девочки так о нем говорили. Он вобрал меня всю, точно хотел разглядеть насквозь.

— Эва, — сказал Расселл, когда Сюзанна меня представила. — Ева. Первая женщина.

Я боялась сказать что-нибудь невпопад — тогда все сразу поймут, что мне здесь не место.

— Вообще-то Эвелина.

— Имена важны, правда? — сказал Расселл. — Да я и не вижу в тебе змеи.

Даже от такой незначительной похвалы мне сразу стало легче.

— Ну что, Эви, как тебе наш праздник солнцестояния? — спросил он. — И наш дом?

Все это время у меня на спине пульсировало выходящее из-под его пальцев послание, которое я никак не могла расшифровать. Я покосилась на Сюзанну, вдруг осознав, как незаметно потемнело небо, как широко растеклась над нами ночь. От жара костра и наркотиков меня клонило в сон. Я так ничего и не съела, и в пустом желудке посасывало. По-моему, он очень часто называет меня по имени. Или нет? Сюзанна всем телом подалась к Расселлу, нервно теребила волосы.

Я сказала Расселлу, что мне тут нравится. Сказала еще несколько бессмысленных, сбивчивых фраз, при этом чувствуя, будто рассказала ему гораздо больше. И это чувство так никуда и не делось. Даже потом.

Чувство, что Расселл может прочесть мои мысли так же легко, как снять книгу с полки.

Когда я улыбнулась, он взял меня за подбородок, развернул к себе.

— А ты актриса, — сказал он. Взгляд у него был словно горячее масло, и я позволила себе превратиться в Сюзанну, в девушку, при виде которой мужчин будто ударяло током, в девушку, которой им хотелось коснуться. — Да, именно так. Я это ясно вижу. Тебе нужно стоять на краю обрыва и глядеть на море.

Я сказала ему, что я не актриса, что актрисой была моя бабка.

— И точно, — сказал он. Стоило мне назвать ее имя, как он сделался еще внимательнее. — Я это сразу заметил. Ты на нее похожа.

Потом я прочту о том, что Расселл специально выискивал знаменитых и полужнаменитых последователей, обхаживал их и тянул из них деньги, разъезжал на их машинах и жил в их домах. Вот он, наверное, обрадовался, что я пришла сама, что меня даже уламывать не пришлось. Расселл притянул к себе Сюзанну. Я поглядела на нее, но она, казалось, ушла в себя. До этого мне и в голову не приходило, что она беспокоится насчет меня и Расселла.

Новое чувство — собственного превосходства — встрепенулось во мне, дернулась ниточка, запрятанная так глубоко, что я ее даже не распознала.

— Ты будешь отвечать за Эви, — сказал Расселл Сюзанне. — Договорились?

На меня они не глядели. Сам воздух между ними искрил многозначительностью. Расселл взял меня за руку, обрушил на меня свой взгляд.

— Увидимся, Эви.

Шепнул что-то Сюзанне. Вернувшись ко мне, она заговорила совсем по-другому, деловито.

— Расселл говорит, можешь оставаться, если хочешь, — сказала она.

Видно было, как она воспрянула духом после встречи с Расселлом. К ней вернулась былая бойкость, и, говоря, она разглядывала меня. Меня потряхивало, не знаю, правда, от страха или от предвкушения. Бабка рассказывала мне, как ей доставались роли — как быстро ее выбирали из толпы. “А дело было вот в чем, — говорила она. — Все девочки думали, что выбор за режиссером. А на самом деле это я, своим секретным способом, сообщала режиссеру, что роль — моя”.

Мне этого хотелось — чтобы безвидная, беззвучная волна понеслась от меня к Расселлу. К Сюзанне, ко всем ним. Мне хотелось этого бесконечного мира.

Вечер потихоньку разваливался. Руз расхаживала голой по пояс, тяжелые груди раскраснелись от огня. Она то и дело надолго умолкала. Черный пес убежал в темноту. Сюзанна сказала, что раздобудет еще травы, и исчезла. Я искала ее, но постоянно отвлекалась на вспышки и шаги, на танцующих незнакомцев, которые улыбались мне — добро и тупо.

Были мелочи, из-за которых стоило бы насторожиться. Какая-то девочка обожглась — кожа на руке вздулась волдырями — и с ленивым любопытством разглядывала ожог. Вонючий нужник, разрисованный загадочными символами, оклеенный изнутри страницами из порножурналов. Гай, описывавший теплые внутренности свиней, которых он резал на родительской ферме в Канзасе.

— Они знали, что с ними будет, — говорил он благодарным слушателям. — Когда корм принесу — улыбались, как нож достану — давай беситься.

Он поправил огромную пряжку на ремне, прохихикал что-то невнятное. Но сегодня же солнцестояние, твердила я себе, это все — языческая белиберда, а если мне не по себе, сама виновата — не могу до конца прочувствовать это место. А ведь столько всего вокруг можно было заметить и полюбить. Дурацкие песенки из музыкального автомата. Поблескивание серебристой гитары, взбитые сливки, которые капали с чьих-то пальцев. Вдохновенные, фанатичные лица.

Время на ранчо смешалось: здесь не было ни часов, ни часиков, секунды и минуты казались условностями, целые дни утекали в никуда. Не знаю, сколько прошло времени. Сколько я прождала Сюзанну, пока не услышала его голос. Прямо над ухом прошептавший мое имя:

— Эви.

Я обернулась и увидела его. Меня так и скрутило от счастья: Расселл меня вспомнил, отыскал меня в толпе. Как знать, может, он даже искал меня. Он взял меня за руку, погладил ладонь, пальцы. Я бестолково улыбалась, мне хотелось любить всех и вся.

В его трейлере было просторнее, чем в других комнатах, на кровати лежало мохнатое одеяло, до меня не сразу дошло, что это шуба. Она была тут самой приличной вещью — на полу валялась одежда, в которой посверкивали пустые банки из-под пива и газировки. Пахло странно, отдавало чем-то скисшим. Думаю, я нарочно вела себя так наивно, делая вид, будто не знаю, к чему все идет. Но какая-то часть меня этого и вправду не знала. Или не придавала особого значения фактам: я вдруг

напрочь забыла, как тут оказалась. Трясая поездка на автобусе, дешевая сладость вина. Где мой велосипед?

Расселл внимательно наблюдал за мной. Стоило мне отвернуться, и он наклонял голову, ловил мой взгляд. Он заправил прядку волос мне за ухо, провел пальцами по шее. Ногти он не стриг, неровные краешки царапали кожу.

Я натянуто рассмеялась.

— А Сюзанна скоро придет? — спросила я.

Он сказал мне еще там, у костра, что Сюзанна тоже придет, хотя, может, мне просто хотелось, чтобы она пришла.

— Сюзанне и без нас неплохо, — ответил Расселл. — Я, Эви, сейчас о тебе хочу поговорить.

Мои мысли замедлились до скорости поземки. Расселл говорил размеренно, серьезно, так, что мне казалось, будто ему весь вечер не терпелось меня выслушать. До чего же все тут отличалось от спальни Конни, где мы слушали пластинки из другого мира, куда нам был путь закрыт, песни, только усиливавшие наши и без того непрерывные мучения. Потускнел даже Питер. Питер был просто мальчиком, который на ужин ел белый хлеб с маргарином. А вот это — взгляд Расселла — вот это настоящее; мне было приятно от того, что он польстил моей внутренней мерзости, и мне стоило большого труда это скрыть.

— Скромница Эви, — сказал он, улыбаясь. — Ты девочка умная. Эти глазки многое подмечают, да?

Он думает, что я умная. Я вцепилась в это слово как в доказательство. Я не безнадежна. До меня доносился шум праздника. Муха в углу жужжала, билась о стены трейлера.

— Мы с тобой похожи, — продолжал Расселл. — В молодости я был очень умным, таким умным, что мне, конечно, говорили, что я тупой. — Он издал дребезжащий смешок. — Меня обучили этому слову — “тупой”. Меня обучили этому слову, а потом сказали, что тупой — это я.

Когда Расселл улыбался, на его лице проступала незнакомая мне радость. А вот мне так хорошо никогда не было. Я всегда была несчастна, даже в детстве, — и как я раньше этого не понимала?

Я слушала его, обхватив себя руками. До меня начало доходить, о чем говорил Расселл, все, как это бывает, складывалось из кусочков. Наркотики перекраивают простые банальности в многозначительные фразы. Мой барахлящий, незрелый мозг отчаянно искал во всем причину и следствие, тайный замысел, наполнявший каждое слово, каждый жест глубоким смыслом. Мне хотелось, чтобы Расселл был умнее всех.

— У тебя внутри что-то такое, — сказал он, — что-то такое, от чего ты грустишь. И знаешь что? И мне от этого грустно. Люди хотели сломить такую прекрасную, такую особенную девочку. Люди ее обидели. Потому что они такие.

У меня защипало в глазах.

— Но они не сломили тебя, Эви. Ты ведь пришла к нам. Наша особенная Эви. Так что позабудь обо всем дерьме, которое было в прошлом.

Он закинул на шубу босые грязные ноги — так и сидел, до странного спокойный. Он подождет. Сколько нужно, столько и подождет.

Не помню, что я тогда говорила, помню только, как нервно тараторила. Школа, Конни, пустые бредни маленькой девочки. Я скользила взглядом по трейлеру, теребила платье Сюзанны. Рассматривала королевские лилии на грязном одеяле. Помню, как терпеливо Расселл улыбался, выжидая, когда я наконец выдохнусь. И я выдохлась. В трейлере наступила тишина, слышно было только, как я дышу и ерзает на кровати Расселл.

— Я могу тебе помочь, — сказал он. — Но ты сама должна этого хотеть. — Он уставился прямо мне в глаза: — Хочешь, Эви?

В его словах чувствовался научный интерес.

— Тебе понравится, — пробормотал Расселл. Раскрыл мне объятия: — Иди сюда.

Я осторожно подошла поближе. Все ждала, что где-то перемкнет и я осознаю все до конца. Я знала, что к этому все и шло, и все равно удивилась. Тому, как он стянул штаны, обнажив короткие волосатые ноги, комкая пенис в кулаке. Я замешкалась, задержала на нем взгляд — он смотрел, как я смотрю на него.

— Погляди на меня, — сказал он.

Он яростно двигал рукой, но говорил по-прежнему ровно.

— Эви, — сказал он. — Эви.

Торчавший из его кулака член казался каким-то недоваренным — где же Сюзанна, думала я. У меня перехватило горло. Поначалу я даже растерялась, осознав, что Расселл только этого и хотел. Потрогать себя. Я старалась отыскать логику в происходящем. Решила, что такое поведение свидетельствует о том, что намерения у него самые лучшие. Расселл просто старался со мной сблизиться, вырвать из лап прежнего мира.

— Мы можем поднять друг другу настроение, — сказал он. — Не надо грустить.

Я дернулась, когда он ухватил меня за голову и пригнул к своим коленям. Чиркнуло неуклюжим страхом. Он умело скрыл злость, когда я

отшатнулась. Снисходительно посмотрел на меня, как на норовистую лошадь.

— Я не хочу тебя обидеть, Эви. — Он снова протянул мне руку. Сердце билось быстрыми промельками. — Я просто хочу стать тебе ближе. А ты, разве ты не хочешь, чтобы мне было хорошо? Я хочу, чтобы тебе было хорошо.

Он кончил с булькающим всхрипом. Соленая влага угрожающе расплзлась во рту. Я брыкалась, он меня удерживал. Как же я оказалась здесь, в этом трейлере, в темном лесу, без хлебных крошек, которые укажут мне путь домой, но тут Расселл запустил пальцы мне в волосы, обнял меня, поставил на ноги и так уверенно и серьезно произнес мое имя, что оно показалось мне странным, но еще — таким округлым, ценным, будто оно принадлежало другой, улучшенной Эви. Надо ли было расплакаться? Я не знала. Голова была забита дурацкими пустяками. Я одолжила Конни красный свитер, а она его так и не вернула. Ищет ли меня Сюзанна или нет? Непонятное покалывание в глазах.

Расселл протянул мне бутылку кока-колы. Газировка была выдохшейся, теплой, но я выпила всю бутылку залпом. Пьянея, как от шампанского.

Мне тогда казалось, что эта ночь — роковая, что я — героиня необыкновенной драмы. Но Расселл всего лишь устроил мне несколько ритуальных проверок. Их он отточил за годы работы в религиозной организации где-то возле Юкайи, в центре, где раздавали еду, предоставляли убежище, помогали найти работу. Приручал тощих, изможденных девочек, у которых не было ни образования, ни заботливых родителей, девочек, мечтавших переделать себе нос и сбежать от уродов-начальников. Его хлеб с маслом. Старая пожарная станция в Сан-Франциско: здесь, в филиале организации, он провел много времени. Набирал себе последователей. Уже тогда он профессионально распознавал женскую тоску — поникшие плечи, нервная сыпь. Угодливая запинка в конце каждой фразы, слипшиеся от слез ресницы. Со мной Расселл проделал все то же самое, что и с остальными девочками. Сначала — простейшие проверки. Дотронулся до спины, стиснул руку. Незаметно перешел границы. И как быстро дело дошло до спущенных штанов. Дальновидный поступок, думала я, чтобы девочки вздохнули с облегчением: по крайней мере, это не настоящий секс. Чтобы им даже не пришлось раздеваться, чтобы им казалось, будто ничего особенного и не случилось.

Но — самое странное, — может, мне даже понравилось.

Я плыла сквозь толпу в немом оцепенении. Воздух прижимался к коже, под мышками было скользко от пота. Вот все и случилось, твердила я себе. Мне казалось, что это все видят. Видят отчетливую ауру секса. Я больше не волновалась, не бродила как неприкаянная, сжимаясь от нервного томления, от знания, что есть закрытая комната, куда меня не пускают, — теперь эта тревога унялась, я шла как во сне и глядела на окружающих с улыбкой, которая ни о чем не просила.

Увидев Гая, который поигрывал пачкой сигарет, я не раздумывая остановилась:

— Угостишь?

Он рассмеялся:

— Девочка хочет сигаретку, девочка ее получит.

Он вставил ее мне в рот, и я надеялась, что кто-нибудь это видел.

Сюзанну я наконец нашла в кругу у костра. Заметив меня, она улыбнулась — криво, сухо. Уверена, она распознала внутренний сдвиг, который замечаешь иногда в приобщившихся к сексу девочках. Какая-то гордость, наверное. Важность. Мне хотелось, чтобы она узнала. Видно было, что Сюзанну пошатывает. Не от алкоголя, от чего-то другого. Ее зрачки словно сжирали радужку, румянец охватывал шею триповым викторианским воротничком.

Быть может, в глубине души Сюзанна и была разочарована, когда игра удалась, когда она увидела, что я все-таки ушла с Расселлом. А может, ничего другого она и не ожидала. Машина все тлела, шум праздника взрезал темноту. Ночь вертелась во мне колесом.

— Когда машина догорит? — спросила я.

Лица ее я не видела, но я ее чувствовала, воздух между нами был мягче.

— Господи, не знаю я, — ответила она. — Утром?

В дрожащем свете пламени мои руки выглядели чешуйчатыми, будто у рептилии, и мне нравилось, до чего искаженным казалось мое тело. С жужжанием завелся мотоцикл, кто-то лихо заухал: в костер швырнули пружинный матрас, пламя взметнулось, потемнело.

— Хочешь, можешь у меня переночевать, — сказала Сюзанна. По ее голосу ничего нельзя было понять. — Мне все равно. Но если хочешь быть с нами, нужно именно что быть с нами. Поняла?

Сюзанна просила у меня чего-то еще. Как в сказках, когда гоблины могут войти в дом, только если их пригласят. Ей нужно было переступить порог, и Сюзанна очень тщательно подбирала слова — она хотела, чтобы я сама все сказала. И я кивнула и ответила, что поняла, хотя, конечно, не

поняла. Не совсем. Мое платье не было моим, и я не заглядывала в будущее дальше искрившего надо мной чувства, впечатления, будто еще чуть-чуть — и в мою жизнь придет новое, постоянное счастье. Я думала о Конни с безмятежной снисходительностью — правда, она ведь милая девочка. Я даже мать с отцом великодушно записала в страдальцев, жертв трагического, непонятного недуга. Лучи мотоциклетных фар выбелили ветви деревьев, осветили фундамент дома, черного пса, сгорбившегося над невидимой добычей. Кто-то снова и снова наигрывал одну и ту же песенку. *Эй, детка* — такая там была первая фраза. Песню повторили столько раз, что фраза зазвучала у меня в голове. *Эй, детка*. Слова перекатывались в голове почти без усилий, будто лимонный леденец, который лениво ворочаешь во рту.

Часть вторая

Когда я проснулась, в окна бились волны тумана, спальня была залита снежным светом. Несколько секунд ушло на то, чтобы вновь сжиться с привычным, тоскливым фактом: я дома у Дэна. Это его бюро стоит в углу, его прикроватная тумбочка со стеклянным верхом. Это его обшитое атласом одеяло я натянула поверх слоя собственной плоти. Я вспомнила о Саше с Джулианом, о тонкой стене между нами. О прошлой ночи даже не хотелось думать. Как мяукала Саша. Навязчивое, сбивчивое бормотанье “Еби меня, еби меняебименяебименя” повторилось столько раз, что утратило всякий смысл.

Я уставилась в монотонность потолка. У них, как и у всех подростков, просто ветер в голове, других объяснений случившемуся искать не нужно. Но все равно. Вежливее всего, наверное, будет не выходить из комнаты, пока они не уедут в Гумбольдт. Пусть спокойно свалят, без церемонных утренних расшаркиваний.

Услышав, что машина выехала из гаража, я вылезла из постели. Я снова могла хозяйничать в доме, но к облегчению примешивалась какая-то грусть. Саша и Джулиан устремились к новым приключениям. Влились обратно в суету большого мира. Я растуаю в их памяти — женщина средних лет в позабытом доме — так, засечка в уме, которая будет все уменьшаться и уменьшаться, уступая место реальной жизни. Я и не знала раньше, какая я одинокая. Или дело в чем-то менее едком, чем одиночество, — в том, может быть, что я осталась без присмотра. Перестань я существовать, кого это опечалит? Помню, Расселл любил такие дурацкие выражения — перестаньте существовать, твердил он нам, отрекитесь от своей личности. А мы все знай кивали, как золотистые ретриверы, и, обнаглев от самой реальности нашего существования, кидались рушить то, что казалось нам незыблемым.

Я включила чайник. Распахнула окно, чтобы впустить хлесткий, холодный сквозняк. Собрала как-то уж очень много пустых пивных бутылок — они что, пили, пока я спала?

Я вынесла мусор — тяжелый узел из целлофана и моих собственных отходов — и замерла, уставившись на серые островки хрустальной травы на обочине. На пляж вдали. Туман истлевал, были видны вползавшие на берег волны и скалы над водой — сухие и будто проржавевшие. Несколько человек прогуливалось по пляжу, спортивные костюмы бросались в глаза. Почти все с собаками — только на этом участке пляжа их разрешено было спускать с поводка. Ротвейлера я тут уже пару раз видела, шерсть чернее черного, бежит тяжело, вздыбливая песок. Недавно в Сан-Франциско

питбуль убил женщину. Странно это или нет, что люди любят тех, кто для них опасен? Или, наоборот, тут нет ничего непонятного, — может быть, они как раз и любят животных за эту их выдержку, за то, что они дарят людям хоть временный, но покой. Я юркнула обратно в дом. Я не могу жить у Дэна вечно. Скоро кому-нибудь снова понадобится сиделка. До чего же все это знакомо — когда опускаешь чье-нибудь тело в теплую, неподатливую воду лечебной ванны. Когда ждешь в приемных, читая статьи о влиянии сои на лечение опухолей. С серьезным видом выкладываешь радугу на тарелке. Обычный самообман, трагичный в своей скудости. Неужели кто-то и вправду во все это верит? Словно этими усилиями можно, будто яркой вспышкой, отвлечь смерть, и она не придет за тобой, а так и будет, словно бык, бегать за красной тряпкой.

Свистел чайник, поэтому я не сразу услышала, как в кухню вошла Саша. Я вздрогнула, когда она внезапно возникла передо мной.

— Доброе утро, — сказала она.

На щеке у нее присохла черточка слюны. Одета она была в шорты с высокой талией — из такого материала обычно шьют тренировочные штаны, носки усыпаны какими-то кислотно-розовыми символами — черепами, присмотревшись, поняла я. Она сглотнула, на губах — сухой налет после сна.

— А где Джулиан? — спросила она.

Я постаралась скрыть удивление.

— Уехал недавно, я сама слышала.

Она сощурилась.

— Что? — переспросила она.

— Он не говорил тебе, что уедет?

Саша заметила мою жалость. Лицо у нее застыло.

— Конечно, говорил, — сказала она, помолчав. — Да, точно. Он завтра вернется.

Значит, он ее тут бросил. Моя первая реакция — раздражение. Я им не нянька. Затем — облегчение. Саша еще маленькая, нельзя ей ехать с ним в Гумбольдт. Трястись на вездеходе мимо пропускных пунктов и заборов из колючей проволоки, ехать в какой-нибудь Гарбервилль, на ферму из говна и веток, — и все ради того, чтобы забрать мешок травы. Я была даже немного рада, что она составит мне компанию.

— Мне вообще никуда ехать не хотелось, — сказала Саша, храбро смиряясь с положением дел. — Укачало на этих проселочных дорогах. Он еще водит как бешеный. Супербыстро. — Она оперлась на кухонную

стойку, зевнула.

— Спать хочется? — спросила я.

Она рассказала мне, что одно время практиковала полифазный сон, но потом бросила.

— Муть какая-то.

Ее соски отчетливо просвечивали через футболку.

— Полифазный сон? — переспросила я, в приступе ханжества затянув потуже поясок халата.

— Томас Джефферсон так спал. Спишь по часу, и так, короче, шесть раз в день.

— А все остальное время бодрствуешь?

Саша кивнула.

— Первые пару дней было вообще круто. Но потом меня срубило. Думала, вообще не смогу больше спать по-человечески.

Я никак не могла увязать девочку, чьи стоны я слышала вчера ночью, с девочкой, которая стояла передо мной и рассказывала об экспериментах со сном.

— В чайнике еще есть кипяток, тебе хватит, — сказала я, но Саша помотала головой.

— Я как балерина, по утрам не ем. — Она поглядела в окно, на свинцовую простыню моря. — Плавать ходили?

— Вода очень холодная.

Здесь только серферы иногда отважно бросались в волны — закрыв головы, обтянувшись с ног до головы неопреном.

— Значит, все-таки купались? — спросила она.

— Нет.

У Саши сочувственно дрогнуло личико. Как будто я лишала себя какого-то безусловного удовольствия. Но ведь тут никто не купается, думала я, отстаивая свою жизнь в этом позаимствованном доме и дни, вращавшиеся вокруг местных орбит.

— И там еще акулы, — добавила я.

— На самом деле они на людей не нападают, — пожала плечами Саша.

Она была красивая, как чахоточная больная, которую жар выедает изнутри. Я вглядывалась в нее, высматривала порнографический осадок прошлой ночи, но ничего не заметила. Лицо у нее было бледным и безвинным, будто новая луна.

Сашино присутствие вернуло в жизнь — пусть и всего на день — какое-то подобие нормальности. Встроенный предохранитель от других

людей запрещал мне следовать животным инстинктам, запрещал оставлять апельсиновую кожуру прямо в раковине. Позавтракав, я сразу переоделась, а не срослась, как обычно, на весь день с халатом. Мазнула по ресницам давно засохшей тушью. Понятные человеческие задачи, обыденные дела, которыми отгораживаешься от тревог покрупнее, но я так долго жила одна, что растеряла все навыки — не считала себя достаточно важной для таких усилий.

Еще год назад я жила с мужчиной, он преподавал композицию в новомодном университете, рекламу которого крутили по телевизору. Учились там в основном иностранцы, мечтавшие стать дизайнерами видеоигр. Удивительно теперь было думать о нем, о Дэвиде, вспоминать время, когда я еще могла представить себе жизнь с другим человеком. Не любовь, но приятную апатию, которая могла за нее сойти. Умиротворенное молчание, охватывавшее нас в машине. То, как он однажды посмотрел на меня, когда мы шли по парковке, когда солнце уже садилось и воздух дрожал от красноватого света.

Но потом началось — женщина постучала в дверь нашей квартиры и убежала, когда я открыла. Из ванной пропал гребень слоновой кости, принадлежавший еще моей бабке. Я не во всем была откровенна с Дэвидом, так что наша с ним близость — в любом ее виде — была сразу подпорчена, в яблоке ворочался червь. Моя тайна залегла на дно, но никуда не делась. Может быть, поэтому она и появилась, другая женщина. Я сама оставила местечко для таких тайн. А впрочем, много ли вообще можно узнать о своем ближнем? Я думала, что мы с Сашей весь день проведем в вежливом молчании. Что Саша будет сидеть тихо как мышка. Вежливой она, конечно, была, но вот не замечать ее присутствия было никак нельзя. Она оставила открытой дверцу холодильника, и кухня наполнилась механическим гулом. Ее толстовка оказалась на столе, книга про эннеграмму личности распласталась на кресле. Сквозь дребезжащие колонки ноутбука из ее комнаты неслась громкая музыка. Я поразились — она слушала певца, чей хнычущий голосок был вечным звуковым фоном у вполне определенного типа девочек в нашем колледже. Девочек, уже тогда захлебывавшихся от ностальгии, девочек, которые зажигали свечи и, стоя босиком, в трико, допоздна месили тесто для хлеба.

Я то и дело наталкиваюсь на такие реликты — в этой части Калифорнии на всем лежит печать шестидесятых. Рваные пятнышки молитвенных флагов в дубовых кронах, брошенные в полях фургоны без колес. Старики в расшитых рубашках, их гражданские жены. Но это все привычные призраки шестидесятых. С чего бы Саше этим интересоваться?

Я обрадовалась, когда Саша сменила музыку. Какая-то женщина запела под готичное электропиано, что-то совсем незнакомое.

После обеда я решила прилечь. Но заснуть так и не смогла. Лежала, разглядывая висевшее над бюро фото в рамочке: песчаная дюна, рябь мятно-зеленой травы. Омерзительные завитки паутины в углах. Я беспокойно заворочалась в кровати. Никак не могла забыть, что Саша в соседней комнате. Весь день у нее на ноутбуке играла музыка, а иногда, перекрывая песни, до меня доносились обрывки каких-то электронных звуков, треньканье, пиканье. Что она там делает — играет в игры на телефоне? Переписывается с Джулианом? Мне вдруг стало больно от того, как старательно она обслуживала свое одиночество.

Я постучалась к ней, но музыка играла слишком громко. Я постучала снова. Ответа нет. Мне стало стыдно, что я так откровенно навязываюсь, и хотела уже шмыгнуть к себе обратно, но тут Саша открыла дверь. С лица у нее еще не сошел сон, волосы примяты от подушки — наверное, она тоже решила прилечь.

— Хочешь чаю? — спросила я.

Она кивнула не сразу, как будто не помнила, кто я такая.

За столом Саша молчала. Разглядывала ногти, вздыхала так, словно ее скука была космических размеров. Эту позу я помнила еще со своих подростковых лет — выпятить челюсть, смотреть в окно машины с видом безвинно осужденного узника, а на самом деле отчаянно желать, чтобы мама хоть что-нибудь сказала. Саша ждала, что я пробью ее броню, задам ей какие-то вопросы, и, разливая чай, я чувствовала на себе ее взгляд. Хорошо, когда на тебя смотрят, пусть даже и настороженно. Я достала красивые чашки, а гречишные крекеры, которые я разложила на блюдечках, засохли всего-то чуть-чуть. Аккуратно поставив перед ней чашку, я поняла, что мне хочется ей угодить.

Чай был слишком горячим, на какое-то время мы замолчали, ссутулившись над чашками, от прозрачного травяного пара лица стали влажноватыми. Когда я спросила Сашу, откуда она, та поморщилась.

— Из Конкорда, — сказала она. — Дырища.

— И вы с Джулианом учитесь в одном колледже?

— Джулиан не в колледже.

Что-то мне подсказывало, Дэн об этом не знает. Я стала вспоминать последние сведения. О сыне Дэн говорил с наигранным фатализмом, изображал бестолкового папашу. Обо всех бедах докладывал с

ситкомовскими вздохами: мальчишки есть мальчишки. В старших классах у Джулиана обнаружили какое-то поведенческое расстройство, хотя, по словам Дэна, ничего страшного.

— И долго вы с ним встречаетесь? — спросила я. Саша отхлебнула чаю.

— Пару месяцев, — ответила она.

Она сразу воспрянула духом, как будто для нее даже поговорить о Джулиане было все равно что живой воды напиться. Она, наверное, уже простила его за то, что он ее тут бросил. Девочки отлично умеют закрашивать некрасивые белые пятна. Я вспомнила прошлую ночь, ее театральные стоны. Бедная Саша.

Она, скорее всего, верила, что всякую печаль, любой проблеск тревоги можно унять побегом. В ее возрасте печаль всегда приятно отдавала заточением: ты бунтуешь и восстаешь против ограничений, которые на тебя накладывают родители, школа, возраст. Против всего, что отделяет тебя от вполне понятного будущего счастья. На втором курсе колледжа я встречалась с парнем, который захлеб говорил о том, что нам нужно сбежать в Мексику, — а мне как-то не приходило в голову, что прошло то время, когда мы могли сбежать из дома. И к чему мы с ним прибежим, я тоже не думала, мне только смутно представлялся воздух потеплее да секс почаше. Теперь же, когда я стала старше, воображаемые декорации нашей будущей жизни утратили свою привлекательность. Может, это чувство так и не пройдет до конца. Останется, как депрессия, которая не проходит, только становится более привычной, компактной. Выгородит себе местечко-чистилище, унылое, как гостиничный номер.

— Послушай, — начала я, влезая в до смешного незаслуженную роль родителя. — Надеюсь, Джулиан хорошо себя с тобой ведет.

— С чего бы ему вести себя плохо? — спросила она. — Он мой бойфренд. Мы с ним живем вместе.

Могу себе представить, что у них там за жизнь. Съемная квартира с помесечной оплатой, где воняет хлоркой и разогретыми полуфабрикатами, матрас застелен детским покрывальцем Джулиана. Девичья лепта — ароматическая свечка у кровати. Я, впрочем, не то чтобы лучше устроилась.

— Мы, может, даже переедем в квартиру со стиральной машинкой. — Саша, похоже, вспомнила их убогий быт, и в ее голосе прорезалась запальчивость. — Через пару месяцев.

— А родители не против того, что ты живешь с Джулианом?

— Я могу делать что захочу. — Она спрятала руки в рукавах толстовки

Джулиана. — Мне восемнадцать.

Быть того не может.

— И вообще, — добавила она, — когда вы были в той секте, вам столько же лет было, разве нет?

Говорила она сухо, но мне почудился обвинительный укол. Не успела я ничего ответить, как Саша встала, прошаркала к холодильнику. Я смотрела, как она наигранно виляет бедрами, как запросто хватает привезенное ими пиво. На ярлыке — резные посеребренные горы. Она посмотрела мне в глаза.

— Пива хотите? — спросила она.

Я поняла, что это проверка. Или я взрослый, которого нужно пожалеть или проигнорировать, или человек, с которым в принципе можно поговорить. Я кивнула, и Саша расслабилась.

— Лови, — сказала она и бросила мне бутылку.

На побережье ночь наступила быстро, как оно всегда бывает, потому что тут ее не замедляют здания. Солнце опустилось так низко, что мы, наблюдая за тем, как оно уплывает из виду, даже не поднимали голов. Мы обе выпили по несколько бутылок пива. На кухне стало темно, но свет мы так и не включали. На всем лежала синяя тень, мягкая и величественная, мебель упростилась до очертаний. Саша спросила, можем ли мы развести огонь в камине.

— Он газовый, — ответила я. — И к тому же сломан.

В этом доме много чего было сломано или заброшено: не ходили часы на кухне, у двери в кладовку отвалилась ручка, едва я до нее дотронулась. Из углов я повымела серебристые кучки мух. Противостоять увяданию может только постоянная, непрерывная жизнь. Я живу тут уже несколько недель, но на доме это никак не отразилось.

— Но можно развести костер во дворе, — сказала я.

Песчаный участок земли за гаражом был закрыт от ветра, на пластмассовые стулья налипла влажная листва. Когда-то здесь даже было костровище, камни исчезли под бессмысленными археологическими слоями семейной жизни. Запчасти от позабытых игрушек, изжеванный осколок фрисби. Мы засуетились, занялись приготовлениями, вещами, которые можно было делать в дружеском молчании. В гараже я нашла пачку газет трехлетней давности и магазинную связку дров. Саша ногами затолкала камни обратно в круг.

— У меня с этим всегда было плохо, — сказала я. — Нужно что-то еще сделать, так? Поленья как-то по-особому выстроить?

— Домиком, — сказала Саша. — Нужно поставить их так, чтобы было похоже на шалаш. — Она подвигала камни ногой, чтобы круг был ровнее. — Когда я была маленькая, мы часто ходили в походы в Йосемити.

Саша и разожгла костер: присела на корточки, долго, старательно дула. Аккуратно ворошила пламя, пока оно наконец не разгорелось как следует.

Мы уселись на пластмассовые стулья, шероховатые от солнца и ветра. Я пододвинулась поближе к огню, мне хотелось согреться, вспотеть. Саша сидела молча, глядя на дрожащее пламя, но я чувствовала, как скачут ее мысли, как они уносят ее далеко отсюда. Может, она гадала, чем там занят Джулиан в Гарбервилле. Спит на пропахшем потом матрасе, накрывшись полотенцем вместо одеяла. Приключение. Хорошо, наверное, быть двадцатилетним мальчиком.

— То, что Джулиан рассказывал... — Саша прокашлялась, словно ей было неловко, хотя скрыть интерес у нее не получилось. — Ты, ну, в этого мужика влюблена была или как?

— В Расселла? — спросила я, тыча в костер палкой. — Нет, ничего подобного.

Я говорила правду: другие девочки кругами ходили вокруг Расселла, следили за каждым его шагом, за каждой переменной настроеня, как за сводками погоды, но я никогда не думала о нем как о ком-то близком. Скорее — как о любимом учителе, о жизни которого за пределами школы ученики даже не задумываются.

— А зачем ты тогда с ними тусила? — спросила она.

Поначалу мне захотелось уйти от ответа. Придется ведь сгладить все уголки. Разыграть моралите от начала и до конца: покаяться, предостеречь. Я постаралась говорить деловито.

— Тогда люди много чем увлекались, чего только не было, — сказала я. — Сайентология, церковь Процесса. Техника “пустого стула”. Не знаешь, сейчас это еще модно? — Я взглянула на нее, она ждала, что я еще скажу. — Думаю, мне просто не очень повезло. Что мне попались именно они.

— Но ты ведь с ними осталась.

Теперь я в полной мере ощутила напор Сашиного любопытства.

— Там была одна девочка. Я осталась скорее из-за нее, не из-за Расселла. — Я замялась. — Сюзанна. — Так странно было произнести ее имя, отпустить его в мир. — Она была старше, — сказала я. — Ненамного, хотя тогда казалось, что очень старше.

— Сюзанна Паркер?

Я уставилась сквозь пламя на Сашу.

— Я сегодня почитала про это немного, — сказала она. — В интернете.

В свое время я там часами просиживала. На фан-сайтах, или как они еще называются. В странноватых закутках. На сайтах с картинками Сюзанны, которые она нарисовала в тюрьме. Акварели с горными грядками, взбитые кругляши облаков, подписи, полные орфографических ошибок. У меня сжалось сердце, когда я представила, с каким тщанием Сюзанна их рисовала, но я тут же закрыла страницу, увидев фотографию: Сюзанна в синих джинсах и белой футболке, джинсы лопаются от олдогового жира, лицо — чистый холст.

Я представила, как Саша жадно заглатывает эти жуткие подачки, и мне стало не по себе. Как она всасывает подробности: отчеты о вскрытии, показания, которые девочки давали относительно событий той ночи, — будто стенограммы дурных снов.

— Гордиться тут нечем, — сказала я.

Добавила все, что положено: это было ужасно. Ничего гламурного, ничего завидного.

— А про тебя ничего не пишут, — сказала Саша. — По крайней мере, я ничего не нашла.

У меня екнуло сердце. Мне захотелось сообщить ей что-нибудь ценное, захотелось, чтобы и за моей жизнью следили с таким вниманием, чтобы и я стала видимой.

— Так лучше, — ответила я. — Чтобы всякие придурки не разыскивали.

— Но ты там была?

— Я там жила. Фактически. Какое-то время. Я никого не убивала, никого и ничего. — Смех вышел натужным. — Само собой.

Она куталась в толстовку.

— И ты просто ушла от родителей? — В ее голосе слышалось восхищение.

— Тогда другие времена были, — сказала я. — Мы все бегали без присмотра. Мои родители развелись.

— Мои тоже. — Саша даже стесняться перестала. — И ты была моей ровесницей?

— Чуть помладше.

— Сто пудов, ты была очень красивая. В смысле, в общем, ты и сейчас красивая. — Она даже раздулась от собственного великодушия. — А как ты вообще с ними познакомилась?

Я не сразу собралась, не сразу припомнила, что за чем происходило. “Вновь обратиться” — вот как обычно пишут в статьях, приуроченных к

годовщине убийства. “А мы вновь обратимся к кошмару на Эджуотер-роуд”, словно это такое единичное событие, которое можно убрать в коробку и снова достать. Как будто я сотни раз не замирала, завидев призраки Сюзанны на улицах, на задних планах в кино.

Я уворачивалась от вопросов Саши о том, какими они были в реальной жизни, все эти люди, ставшие тотемами самим себе. Гай не слишком интересовал журналистов — мужчина-убийца, чего тут удивительного, — зато девочки стали легендами. Донна — некрасивая, неотесанная и туповатая, в ее случае чаще всего пытались давить на жалость. Голодное, угрюмое лицо. Хелен, герлскаут, загорелая, хорошенькая, с хвостиками — вот она стала фетишем, убийцей в стиле “пин-ап”. Но Сюзанне пришлось хуже всех. Развратная.

Злая. Ее ускользящую красоту нельзя было поймать на фото. Она получалась дикой и невзрачной, как будто и оживала только ради убийств.

Стоило нам заговорить о Сюзанне, и я задышала чаще, — уверена, Саша это заметила. Наверное, это стыдно. Чувствовать такой неуправляемый восторг, учитывая все, что случилось. Сторож на диване, скрученная оболочка его кишок торчит наружу. Волосы матери склеились от запекшейся крови. Мальчика изуродовали так, что полиция не сразу определила его пол. Конечно, Саша читала и обо всем этом.

— Как по-твоему, ты смогла бы такое сделать? — спросила она.

— Конечно, нет, — задумчиво ответила я.

Я редко рассказывала о ранчо, но этот вопрос мне задавали еще реже. Могла ли я такое сделать. Могла ли поехать с ними. Почти все считали, что меня от девочек отделяют хоть какие-то зачатки нравственности, точно мы с ними принадлежали к разным видам.

Саша молчала. Ее молчание казалось чем-то вроде любви.

— Да, иногда я и сама задаю себе этот вопрос, — сказала я. — Похоже, я никого не убила только по чистой случайности.

— По случайности?

Пламя угасало, подергивалось.

— Не было между нами особой разницы. Между мной и другими девочками.

Так странно было — сказать это вслух. Подойти, пусть и не вплотную, к тревоге, которая столько лет меня снала. Саша как будто бы меня не осуждала и даже не насторожилась. Она просто поглядела на меня, ее внимательное лицо — напротив моего, так, словно она могла забрать у меня эти слова и сделать их своими.

Мы пошли в единственный местный бар, где подавали еду. Решили, что это хорошая идея, легко выполнимая цель. Питание. Движение. Мы говорили, пока костер не прогорел до тлеющих газетных клочков. Саша забросала золу песком, эта ее скаутская прилежность меня насмешила.

Я была рада ее присутствию, хоть какая-то отсрочка, пусть и временная — вернется Джулиан, Саша уедет, и я снова останусь одна. Но все равно приятно чувствовать, как тобой восхищаются. А Саша мной именно что восхищалась: она, похоже, заужала ту четырнадцатилетнюю девочку, которой я была когда-то, и считала меня интересной, даже храброй, что ли. Поначалу я пыталась убедить ее, что это не так, но чувствовала, как в груди ширится глубокое умиротворение, как будто я возвращаюсь в свое тело, очнувшись от сумеречного медикаментозного сна.

Мы с ней шли рядом по обочине дороги, вдоль акведука. Островерхие деревья были плотными и темными, но я не боялась. Вечер отчего-то казался до странного праздничным, и Саша вдруг стала звать меня Ви. “Мама Ви”, — говорила она.

Она вся была как котенок, мягенькая и дружелюбная, подпихивала меня то и дело теплым плечом. Повернувшись к ней, я увидела, что она покусывает нижнюю губу, задрал голову к небу. Но смотреть там было не на что — звезды заволокло туманом.

Мебели в баре почти не было, так, стояла пара-другая табуретов. Обычная мешанина из проржавевших дорожных знаков, подрагивающие неоновые глаза над дверью. На кухне кто-то курил — хлеб для сэндвичей пропитался сигаретным дымом. Поужинав, мы не сразу ушли. Саша выглядела лет на пятнадцать, но это никого не волновало. Барменша, тетка лет пятидесяти, похоже, обрадовалась, что хоть кто-то зашел. У нее был загнанный вид, пересушенные супермаркетной краской волосы. Моя ровесница, но я решила не искать подтверждений этому в зеркале, тем более что рядом сидела Саша. Саша — с ясным, строгим личиком святой с религиозного медальона.

Саша вертелась на табурете, будто маленький ребенок.

— Ну мы даем, — рассмеялась она, — веселимся до упаду.

Она отхлебнула пива, потом воды, полезная привычка. Но Саша все равно уже заметно размякла.

— Я даже рада, что Джулиан не с нами, — сказала она.

Сказала и сама, похоже, изумилась. Но теперь я знала, что нельзя делать резких движений, нужно дать ей время разойтись, разговориться. Саша рассеянно постукивала по барной подножке, обдавала меня пивным дыханием.

— Он мне не говорил, что уедет, — сказала она. — В Гумбольдт.

Я сделала вид, что удивилась. Она невесело рассмеялась.

— Проснулась, его нет, думала, он, ну, вышел куда-то. Странно, да? Что он вот так взял и уехал?

— Да, странно.

Поддакивала я вяло, мне не хотелось, чтобы она с пеной у рта кинулась защищать Джулиана.

— Он мне написал потом, весь такой — прости-прости. Думал, наверное, что мы обо всем договорились.

Она отхлебнула пива. Мокрым пальцем нарисовала на барной стойке смайлик.

— А знаете, за что его из Ирвайна отчислили? — Она и осторожничала, и ерзала от нетерпения. — Так, стоп. Вы же его отцу не расскажете, нет?

Я помотала головой, взрослая женщина клянется хранить подростковые тайны.

— Ладно. — Саша вздохнула. — У него был препод по стилистике, которого он ненавидел. Такой мудака. Не разрешил Джулиану сдать работу позже срока, хотя знал, что без этой оценки ему курс не зачтут. Ну и тогда Джулиан пошел к этому мужику домой и что-то там сделал с его собакой. Накормил какой-то дрянью. Хлоркой или каким-нибудь крысиным ядом, не знаю точно чем. — Саша поймала мой взгляд. — Собака эта, она была старая, сдохла.

Я с трудом сохраняла невозмутимость. От того, как просто, как невыразительно она говорила, история стала только гаже.

— В универе все знали, что это он, но доказать не смогли, — сказала Саша. — Тогда они его за все остальное отчислили, без права восстановления, вот это все. Такой бред. — Она поглядела на меня: — Да ведь?

Я не знала, что ей ответить.

— Он сказал, что не хотел ее убивать, ничего такого, просто хотел, чтобы она заболела. — Саша говорила нерешительно, примерялась к этой мысли. — Это же не очень плохо, да?

— Не знаю, — сказала я. — Как по мне, так очень плохо.

— Но я ведь с ним живу, понимаешь, — сказала Саша. — В смысле, он платит за квартиру и все такое.

— Куда-то уйти всегда можно, — сказала я.

Бедная Саша. Бедные девочки. Мир раскармливает их обещаниями любви. Как же сильно им нужна эта любовь, только ее почти никому не достанется. Паточная попса, платья, которые в каталогах описывают

непрерывно со словами “закат” и “Париж”. И как грубо потом у них отбирают эти мечты: от рывка разлетаются пуговицы на джинсах, в автобусе мужчина орет на подружку, а на них никто и не смотрит. Горло у меня сжалось от грусти за Сашу.

Она, наверное, почувствовала мое замешательство.

— А, ладно, — сказала она, — это все давно было. Она навалилась на барную стойку.

— Сколько стоит в бильярд поиграть? — спросила она барменшу.

Вот что такое, наверное, быть матерью, думала я, глядя, как Саша, допив пиво, по-мальчишески вытирает рот рукой. Чувствовать нежданную, безграничную нежность к существу, возникшему вроде бы ниоткуда. Когда к нам вразвалочку подошел загорелый игрок в бильярд, я уже приготовилась его прогнать. Но Саша улыбнулась во весь рот, показывая острые зубки.

— Привет, — сказала она, и вот он уже купил нам по пиву.

Саша энергично напивалась. Рассеянную скуку чередовала с маниакальным интересом (уж не знаю, притворным или нет) ко всему, что говорил мужчина.

— Вы не местные? — спросил он.

Длинные волосы с проседью, на большом пальце кольцо с бирюзой, еще один призрак из шестидесятых. Как знать, может, тогда мы с ним и встречались, ходили по одной и той же протоптанной дорожке. Он подтянул штаны.

— Сестры?

По его голосу было слышно, что он явно не ради меня напрягается, и я чуть было не рассмеялась. Но я сидела рядом с Сашей, и какое-то внимание долетало и до меня. До чего же странно было вновь ощутить это напряжение, пусть мне и доставались одни объедки. Вспомнить, каково это, когда тебя хотят. Может быть, Саша к этому так привыкла, что ничего и не замечала. Так ее накрыло собственной жизнью, собственной уверенностью в том, что дальше все будет только лучше.

— Это моя мама, — сказала Саша.

Она строго глянула на меня — мол, подыграй мне.

И я подыграла. Приобняла ее.

— Вот решили с дочкой прокатиться, — сказала я. — По Первому. До самой Юрики хотим доехать.

— Искательницы приключений! — воскликнул мужик и грохнул кулаком по столу.

Мы узнали, что его зовут Виктор и что ацтекский рисунок на заставке

его телефона заряжен мощной энергетикой, можно просто посмотреть на него — и сразу станешь умнее. Он верил, что все происходящее в мире — результат бесконечного, многоходового заговора. Он вытащил долларовую купюру, чтобы объяснить нам, как иллюминаты контактируют друг с другом.

— Но зачем тайному обществу расписывать все свои планы на общей валюте? — спросила я.

Он закивал, будто предвидел такой вопрос.

— Чтобы продемонстрировать свое могущество.

Я завидовала убежденности Виктора, его праведному структурированному идиотизму. Эта вера — что в мире есть видимый порядок, а нам всего-то и нужно, что высматривать знаки, словно зло — это код, который можно взломать. Он все не умолкал. Влажные от выпивки зубы, серый проблеск мертвого резца. Он еще не все теории заговора нам растолковал, не всей секретной информацией с нами поделился. Нам нужно было “понять, что происходит”. Узнать о “тайных сигналах” и “теневом правительстве”.

— Вау, — сказала Саша, даже не изменившись в лице, — мам, а ты про это знала?

Она так и звала меня мамой — наигранным, комичным тоном, но я все равно не сразу поняла, что она здорово напилась. Не сразу поняла, что и я напилась тоже. Вечер уплывал в чужеземные воды. Помаргивали неоновые знаки, барменша курила в дверях. Я смотрела, как она растерла ногой окурок, поелозила туда-сюда вьетнамкой. Виктор сказал, что одно удовольствие смотреть на то, как мы с Сашей ладим.

— Теперь такое нечасто увидишь, — он задумчиво покивал, — чтобы мать с дочкой вместе путешествовали. И чтоб так славно друг с другом общались.

— Ой, она у меня крутая, — сказала Саша. — Я маму люблю.

Она лукаво ухмыльнулась и подалась ко мне. Прижалась сухими губами, ожгла солоноватым от огуречного рассола ртом. Целомудреннее поцелуя и не придумаешь. Но Виктора он шокировал. На это она и надеялась.

— Господи боже. — В голосе Виктора слышались и отвращение, и похоть.

Он расправил массивные плечи, заправил потуже мешковатую рубашку. Ему вдруг как будто стало с нами неуютно, он заозирался в поисках поддержки, подкрепления, и я хотела было объяснить, что Саша мне не дочь, но потом решила — плевать, вечер пробудил во мне глупое,

необъяснимое чувство, будто я вернулась в мир после долгого отсутствия, снова оказалась среди живых.

1969

6

За бассейн у нас всегда отвечал отец — водил сачком по воде, сваливал в кучу мокрые листья. Проверял уровень хлорки бумажками из разноцветных колбочек. Не сказать, чтоб он уж очень усердствовал, но после его ухода бассейн стал совсем запущенным. Рядом с фильтром нежились саламандры. Я плыла возле бортика, как будто расталкивая вязкую воду, за мной тянулись какие-то сопли. Мать была на очередной терапии. Она обещала купить мне новый купальник, но забыла, поэтому я надела старый, оранжевый — теперь цвета пожухлой дыни — со сморщенными обтачками и торчащими из трусиков нитками. Купальник был мне маловат в груди, зато декольте вышло по-взрослому внушительным, это меня радовало.

С праздника солнцестояния прошла всего неделя, а я уже снова побывала на ранчо и уже воровала деньги для Сюзанны, по купюре за раз. Я, конечно, люблю думать, что на все это ушло гораздо больше времени. Что меня месяцами туда заманивали, потихонечку приручали. Но я была ростовой мишенью, я сама шла им в руки. Я качалась на воде, ряска липла к волосам на руках, будто металлическая стружка к магниту. Шелестели страницы, кто-то забыл на шезлонге книжку в мягкой обложке. Листья на деревьях серебрились, посверкивали чешуйками, все наливалось ленивым июньским зноем. Разве деревья возле дома всегда были такими странными, такими акватическими? Или, может, вокруг меня все уже менялось, глупый хлам нормального мира превращался в роскошные декорации новой жизни?

Наутро после солнцестояния Сюзанна отвезла меня домой, велосипед мы закинули на заднее сиденье. Я столько выкурила, что во рту было непривычно, слишком сухо, одежда стала несвежей от пота и пропахла костром. То и дело я вытаскивала из волос соломинки — волнующие свидетельства прошлой ночи, своего рода печати в паспорте. Все наконец-то случилось, и я собирала приятные подробности в один наглядный список: вот я сижу с Сюзанной, вот мы с ней дружелюбно молчим. Извращенная гордость за то, что у нас было с Расселлом. Я с удовольствием перебирала все детали случившегося, даже самые скучные и неприглядные. Небольшие перерывы, пока Расселл заново взбадривал член. В прямолинейности телесных позывов была какая-то сила. Как мне объяснил Расселл, — тело тебя вытащит из любых комплексов, ты ему

только не мешай.

Всю дорогу Сюзанна курила, изредка предлагая мне сигарету, этакий благостный ритуал. Наше молчание не было ни унылым, ни напряженным. За окнами мелькали оливковые деревья, выжженная летняя земля. Вдалеке сползали в море каналы. Сюзанна постоянно переключала станции, потом резко выключила радио.

— Нам нужно заправиться, — объявила она.

Нам, отозвалась я молчаливым эхом, *нам* нужно заправиться.

Сюзанна остановилась возле “Тексако”, на заправке было пусто — стоял один бело-зеленый пикап с лодкой в прицепе.

— Дай карточку, — сказала Сюзанна, кивнув в сторону бардачка.

Я кинулась открывать, на меня вывалилась гора кредиток. На всех — разные имена.

— Синюю, — нетерпеливо сказала она.

Я протянула ей карточку, и тут она заметила мое недоумение.

— Нам их дарят, — сказала она. — Ну или мы сами берем. — Она повертела синюю карточку: — Вот эта, например, — Донны. Она стащила ее у матери.

— Ее карточку на бензин?

— Зато с голой жопой не ходим, не голодаем, — сказала Сюзанна. — Ты же тогда стырила нам туалетную бумагу.

Я покраснела. Может быть, она знала, что я тогда соврала, но по ее непроницаемому лицу понять было нельзя — может, и не знала.

— Кроме того, — продолжила она, — лучше мы их потратим, чем они. Накупят еще больше говна, еще больше вещей, еще больше для себя, себя, себя. Расселл хочет помочь людям. Он никого не осуждает, это не его трип. Ему плевать, богатый ты или бедный.

Все, что говорила Сюзанна, вроде казалось логичным. Они всего-то пытались уравновесить баланс сил в мире.

— А все это. — Она прислонилась к машине, зорко следя за стрелкой датчика, они никогда не наливали больше четверти бака. — Деньги — это это, поэтому люди не хотят с ними расставаться. Защищают себя, прикрываются ими как одеялом. И сами не видят, как становятся их рабами. Больные люди.

Она рассмеялась.

— А самое-то смешное, как только все всем раздашь, как только скажешь — нате, забирайте все, — вот тогда-то у тебя сразу и есть все на свете.

Во время их очередного заплыва по мусорным бакам одну девочку

задержала полиция, и Сюзанна, вырвав обратную дорогу, с негодованием рассказывала мне эту историю.

— Все больше магазинов просекают эту фишку. Но это же херня! — говорила она. — Они ведь это уже выкинули, так нет, все равно не отдают. Вот она, Америка.

— Вот херня. — Во рту было странно от этого слова.

— Мы что-нибудь придумаем. Скоро. — Она глянула в зеркало заднего вида. — С деньгами напряг. Но тут уж никуда не денешься. Ты, наверное, и не знаешь, каково это.

Она почти не злобствовала — говорила просто, как об очевидной истине. Добродушно пожав плечами, смирялась с реальностью. Тогда-то мне разом и пришла в голову эта идея, словно бы я сама все придумала. Такой она и казалась — идеальным решением, вот она сияет, игрушка-безделушка, только руку протяни.

— Я могу достать денег. — Как же меня потом передергивало от собственного рвения. — Мама вечно кошелек где попало оставляет.

Я не врал. Я постоянно натыкалась на деньги — в выдвижных ящиках, на столах, мать забывала их даже на раковине. Мне выдавали карманные деньги, и мать часто по ошибке отсчитывала больше положенного, а то и просто лениво махала рукой в сторону кошелька.

“Возьми там, сколько тебе нужно”, — всегда говорила она. Но я никогда не брала больше положенного и всегда прилежно возвращала сдачу.

— Ой, нет, — сказала Сюзанна, щелчком выбросив окурок в окно. — Это совсем необязательно. Хотя ты лапочка, конечно, — добавила она. — Спасибо, что предложила.

— Я хочу помочь.

Она сжала губы — вроде колеблясь, в животе у меня как будто что-то перекошилось, вспыхнуло.

— Я не хочу, чтобы ты делала что-то, чего ты делать не хочешь. — Она коротко рассмеялась. — Я вообще не про это.

— Но я хочу, — сказала я. — Я хочу помочь.

С минуту Сюзанна молчала, потом, не поворачивая головы, улыбнулась.

— О'кей, — сказала она. По ее голосу я поняла, что это и станет проверкой. — Ты хочешь помочь. Ты можешь помочь.

Так я стала преступницей, а мать — моей ничего не подозревающей жертвой. Я даже смогла извиниться за скандал, когда мы вечером

столкнулись с ней в тишине коридора. Мать легонько пожала плечами, но приняла извинения с храброй улыбкой. Раньше меня это встревожило бы, такая вот храбрая дрожащая улыбка, но новая я только склонила голову в униженном раскаянии. Я притворялась дочерью, вела себя как дочь. В глубине души я радовалась тому, сколько всего я от нее утаила, тому, что с каждым взглядом, с каждым словом я ей врала. Ночь с Расселлом, ранчо, секретное пространство, которое я отгородила от нее. Пусть забирает себе остов моей прежней жизни, все засохшие объедки, на здоровье.

— Ты так рано вернулась, — сказала она. — Я думала, ты снова заночуешь у Конни.

— Неохота было.

Так странно было вспомнить о Конни, рывком вернуться в обычную жизнь. Впрочем, я удивилась бы, даже почувствовав, например, самый заурядный голод. Мне хотелось, чтобы вместе с переменами заметно перестроился и весь мир, чтобы место разрыва было отмечено заплаткой.

Мать смягчилась.

— Я просто радуюсь, потому что хотела побыть с тобой. Ты, я и больше никого. Давно мы так не собирались, да? Может, бефстроганов приготовить? Или фрикадельки? Как ты на это смотришь?

Я насторожилась: сама мать в дом никакой еды не покупала, это я составляла ей списки продуктов, которые она обнаруживала, вернувшись со своей терапии. А мяса мы вообще сто лет не ели. Сэл сказала матери, что есть мясо все равно что есть страх, а когда ешь страх — толстеешь.

— Можно фрикадельки, — смилостивилась я.

Даже видеть не хотелось, до чего она обрадовалась. Мать включила на кухне радио — простенькие милые песни, которые я любила в детстве. За рекой, наедине с мечтой, мы с тобой. Узнай Сюзанна или даже Конни, что я такое слушаю, я бы со стыда сгорела — до того незатейливая, бодренькая и старомодная это была музыка, — но я тайком, в глубине души продолжала любить эти песенки. Мать подпевала, когда знала слова. Она вся разругалась от наигранного энтузиазма, и веселость ее была заразной. Ее осанку вылепили годы конных шоу, подростком она улыбалась с гладких спин арабских скакунов, огни арены отскакивали от корки стразов у нее на воротнике. Когда я была младше, она казалась мне такой загадочной. Я так робела, глядя, как она ходит по дому, шаркает тапочками. Заставляла ее рассказывать о том, откуда взялись ее украшения, одно за другим, будто читать стихи.

Дома было чисто, окна делили ночь на темные отрезки, ноги утопали в мягких коврах. Совсем не так, как на ранчо, и мне, наверное, полагалось

чувствовать себя виноватой — стыдиться того, что живу в комфорте, что сейчас буду с матерью ужинать в нашей чистенькой, опрятной кухне. А что сейчас делали Сюзанна и остальные девочки? Я вдруг поняла, что даже представить себе не могу.

— Как там дела у Конни? — спросила мать, перебирая карточки с рецептами.

— Нормально.

Ну а как еще. Смотрит, наверное, как Мэй Лопес полирует брекеты.

— Слушай, — сказала мать, — она ведь и к нам в гости приходит может. А то вы с ней в последнее время все больше у нее дома торчите.

— Ее отцу все равно.

— Я по ней соскучилась, — сказала мать, хотя Конни ее всегда озадачивала, точно какая-нибудь незамужняя тетушка, которую с трудом выносишь. — Давай съездим в Палм-Спрингс или еще куда-нибудь? — Видно было, что ей не терпелось это предложить. — Можем и Конни взять, если хочешь.

— Ну не знаю.

Может, будет хорошо. Мы с Конни дурачимся на прожаренном от солнца заднем сиденье, пьем молочные коктейли на финиковой ферме где-нибудь на окраине Индио.

— Угу, — пробормотала она. — Можем съездить через недельку-другую, только вот, солнышко... — Пауза. — Фрэнк, наверное, тоже к нам присоединится.

— Никуда я не поеду с тобой и твоим дружкой. Она вроде улыбалась, но видно было, она чего-то недоговаривает. Радио играло слишком громко.

— Солнышко, — снова начала она, — ну как же мы будем жить все вместе...

— Что?!

Как же противно, что я в таких случаях сразу срываюсь на капризный визг, и все, прощай серьезность. — Ну не прямо сейчас, нет, конечно. — Она поджала губы. — Но если Фрэнк к нам переберется...

— Я тоже здесь живу, — сказала я. — То есть в один прекрасный день он бы просто сюда переехал, а ты бы мне и слова не сказала?

— Тебе всего четырнадцать.

— Ой, ну что за херня.

— Эй! Ты смотри у меня, — сказала она, зажав ладони под мышками. — Не знаю, зачем ты мне грубишь, но давай-ка прекращай с этим, и побыстрее.

Близость ее умоляющего лица, ее неприкрытая обида — от этого какое-

то биологическое отвращение к матери взметнулось во мне еще сильнее, как, например, когда я, учуяв железистый запахок в ванной, понимала, что у нее месячные.

— Я пытаюсь сделать что-то хорошее, — сказала она. — Подругу вот твою решила позвать. Можно со мной полегче?

Я расхохоталась, но к хохоту примешивалось гадливое чувство предательства. Так вот зачем она решила приготовить ужин. И что еще хуже — до чего же легко меня купить.

— Твой Фрэнк — мудака.

Она вспыхнула, но усилием воли сдержалась.

— Веди себя прилично. Это моя жизнь, ясно тебе?

Я просто хочу быть хоть капельку счастливой, и тебе нужно мне в этом помочь. Поможешь?

Она заслужила свою бескровную жизнь, все эти скудные, девчачьи метания.

— Ладно, — сказала я. — Ладно. Удачи тебе с Фрэнком.

Она нахмурилась:

— Это что значит?

— Ничего.

Запахло сырым, оттаявшим мясом, острыми тонами холодного металла. У меня сжался желудок.

— Есть больше не хочется, — сказала я и вышла из кухни.

Радио по-прежнему передавало песенки о первой любви и танцах у реки, мясо достаточно разморозилось, и теперь матери придется его приготовить, хотя есть это никто не будет.

После такого я легко себя убедила, что деньги мне, в общем-то, причитаются. По словам Расселла, почти все люди думали только о себе и не умели любить, — похоже, это и к матери относилось, и к отцу, свившему вместе с Тамар гнездышко в Пало-Альто. Мне это казалось справедливым обменом. Как будто из денег, которые я по купюре таскала у матери, можно было сложить равноценную замену тому, что у меня отняли. Думать, что, возможно, у меня ничего и не отнимали, было невыносимо. Что мы и не дружили по-настоящему с Конни, что Питера мое детское обожание только раздражало, а других чувств он ко мне не испытывал.

Мать, как всегда, бросала кошелек где попало, и от этого деньги в нем теряли свою ценность, казались чем-то, что она не воспринимает всерьез. Но рыться в ее вещах было не слишком-то приятно — все равно что

копаться в позвякивающем содержимом ее мозга. Куча личного хлама: обертка от карамельки, карточка с мантрой, карманное зеркальце. Цилиндрик с кремом цвета пластыря, которым она замазывала синяки под глазами. Я стащила десятку, сунула в карман шорт. Даже если мать меня застукает, скажу, что хотела купить продуктов, — чего тут подозрительного? Ее дочка всегда была такой хорошей девочкой, жаль, конечно, что такой заурядной.

Удивительно, но мне почти не было стыдно. Наоборот, мне казалось, что таскать деньги у матери — это даже справедливо. Я поднабралась наглости у обитателей ранчо, их уверенности в том, что можно брать все, что хочется. Зная о припрятанных деньгах, я могла наутро спокойно улыбнуться матери, вести себя так, будто накануне вечером мы ничего друг другу не наговорили. Терпеливо стоять, пока она без спросу зачесывала мне челку.

— Не прячь глаза, — говорила мать, дыша горячо и близко, приглаживая мне волосы.

Мне хотелось ее оттолкнуть, отпрыгнуть, но я стояла на месте.

— Вот так, — довольно сказала она, — вот такая славная у меня дочка.

Бултыхаясь в бассейне, держа голову над водой, я думала о деньгах. В том, как мой кошелечек на молнии постепенно заполнялся купюрами, было что-то очень правильное. Я любила пересчитывать деньги, особенно когда удавалось разжиться пятеркой или десяткой. Банкноты поновее я клала сверху, чтобы пачка выглядела посимпатичнее. Представляла, как обрадуются Сюзанна с Расселлом, когда я принесу им деньги, грезила наяву, проваливаясь в сладостный, шальной туман.

Закрыв глаза, я покачивалась на воде и открыла их, только услышав за деревьями какой-то шум. Олень, наверное. Я напряглась, завозилась в воде. О том, что там мог быть человек, я и не подумала: тогда такое никому и в голову не приходило. Это все позже началось. Да и вообще оказалось, что это далматинец, — пес выскочил из-за деревьев, подбежал к самому бассейну. Он серьезно меня оглядел и залаял.

Пес казался мне странным, весь в пятнах и метинах, и лаял он с пронзительной, человеческой тревогой. Его хозяевами были наши соседи слева — Даттоны. Муж написал музыку к какому-то фильму, и я слышала, как на вечеринках жена издевательски напевала эту мелодию гостям. Их сын был младше меня. Он частенько стрелял во дворе из воздушки, а пес возбужденно ему подвывал. Кличку собаки я забыла.

— Вали. — Я вяло поплескала водой в его сторону. Вылезать не

хотелось. — Пошел отсюда.

Пес не умолкал.

— Пошел! — сказала я снова, но он только громче залаял.

Я натянула шорты на купальник, и они промокли, пока я дошла до Даттонов. Я надела пробковые босоножки с грязными отпечатками моих ступней на стельках, пса волокла за ошейник. С волос у меня капало. Дверь открыл Тедди Даттон. Ему было лет одиннадцать или двенадцать, ноги — в болячках и царапинах. В прошлом году он упал с дерева и сломал руку, в больницу его отвезла моя мать, мрачно бормоча себе под нос, что родители, мол, слишком часто оставляют его без присмотра. Я с Тедди почти не общалась, разве что на местных вечеринках, где всех, кому не было восемнадцати, сгоняли в кучу и заставляли дружить. Иногда я видела, как они с каким-то очкариком катались на велосипедах по пожарной дороге. Однажды нашли бездомного котенка, Тедди притащил кроху под рубашкой и дал мне погладить. У котенка гноились глаза, но Тедди обращался с ним нежно, будто юная мама. Как раз тогда мы с ним в последний раз и общались.

— Привет, — сказала я, когда Тедди открыл дверь. — Забери собаку.

Тедди вытаращился на меня так, будто мы с ним и не жили всю жизнь по соседству. Он молчал, я закатила глаза.

— Он у нас во дворе бегал, — продолжила я.

Пес рвался из моих рук.

Через секунду Тедди обрел дар речи, но сначала беспомощно заглянул мне в вырез купальника, в раздутый напор декольте. Увидев, что я это заметила, он смутился еще больше. Сердито посмотрел на пса, схватил его за ошейник.

— Плохой Тики, — сказал он, заталкивая пса в дом, — плохой мальчик.

Я удивилась, осознав, что Тедди Даттон нервничает из-за меня. Конечно, когда мы в прошлый раз виделись, у меня и бикини-то не было, а теперь еще и грудь выросла, чему я сама была несказанно рада, но все равно — его интерес казался мне смешным. Однажды в туалете кинотеатра мы с Конни наткнулись на эксгибициониста — я не сразу поняла, почему мужик так пыхтит, хватая как рыба ртом воздух, но потом увидела пенис, торчавший из ширинки, будто рука из рукава. Мужик глядел на нас, точно мы были бабочками, которых он хотел пришить к доске. Конни схватила меня за руку, и мы с хохотом убежали, в кулаке я сжимала изюм в шоколаде, и он растаял. Потом мы говорили, как это мерзко, — с возмущением, но, впрочем, и с гордостью тоже. Патрисия Белл однажды

таким же довольным тоном спросила после уроков, заметила ли я, как мистер Гаррисон на нее пялился, не кажется ли мне, что это как-то *странно*?

— У него лапы мокрые, — сказала я. — Наследит на полу.

— Родителей нет дома. Так что наплевать.

Тедди так и стоял в дверях, неуклюже выжидая чего-то; он что, думает, мы с ним гулять пойдем?

Он стоял там, будто какой-нибудь невезучий мальчик, которого эрекция настигла возле школьной доски, и безо всякой причины — его явно что-то удерживало на пороге. Возможно, на мне как-то по-новому сказался секс.

— Ладно, — сказала я. Я боялась, что расхохочусь — до того Тедди мучился. — Пока.

Тедди прокашлялся, постарался загнать голос в басы.

— Извини, — сказал он, — что Тики тебе мешал. Как это я поняла, что могу запудрить Тедди мозги? Почему я сразу решила, что именно это и сделаю?

Со дня солнцестояния я была на ранчо всего дважды, но уже потихоньку перенимала другое видение мира, другую логику. Почти все люди, говорил Расселл, ходят по линейке, корпоративные правила парализуют людей, делают из них рабов, послушных, как обколотые лабораторные шимпанзе. А мы, обитатели ранчо, вышли совсем на другой уровень, мы противостоям этой мерзкой лавине, так и что с того, если иногда нам приходится пудрить этим рабам мозги, ведь нас ждут другие цели, другие миры? Если разорвать устаревшие договоренности, говорил Расселл, если отказаться от всех этих дутых страшилок, которыми нас пичкают на общественности, в церквях, в кабинетах директоров, сразу поймешь, что “хорошо” и “плохо” просто не существует. Его вольные выкладки превращали эти понятия в пустые оболочки, медали потерявшего власть режима.

Я попросила у Тедди попить. Думала, он принесет мне лимонада или газировки, да чего угодно, но не того, что было в стакане, который он протянул мне трясущейся рукой.

— Салфетка нужна? — спросил он.

— Не-а.

Его напряженное внимание было похоже на прожектор, я даже слегка рассмеялась. Я только-только начала привыкать к тому, что на меня смотрят. Я сделала большой глоток. В стакане была водка, чуть

помутневшая от пары капель апельсинового сока. Я закашлялась.

— Родители разрешают тебе пить? — спросила я, вытирая рот.

— Я сам себе все разрешаю, — ответил он гордо и в то же время неуверенно.

Глаза у него заблестели, видно было, как он прикидывает, что еще сказать. Так странно было смотреть, как не ты, а кто-то другой все просчитывает и нервничает из-за своего поведения. Вот так, интересно, Питер ко мне относился? С небольшим запасом терпения, с немного тревожным ощущением власти, которое ударяло в голову? Веснушчатое лицо Тедди — раскрасневшееся, услужливое. Он был всего-то на два года младше меня, но разрыв казался неодолимым. Я сделала еще один большой глоток, Тедди прокашлялся.

— У меня есть наркота, — сказал он. — Хочешь?

Тедди привел меня к себе в комнату, с надеждой смотрел, как я разглядываю его мальчишеские трофеи. Он явно выставил их напоказ, хотя там был один хлам: капитанские часы с замершими стрелками, сто лет как позаброшенный “Домашний муравейник”, кривой и заплесневелый. Хрупкий треугольничек — часть наконечника стрелы, банка с монетками, грязными и позеленевшими, как затонувшее сокровище. Раньше я бы начала шутить с Тедди. Спросила бы у него, где он раздобыл обломок наконечника, или рассказала бы, как однажды нашла целый, обсидиановое острие было таким острым, что можно порезаться. Но я чувствовала, что нужно оставаться высокомерной недотрогой, вести себя, как Сюзанна тогда в парке. Я уже начинала понимать, что чужое восхищение кое-чего от тебя требует. Что себя нужно лепить под него. Травка, которую Тедди вытащил из-под матраса, оказалась коричневым крошечком, такое и не покуришь, но он протянул мне пакетик с мрачным достоинством.

Я рассмеялась:

— Это грязь, что ли? Нет уж, спасибо.

Его это задело, он затолкал пакетик поглубже в карман. Я поняла, что это был его козырь и, как он думал, беспронятный. Долго ли он продержал его там, под матрасом, в ожидании удобного случая? Внезапно мне стало жаль Тедди — в полосатой рубашке, с обмякшим от грязи воротничком. Еще можно уйти, сказала я себе. Поставить опустевший стакан, небрежно поблагодарить, вернуться домой. Деньги можно раздобыть и другими способами. Но я не ушла. Он уселся на кровать и глядел на меня — растерянно, пристально, словно отвернись он, и чары рассеются и я исчезну.

— Хочешь, я достану нормальной травы? — спросила я. — Качество отличное. Я знаю тут одного мужика.

Он был так благодарен, что мне стало стыдно.

— Правда?

— Ну да.

Я поправила лямку купальника, он это заметил.

— У тебя деньги есть? — спросила я.

Он вытащил из кармана три мокрых, скомканных доллара и не раздумывая протянул их мне. Я деловито их припрятала. Стоило мне завладеть даже такой небольшой суммой, и во мне запылало навязчивое желание, стремление выяснить, сколько я стою. Меня будоражило это уравнение. Можно быть красивой, можно быть желанной и поэтому — можно иметь цену. Торговля, и ничего лишнего, мне это нравилось. А может, я уже начала подмечать это, общаясь с мужчинами, — какой-то оттенок неловкости, боязнь, что их надуют. Здесь, по крайней мере, и мне хоть что-то перепадет.

— А родители? — спросила я. — Они денег нигде не оставили?

Он быстро глянул на меня.

— Их ведь нет дома, — нетерпеливо вздохнула я. — Так что какая разница.

Тедди кашлянул. Пришел в себя.

— Ну да, — сказал он. — Сейчас поищу.

Тедди провел меня наверх, пес протопал за нами. Полутемная родительская спальня показалась мне и знакомой — на тумбочке стакан с затхлой водой, лакированный подносик с флакончиками духов, — и чужой. В углу обмякли отцовские брюки, в изножье кровати стояла банкетка. Я нервничала, видно было, что Тедди нервничает тоже. Было что-то неприличное в том, чтобы вот так, посреди бела дня, войти в спальню его родителей. Снаружи жаркое солнце расчерчивало жалюзи.

Тедди прошел в гардеробную, я пошла за ним. Если не отходить от него, не будет казаться, будто я сюда вломилась без спросу. Он встал на цыпочки, зашарил в стоявшей наверху коробке. Пока он там рылся, я раздергивала одежду, висевшую на фасонистых шелковых вешалках. Вещи матери. Блузки “в огурцах” и с огромными бантами, угрюмый, тесный твид. Все они казались театральными костюмами, безличными и не вполне реальными, пока я не потянула за рукав желтоватой блузки. У матери была точно такая же, и мне стало не по себе, знакомый золотой ярлычок *I. Magnin* показался упреком. Я выпустила рукав.

— А побыстрее нельзя? — зашипела я на Тедди, и он промычал что-то в ответ, залез поглубже в коробку и наконец вытащил несколько новеньких банкнот.

Он затолкал коробку обратно и, пыхтя, смотрел, как я пересчитываю деньги.

— Шестьдесят пять, — сказала я.

Я выровняла стопку, сложила вдвое, до ощутимой пухлости.

— Столько хватит?

По его лицу, даже по его шумному дыханию было понятно — попроси я больше денег, и он их добудет. Отчасти мне этого даже хотелось. Упиваться новым для меня чувством власти, проверить, надолго ли еще его хватит. Но тут мы оба вздрогнули: в комнату прискакал Тики. Он фыркал, тыкался носом в ноги Тедди. Я заметила, что у пса даже язык был в пятнах, волнисто-розовый в черную крапинку.

— Вполне. — Я засунула деньги в карман.

Мокрые шорты кусались хлором.

— А когда товар принесешь? — спросил Тедди.

Я даже не сразу поняла, чего он на меня так многозначительно смотрит. Ах да, обещанная “наркота”.

Чуть не забыла, что я у него не просто денег вытребовала. Увидев мое лицо, он исправился:

— Ну, то есть, спешки никакой нет. Если это быстро не делается, ну или еще что.

— Сложно сказать.

Тики обнюхивал мою промежность, я оттолкнула его нос — грубее, чем хотела, перемазав ладонь в собачьих слюнях. Внезапно мне невыносимо захотелось уйти отсюда.

— Наверное, скоро, — я пошла к двери, — принесу, когда достану.

— Ага, — сказал Тедди. — Ага, хорошо.

На крыльце меня охватило неловкое ощущение, будто я — хозяйка дома, а Тедди у меня в гостях. Музыка ветра над дверью подергивалась в слабой песенке. Солнце, деревья, белесые холмы вдали, казалось, манили великими свободами — теперь можно забыть о сделанном, окунуться в другие хлопоты. В кармане лежал приятный, мясистый прямоугольничек купюр. Я посмотрела на веснушчатое лицо Тедди, и на меня вдруг нахлынула внезапная целомудренная нежность — будто к младшему братишке. Как нежно он тогда нянчил бездомного котенка.

— До скорого, — сказала я и, наклонившись, поцеловала его в щеку. Я

похвалила себя за этот милый жест, за доброту, но тут Тедди вильнул бедрами, сжал их, будто хотел прикрыться, и, выпрямившись, я увидела, как эрекция упрямо рвется из его джинсов.

Почти весь путь можно было проделать на велосипеде. Адоброуд — дорога пустынная, так, проедет изредка мотоцикл или коневозка. Если появлялась машина — значит, кто-то ехал на ранчо, и тогда я доезжала с ними, выставив велосипед в окно. Девочки в шортах и деревянных сандалиях, с пластмассовыми колечками из автоматов возле “Рексолла” [7]. Вечно сбивавшиеся с мысли мальчики, которые, очнувшись, остолбенело улыбались, словно вернувшиеся на землю космические туристы. Мы обменивались едва заметными кивками, все ловили одни и те же невидимые частоты.

Я не то чтобы не помнила, как жила до Сюзанны и девочек, но жизнь эта была ограниченной, предсказуемой, все предметы и все люди находились на понятных орбитах. Бисквитный торт, который мать пекла на каждый мой день рождения, плотный, подмерзший в холодильнике. Девочки из школы, которые перекусывали, сидя на рюкзаках прямо на асфальте. С тех пор как я повстречала Сюзанну, моя жизнь на этом фоне вдруг проступила четким, загадочным рельефом, за изведанным миром оказался другой мир, потайной ход за книжным шкафом. Бывало, я ела яблоко и ловила себя на том, что благодарна за каждый проглоченный мной кусок сочной мякоти. На дубовых листьях над головой вдруг оседлали прозрачные капли росы. Все казалось подсказками к загадке, которую можно было и поотгадывать, хоть я об этом и не знала.

Мы с Сюзанной прошли мимо припаркованных у крыльца мотоциклов, огромных, грузных, как коровы. Мужчины в джинсовых жилетах сидели рядом на камнях и курили. От запаха лам в загончике воздух кусался: занятая смесь пота, сена и засохшего на солнце навоза.

— Эй, зайки, — окликнул нас какой-то мужик. Потягиваясь так, что пузо расперло рубаху девятым месяцем.

Сюзанна улыбнулась в ответ, но меня увела.

— С ними постоишь, сразу лапоть начинают, — сказала она, но все равно расправила плечи, чтобы грудь торчала заметнее.

Когда я оглянулась, мужик по-змеиному быстро несколько раз высунул язык.

— Но вообще Расселл всем помогает, — сказала Сюзанна. — И знаешь

что — с этими мотоциклистами свиньи не связываются. А это важно.

— Почему?

— Потому что копы ненавидят Расселла, — ответила она так, словно это было нечто само собой разумеющееся. — Они ненавидят всех, кто хочет освободить людей от системы. Но пока эти ребята тут, они держатся от нас подальше. — Она покачала головой. — А самая херня-то в чем? Свиньи — такие же пленники системы. В этих своих сраных начищенных ботинках.

Я всеми силами подогрела в себе праведное негодование: мы с истиной были в одной лодке. Сюзанна вела меня на луг за домом, откуда доносился костровой гул слаженных голосов. В кармане у меня лежала туго скрученная пачка денег, и я все порывалась рассказать о них Сюзанне, но никак не решалась, боясь, что это слишком скудное подношение. В конце концов, пока мы шли к остальным, я тронула ее плечо.

— Я могу еще достать, — нервничая, сказала я.

Мне просто хотелось рассказать ей о деньгах, я воображала, что сама отдам их Расселлу. Но Сюзанна быстро меня в этом разубедила. Я решила не обращать внимания на то, как проворно она выхватила у меня деньги, как сосчитала их взглядом. Было видно, что сумма ее приятно удивила.

— Молодец.

Солнце упиралось в жестяные сараюшки, дробило дымок. Кто-то зажег ароматическую палочку, но она то и дело затухала. Расселл переводил взгляд с одного лица на другое — мы все сидели у его ног, — и я покраснела, когда он посмотрел мне в глаза. Похоже, он совершенно не удивился тому, что я вернулась. Сюзанна положила руку мне на спину — легонько, властно, и на меня нахлынула тишина — будто я в кинотеатре или в церкви. Ее рука на спине словно парализовала меня, я ощущала ее всем телом. Донна теребила прядки рыжих волос. Сплетала их в тугие ажурные косички, отпиливая посекавшиеся концы заостренными ногтями.

Когда Расселл пел, он казался моложе. Всклокоченные волосы он собрал в хвост, а на гитаре играл забавно, театрально, будто ковбой из вестерна. Не скажу, конечно, что лучше голоса я в жизни не слышала, но в тот день — солнце у меня на ногах, щетинка мятлика, — в тот день его голос так и скользил по мне, им был пропитан сам воздух, и меня как будто пригвоздило к земле. Я не смогла бы уйти, даже если бы захотела, даже если бы мне и было куда идти.

Расселл допел песню, наступило затишье, и Сюзанна в наглухо пропылившемся платье пробралась к нему. Зашептала что-то ему на ухо, выражение лица у него изменилось, он кивнул. Сжал ее плечо. Она сунула

ему пачку денег, и Расселл положил их в карман. Придержал его пальцами, будто благословляя.

Расселл сощурился:

— Прекрасные новости. Дорогуши, у нас появились кое-какие средства. А все потому, что кто-то доверился нам, доверил нам свое сердце.

По мне будто искорка пробежала. Внезапно оказалось, что все было не зря — выуживание денег из материнского кошелька, тишина в спальне у родителей Тедди. Махом вся тревога ушла, на ее место заступило чувство, что я тут не чужая. Сюзанна с обрадованным видом юркнула обратно ко мне.

— Малышка Эви открыла нам свое щедрое сердце, — сказал Расселл. — Открыла нам что? Свою любовь. Все обернулись ко мне, и в мою сторону потек пульсирующий ток благожелательности.

Остаток дня промелькнул дремотной солнечной полосой. Тощие псы укрылись под домом и лежали там, вывалив языки. На ступеньках сидели мы одни — Сюзанна, положив голову мне на колени, пересказывала обрывки сна. Изредка она прерывалась, чтобы оторвать зубами кусок багета.

— Мне казалось, будто я знаю язык жестов, но я сама видела, что ничего я не знаю, а просто машу руками. Но этот мужик понял все, что я говорила, как будто я по правде знала язык жестов. Но потом оказалось, что он только притворялся глухим, — сказала она, — в конце. Все было ненастоящим — я, он, весь поезд. Она рассмеялась запоздало, резким приставным смехом, — я так рада была узнать хоть что-то о ее внутреннем мире, секретик, предназначенный мне одной. Не знаю, сколько мы там сидели, мы обе с ней оторвались от ритмов привычной жизни. Но именно этого я и хотела — чувствовать себя разом и новой, и иной, с головой окунуться в эту особость, важность. Очутиться с ней словно бы в одной песне.

Мы, сообщил нам Расселл, строим новое общество. Без расизма, без неравноправия, без иерархий. Мы служим глубочайшей любви. Это он так сказал — глубочайшей любви, его голос грохотал из домика-развалюхи посреди калифорнийских лугов, и мы играли друг с другом, будто собаки, кувыркались, кусались и задыхались от солнечного зноя. Почти все мы едва-едва стали взрослыми, и зубы у нас еще были молочными и новенькими. Мы ели все, что нам давали. Овсянку, которая склеивалась в горле. Хлеб с кетчупом, консервированную вяленую говядину. Плававшую

в растительном масле картошку.

— Мисс-1969, — звала меня Сюзанна. — И вся — наша.

И они именно так со мной и обращались, как с новой игрушкой, по очереди ходили со мной под ручку, дрались за то, чтобы заплести в косы мои длинные волосы. Поддразнивали из-за школы-пансиона, о которой я как-то проговорила, из-за знаменитой бабки, чье имя было даже кому-то знакомо. Из-за чистых белых носков. Все остальные были с Расселлом уже несколько месяцев, а то и лет. Вот оно, кстати, мое самое первое недоумение, которое, впрочем, потихоньку выветривалось с каждым новым днем, проведенным на ранчо. Где же их семьи, где, например, семья Сюзанны? Или Хелен, та, которая с детским голоском, — иногда она говорила о доме в Юджине. Об отце, который каждый месяц ставил ей клизмы, а после тенниса растирал ляжки ментоловой мазью, не говоря уже о других гигиенических процедурах сомнительного характера. Но где же он? И если хоть одна девочка дома получала все, в чем нуждалась, почему же они тогда сидели тут целыми днями, почему их время на ранчо растягивалось до бесконечности?

Сюзанна спала допоздна и раньше полудня не вставала. Похмельная, неповоротливая, она двигалась на замедленной скорости. Как будто времени всегда хватает. Тогда я уже часто ночевала у Сюзанны. Мы с ней спали на неудобном, колючем от песка матрасе, но я не жаловалась. Иногда она, не просыпаясь, на ощупь находила меня, обвивала рукой, от ее тела исходило тепло, как от свежее испеченного хлеба. Я лежала без сна, до боли ощущая близость Сюзанны. Во сне она вертелась, сбрасывала покрывало, выставляла голую грудь.

По утрам ее комната была мрачными джунглями, гудрон на крыше пузырился от жары. Я сразу одевалась, хоть и знала, что мы не выйдем к остальным еще по меньшей мере час. Сюзанна всегда очень долго собиралась, хотя ничего особенно и не делала, сборы эти были просто вопросом времени — она постепенно влезала в самую себя. Я любила наблюдать за ней, сидя на матрасе, за тем, как славно, как безыскусно она изучала себя в зеркале невидящим взглядом девушки с портрета. В такие минуты ее голое тело делалось простеньким, даже детским, и, роясь в мусорных мешках с одеждой, она наклонялась так, что были видны все его недостатки. Меня это утешало, эта ее человечность. Грубые от щетины голени, точки угрей.

В Сан-Франциско Сюзанна работала стриптизершей. На вывеске клуба вспыхивала неоновая змея, красное яблоко отбрасывало на прохожих

инопланетный свет. Напарница свела ей за кулисами родинки, прижгла щелочным карандашом.

— Некоторые девочки это все терпеть не могли, — сказала она, натягивая платье на свою наготу. — Танцы, вообще сам клуб. Но как по мне, не так уж там было и плохо.

Она оглядела платье в зеркале, ухватила себя за грудь.

— Люди такими ханжами бывают, — сказала она.

Похотливо оскалилась, посмеялась над собой, убрала руки с груди. И рассказала мне, как Расселл трахал ее иногда нежно, а иногда — не очень, и что хорошо могло быть и так, и так.

— И ничего дурного в этом нет, — сказала она. — Знаешь, все самые стыдливые, все, кто ведет себя так, будто это чистое зло, — вот они-то и есть настоящие извращенцы. Были такие мужики, которые приходили на нас попятиться. Они нас ненавидели за то, что туда пришли. Как будто мы их обманом туда заманили.

О семье и родном городе Сюзанна почти не рассказывала, а я не спрашивала. На запястье у нее глянцево вздувался шрам, который она с трагической гордостью обводила пальцем, а как-то раз проговорила, сказала что-то о сырой улочке на окраине Ред-Блаффа. И тут же осеклась. “Эта пизда”, — безмятежно отзывалась она о матери. Из меня так и рвалась пьянящая солидарность, а она говорила устало и беспристрастно. Я считала, что мы-то с ней обе понимаем, что такое одиночество, хотя теперь мне это кажется такой чушью. Думать, что мы с ней похожи, когда я росла с прислугой и родителями, а она рассказывала, как одно время жила в машине, они раскладывали сиденья и спали, она — на пассажирском, мать — на водительском. А я ела, когда проголодаюсь. Но у нас с Сюзанной было кое-что общее, другой голод. Иногда мне до того хотелось, чтобы до меня дотронулись, что это желание выскребало меня изнутри. И то же самое я видела в Сюзанне, которая, едва завидев Расселла, подскакивала, как почуявший пищу зверь.

Сюзанна уехала вместе с Расселлом в Сан-Рафел — посмотреть грузовик. Я осталась на ранчо, тут было много работы — и я кинулась ее выполнять с рвением, замешанным на страхе. Мне не хотелось, чтобы у них появился повод меня прогнать. Я кормила лам, полола огород, скребла и мыла с хлоркой полы на кухне. Работа была еще одним способом показать свою любовь, предложить им себя самое.

На то, чтобы наполнить ламам поилку, уходило много времени, напор воды был в лучшем случае вяленьким, но было так приятно выйти во двор,

на солнце. Вокруг меня вились комары, выискивая оголенные участки тела, и я поминутно передергивала плечами, чтобы их отогнать. Ламам комары не мешали, и они неподвижно стояли в загоне — знойно, будто кинодивы, посматривая на нас из-под полуприкрытых век.

За домом Гай копался в автобусном моторе — с кислым любопытством, будто собирал проект для научной ярмарки в школе. Прерываясь, чтобы покурить или постоять в позе “собака мордой вниз”. То и дело он ходил в дом — за пивом из Расселловых запасов, проверяя заодно, все ли заняты работой. Они с Сюзанной были вроде старших воспитателей, могли одним словом или даже взглядом держать в узде Донну и всех остальных. Они будто спутники вращались вокруг Расселла, хотя их преклонение носило разный характер. Мне кажется, Гай следовал за Расселлом, потому что с его помощью он получал все, что хотел, — девочек, наркотики, крышу над головой. Он не был влюблен в Расселла, не падал ниц, не захлебывался от счастья в его присутствии — Гай, скорее, был его подельником, и в каждой его хвастливой истории о том, какие приключения им пришлось пережить и какие трудности вытерпеть, героем всегда был только он.

Он подошел к загончику — в одной руке и сигарета, и банка с пивом, джинсы съехали на бедра. Я знала, что он наблюдает за мной, и сосредоточилась на шланге, на теплом вздымании воды в поилке.

— Дым их отгоняет, — сказал Гай, и я обернулась, как будто только что его заметила. — Комаров, — добавил он, протягивая мне сигарету.

— Ага, — ответила я, — точно. Спасибо.

Я перегнулась через заборчик, взяла сигарету, следя за тем, чтобы вода из шланга лилась в поилку.

— Сюзанну видела?

Вот и Гай уже думал, что я точно должна знать, где она. Мне льстило, что я сторож ее передвижениям.

— В Сан-Рафеле какой-то мужик грузовик продает, — ответила я. — Они с Расселлом поехали на него посмотреть.

Гай хмыкнул.

Он забрал у меня сигарету. Моя деловитость его как будто забавляла, хотя, наверное, он замечал фанатизм, предательски проступавший у меня на лице, стоило мне заговорить о Сюзанне. Как я бежала к ней семенящими шажками. Может быть, он не понимал, почему все это обожание направлено не на него, — он ведь красивый парень, привык, что девочки обращают на него внимание. Девочки втягивали животы, когда он лез к ним в джинсы, девочки верили, что украшения, которые он носил, — это милый признак его скрытых эмоциональных глубин.

— Наверное, в бесплатную клинику поехали, — сказал Гай.

Он жестами, дергая сигаретой, изобразил, будто у него чешется в паху. Хотел, чтобы я посмеялась над Сюзанной, хотел втянуть меня в какой-то заговор против нее — но я ничего не ответила, только мрачно улыбнулась. Он покачался на каблуках ковбойских сапог. Оглядел меня.

— Потом помоги Руз, — сказал он, допивая пиво. — Она на кухне.

Я уже сделала всю свою работу на сегодня, а работать с Руз на душевной кухне — еще та скучища, но я с мученическим видом кивнула.

Сюзанна рассказала мне, что Руз жила в Корпус-Кристи и была замужем за полицейским, и это походило на правду. Она вечно топталась где-то в сторонке с рассеяннотревожным видом, какой бывает у битых жен, и даже когда я предложила помочь ей с мытьем посуды, легонько вздрогнула. Я отскребла желеобразный налет на самой большой суповой кастрюле, от бесцветных ошметков еды губка стала вязкой. Гай, в свойственной ему подловатой манере, решил таким образом меня наказать, но я не очень-то расстроилась. Все беды отступили, когда вернулась Сюзанна. Она, задыхаясь, ворвалась на кухню.

— Мужик отдал Расселлу грузовик! — Раскрасневшаяся Сюзанна оглядывалась в поисках слушателей. Открыла шкафчик, порылась в нем. — Все прошло просто идеально, потому что он типа хотел двести баксов.

А Расселл ему и говорит, спокойно так, просто отдай его нам, и все.

Она рассмеялась, в ней еще не перебродил восторг, и уселась на кухонную стойку. Принялась грызть пыльный арахис из пакетика.

— Мужик сначала так взбесился, когда Расселл просто попросил у него грузовик. Бесплатно.

Руз слушала вполуха, разбирая продукты для ужина, но я выключила воду и глядела на Сюзанну всем телом.

— А Расселл сказал, давай сначала поговорим. Дай я тебе расскажу, что у меня и как. — Сюзанна сплюнула скорлупку в пакетик. — И мы с этим мужиком попили чаю, в этом его странном деревянном домишке.

Час пили, а то и больше. Расселл ему рассказал, как он все видит, все выложил. И мужик прямо серьезно заинтересовался нашими делами. Показал Расселлу старые армейские снимки. А потом говорит, мол, заберите грузовик за просто так.

Я вытерла руки о шорты, от ее ликования я вдруг застеснялась, отвернулась. Пока я домывала посуду, она, взгромоздившись на стойку, щелкала арахис один за другим, собирая скорлупу в неряшливую мокрую кучку, а доев все, что было в пакете, ушла искать новых слушателей.

Девочки обычно собирались у ручья, потому что там было прохладнее и дул свежий ветерок, хотя мухи так и роились. Покрытые ряской камни, сонная тень. Расселл вернулся из города на новом грузовике, привез шоколадных батончиков и комиксы. Страницы тотчас же разбухли в наших потных руках. Хелен сразу съела свой батончик и глядела на нас с завистливым волнением. Она тоже была из богатой семьи, но мы с ней так и не сошлись. Я считала ее скучной, а оживлялась она только рядом с Расселлом, когда ей было перед кем капризничать. Под его рукой она охорашивалась как кошка, вела себя так, будто она самая маленькая — даже младше меня, и эта ее недоразвитость позже стала казаться патологической.

— Господи, да хватит на меня пялиться, — сказала Сюзанна, убирая свою шоколадку подальше от Хелен. — Ты свою съела.

Она сидела на берегу рядом со мной, вдавливая пальцы ног в грязь. Дергаясь, когда над ухом пролетал комар.

— Всего кусочек, — ныла Хелен. — Один уголочек.

Руз подняла голову, на коленях у нее лежала мятая куча тонкой джинсовой ткани. Она чинила рабочую рубаху Гая, с безучастной точностью клала крохотные стежки.

— Я с тобой поделюсь, — сказала Донна, — замолчи только.

Она перебралась к Хелен, держа бугристый от арахиса батончик.

Хелен откусила кусок. Захихикала — зубы у нее все были вымазаны в шоколаде.

— Шоколадная йога, — объявила она.

Йогой могло быть все что угодно: мытье посуды, стрижка лам. Подготовка еды для Расселла. От всего нужно было ловить кайф, слушать, что тебе подсказывает ритм.

Переломать себя, подать себя вселенной на тарелочке, будто пыль.

Во всех книгах писали, что мужчины втянули в это девочек. Это было не так, не совсем так. Сюзанна вскидывала “Полароид Свингер” как ружье. Уламывала мужчин скинуть джинсы. Обнажить пенисы — беззащитные, мягкие, в темных гнездышках волос. Мужчины застенчиво улыбались на снимках, бледнели от предательской вспышки, одни волосы да влажные звериные глаза. “Камера не заряжена”, — говорила Сюзанна, хотя сама украла в магазине кассету. Мальчики притворялись, будто верят ей. И так было не только с фотографиями.

Я таскалась за Сюзанной, за ними всеми. Сюзанна разрешала мне маслом для загара рисовать у себя на голой спине луны и солнца, пока

Расселл брал на гитаре пару ленивых риффов, кокетливый, рваный отрывок. Хелен вздыхала, как изнывающая от любви малолетка, Руз, неуверенно улыбаясь, подсаживалась к нам, какой-то мальчик-подросток, которого я не знала, взирал на нас с благодарным восхищением, и никому даже говорить ничего было не нужно — в тишине было зашито столько всего.

Внутренне я была готова к тому, что Расселл снова начнет оказывать мне знаки внимания, но случилось это не скоро. Расселл загадочно кивнул, и я поняла, что должна пойти с ним.

Мы с Сюзанной мыли окна в доме — пол был замусорен мятой газетой, закапан уксусом, надрывался транзистор, мы работали с восторгом прогульщиц. Сюзанна подпевала радио, болтала со мной — с веселой, порывистой беззаботностью. Она казалась другой, когда мы с ней трудились вместе, она будто забывалась и размякала до настоящей себя. Так странно вспоминать, что ей было всего-то девятнадцать. Когда Расселл мне кивнул, я инстинктивно обернулась к ней. За разрешением или прощением или за тем и другим. Легкость на ее лице усохла до хрупкой маски. Она еще старательнее принялась тереть искривленное стекло. Когда я ушла, она дернула плечом — пока, мол, как будто ничего против и не имела, но я спиной чувствовала ее настороженный взгляд.

Каждый раз, когда Расселл вот так мне кивал, сердце у меня подпрыгивало, несмотря на странность всего происходящего. Я отчаянно ждала этих встреч, отчаянно желала поскорее закрепиться среди них, как будто если я стану делать то же, что и Сюзанна, то все равно что буду с ней. Меня Расселл никогда не трахал — с ним у нас всегда было все остальное, он двигал во мне пальцами с механической отстраненностью, которую я списывала на его чистоту. У него возвышенные цели, говорила я себе, он не разбавляет их примитивными желаниями.

— Взгляни на себя, — говорил он, едва почувяв стыд или колебания. Подводил меня к мутному зеркалу, висевшему у него в трейлере. — Взгляни на свое тело. Это не чужая страна, это не другая галактика, — ровно говорил он. А если я отворачивалась, отшучивалась, он брал меня за плечи и снова поворачивал к зеркалу. — Это твоя прекрасная личность, — говорил он. — Красота, и только.

Его слова действовали, пусть и временно. Я впадала в транс, видя свое отражение — шарики грудей, мягкий живот, шероховатые от комариных укусов ноги. Тут не было ничего сложного, никаких хитроумных загадок — одна сиюминутная очевидность, единственное пространство, в котором действительно существует любовь.

Потом он давал мне полотенце — вытереться, и в этом мне виделась безмерная доброта.

Когда я возвращалась к Сюзанне под крыло, она какое-то время держалась с холодком. Даже двигалась скованно, точно в гипсе, сонно, как человек, который клюет носом за рулем. Я быстро научилась ей льстить, научилась не отлипнуть от нее до тех пор, пока она не перестанет дуться и соизволит угостить меня сигаретой. Потом я пойму, что она скучала по мне, когда я уходила, и неуклюже маскировала это холодностью. Впрочем, как знать — может, мне просто хотелось так думать.

Другие подробности жизни на ранчо вспыхивают пунктиром. Черный пес Гая, у которого клички чередовались по кругу. Странники, забредавшие к нам тем летом и через пару дней отправлявшиеся дальше. Пришельцы из глупого вымышленного мира, приезжавшие и днем и ночью — с ткаными рюкзаками, на родительских машинах. Я не замечала ничего знакомого в том, как быстро Расселл выманивал у них все их пожитки, как он угрожал им, так что их щедрость превращалась в вымученный фарс. С ошеломленным, усталым облегчением утопающих, которые наконец сдались захлёбу волн, люди отдавали ему розовые документы на машины, чековые книжки, а однажды даже — золотое обручальное кольцо. Меня тревожили истории их печалей, одновременно и жуткие, и банальные. Жалобы на злых отцов и жестоких матерей, все рассказы так похожи, что нам казалось, будто мы все — жертвы одного заговора.

В тот день шел дождь — редкость для того лета, и мы почти в полном составе сидели дома, старая гостиная пахла сыро и серо, точь-в-точь как воздух за окном. Пол был расчерчен одеялами. Радио на кухне передавало бейсбольный матч, через прохудившуюся крышу дождь капал в пластмассовое ведро. Руз массировала Сюзанне руки, пальцы у них были скользкими от масла, а я читала журнал двухгодичной давности. Мой гороскоп на март 1967 года. В воздухе витало сердитое уныние; мы не привыкли к ограничениям, к бездействию.

Детям дома было лучше нашего. Мы приглядывали за ними вполглаза, а они носились по дому, занятые своими делами. В соседней комнате с грохотом упал стул, но никто не пошел разбираться, в чем дело. Я не знала, чьи это были дети, — за исключением Нико. Все тонкорукие, как будто усохшие, с вечной коркой сухого молока на губах. Несколько раз Руз просила меня посидеть с Нико, и я держала его на руках — приятная, потная тяжесть. Я расчесывала ему волосы пальцами, распутывала его

ожерелье с акульим зубом. Все эти до неловкого материнские заботы доставляли больше радости мне, чем ему, я даже воображала, что только мне под силу его успокоить. Нико, впрочем, отказывался делить со мной эти минуты нежности и грубо портил мне все удовольствие, словно чувствовал мою приязнь и презирал меня за это. Принимался теребить крошку-пенис. Визгливым фальцетом требовал сока. А однажды ударил меня так сильно, что остался синяк. На моих глазах он присел на корточки и наложил кучу прямо возле бассейна, детские какашки мы иногда замывали струей воды из шланга, а иногда и не замывали.

Со второго этажа прибрела Хелен, одетая в футболку со Снупи и носки, которые ей явно были велики — красные пятки топорщились на лодыжках.

— Кто-нибудь хочет поиграть в “верю — не верю”? — Не-а, — отозвалась Сюзанна.

Понятно, что она говорила за всех нас.

Хелен плюхнулась в лысоватое кресло, с которого давно растащили все подушки. Поглядела в потолок.

— Так и течет, — сказала она.

Никто не обращал на нее внимания.

— А забейте кто-нибудь косячок, — попросила она. — Пожа-алуйста.

Не получив ответа, она сползла на пол к Руз и Сюзанне.

— Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. — Она потерлась головой о плечо Руз, залезла к ней на колени, как собачка.

— Ой, да сделай ты ей, — сказала Сюзанна.

Хелен вскочила, побежала за шкатулкой “под слоновую кость”, в которой они хранили припасы, Сюзанна поглядела на меня, закатила глаза. Я улыбнулась. Мне даже нравится сидеть дома, подумала я. Мы все набились в одну комнату, будто подопечные Красного Креста, на плитке грелась вода для чая. Руз трудилась у окна, где сквозь рваные кружевные занавески падал алебастровый свет.

Внезапно тишину прорезал вой Нико, в комнату вбежала девочка со стрижкой “под горшок”, за ней протопал Нико. В руках у девочки было его ожерелье с акульим зубом, и они с визгом принялись за него драться. Рыдая, царапаясь.

— Эй, — сказала Сюзанна, даже не поднимая головы, и дети притихли, злобно таращась друг на друга. Шумно пыхтя, точно пьяные.

Казалось, все в порядке, детей быстро удалось приструнить, но тут Нико вцепился девочке в лицо своими длиннющими ногтями, будто граблями, и рев поднялся с удвоенной силой. Девочка схватилась за щеки и вопила так, что были видны все ее молочные зубы. Брала высокую ноту

отчаяния.

Руз с усилием встала.

— Малыш, — она протянула к нему руки, — малыш, нельзя себя так вести.

Она пошла к Нико, и тот тоже заорал, грузно шлепнувшись на подгузник.

— Вставай, — сказала Руз, — вставай, малыш. — Она попыталась поднять его за плечи, но тот обмяк, и его нельзя было сдвинуть с места.

Девочка притихла, видя, что у Нико начался припадок, он вырвался из рук у матери и теперь бился головой об пол.

— Малыш, — громче забубнила Руз, — не надо, не надо, не надо. — Но Нико не останавливался, от удовольствия глаза у него потемнели, стали как пуговицы. — Господи!

Хелен расхохоталась — странным смехом, который долго висел в воздухе, а я не знала, что делать. Я вспомнила беспомощную панику, которая иногда охватывала меня, когда я сидела с детьми, — когда до меня вдруг доходило, что это не мой ребенок и я ничего не могу с ним поделать, и, похоже, остолбеневшая Руз испугалась как раз поэтому. Она как будто ждала, что вот-вот придет настоящая мать Нико и все уладит. Нико, весь красный, долбил головой по полу. Орал, но тут на веранде послышались шаги — пришел Расселл, — и на всех лицах проступила жизнь.

— Что тут такое? — спросил Расселл.

На нем была старая рубашка Митча, с вышитыми кроваво-красными розами на воротнике. Босой, насквозь промокший от дождя.

— Это ты у Руз спроси, — прочирикала Хелен. — Это ее ребенок.

Руз что-то пробормотала, к концу захлебнувшись в словах, но Расселл не стал отвечать в ее духе. Он говорил спокойно, будто круг очерчивал вокруг плачущего ребенка, растерявшейся матери.

— Расслабься, — нараспев сказал Расселл.

Он не подпускал к себе чужую печаль, нервозность в комнате рассеялась от одного его взгляда. Даже Нико насторожился, его припадок утратил живость, он будто превратился в собственного дублера.

— Дружок, — сказал Расселл, — иди сюда, поговори со мной.

Нико глянул на мать, но та беспомощно смотрела на Расселла. Нико выпятил губу, гадая, как поступить.

Расселл так и стоял в дверях, не гнулся в три погибели, пуская слюни, как многие взрослые при виде детей, и Нико утих, только изредка похныкивал. Он еще раз глянул на мать, потом на Расселла и наконец подбежал к Расселлу и позволил взять себя на руки.

— Вот так, дружок, — сказал Расселл, Нико повис у него на шее.

Помню, так странно было видеть, как у Расселла меняется лицо, когда он говорит с мальчиком. Все черты делались ртутными, глуповатыми и дурашливыми, как у клоуна, а вот голос оставался спокойным. Это он умел. Перекроить себя, чтобы подстроиться под человека, как вода, которая принимает форму любого сосуда. Он мог быть сразу всем. Человеком, который вворачивал в меня пальцы. Человеком, которому все доставалось даром. Человеком, который трахал Сюзанну нежно, а иногда — не очень. Человеком, который шептался с маленьким мальчиком, щекоча дыханием его ухо.

Я не слышала, что говорил Расселл, но Нико прекратил рыдать. Лицо у него было восторженное, мокрое: казалось, он рад, что кто-то просто взял его на руки.

Одиннадцатилетняя Кэрлайн, двоюродная сестра Хелен, сбежала из дома какое-то время назад. Она жила в Хейт-Эшбери [\[8\]](#), но там полицейские теперь вязали всех подряд, и она автостопом добралась до ранчо. Всех вещей у нее было — сумочка воловьей кожи и облезлая лисья шуба, которую она поглаживала с наигранной нежностью, словно не хотела, чтобы кто-нибудь понял, как она ее на самом деле любит.

Ранчо находилось не так уж далеко от Сан-Франциско, но мы редко туда ездили. Я была там всего один раз, вместе с Сюзанной, нужно было забрать полкило травы из дома, который она в шутку называла Русским Посольством. Наверное, какие-нибудь приятели Гая, из его прежней тусовки сатанистов. Входная дверь была выкрашена в смоляно-черный цвет. Сюзанна, заметив мое смущение, взяла меня под руку.

— Мрачнюк, да? — сказала она. — Я в первый раз то же самое подумала.

Она притянула меня к себе, и мы стукнулись бедрами. Эти проявления доброты не переставали меня ошеломлять.

Потом мы поднялись на Хиппи-Хилл. Там было серо и дождливо и никого не было, только ковыляли живые мертвецы-наркоманы. Я изо всех сил старалась словить вибрации, выжать их из воздуха, но безуспешно — и с облегчением бросила поиски скрытых смыслов, когда Сюзанна рассмеялась.

— Господи, — сказала она, — да тут помойка.

И мы вернулись в парк, где с эвкалиптовых листьев звучно стекал туман.

Я почти все дни проводила на ранчо, а домой забегала, только чтобы

по-быстрому переодеться или оставить матери записку. Записки я подписывала “Твоя любящая дочь”. Потокала раздутой любви, которой нашлось место, когда исчезла я.

Я знала, что постепенно меняюсь, недели на ранчо прошлись по мне жесткой губкой. Волосы посеклись и выгорели на солнце, даже после мытья от них припахивало сигаретным дымом. Большая часть моей одежды перекочевала на ранчо, превратившись в наряды, которые даже я сама перестала узнавать: Хелен, например, теперь паясничала в моей блузке с манишкой, когда-то я над ней тряслась, а теперь она была дырявая и в пятнах от персикового сока. Я одевалась, как Сюзанна, в небрежное что попало, выхваченное из общих куч, в одежду, обрывочность которой так и кричала о враждебности к большому миру. Как-то раз мы с Сюзанной зашли в “Хоум маркет”, на Сюзанне был верх от бикини и обрезанные из джинсов шорты, и остальные покупатели, распаляясь от возмущения, сверлили нас взглядами — поначалу искоса, а потом и в упор. Мы хохотали — безумно, безостановочно фыркали, словно знали какой-то невероятный секрет, да мы и вправду его знали. Женщина, чуть не вскрикнув от неожиданности и отвращения, вцепилась в руку дочери: она не понимала, что ненависть делает нас сильнее.

Готовясь ко встречам с матерью, я совершала благочестивые омовения: мылась до красных пятен на коже, стоя под горячим душем, наливала на волосы столько кондиционера, что они становились скользкими. Надевала простую белую футболку и белые хлопковые шорты, которые носила, когда была помладше, изо всех сил стараясь выглядеть чистенькой и бесполой, чтобы усыпить подозрения матери. Впрочем, может, и не стоило так стараться — она не то чтобы особенно вглядывалась. Если мы с ней вдруг ужинали вместе — чаще всего в тишине, — она ковырялась в тарелке, будто капризный ребенок. При любом удобном случае заводила разговор о Фрэнке, передавала бессодержательные прогнозы погоды из собственной жизни. Я могла быть вообще кем угодно. Однажды вечером я даже переодеться не стала, так и заявила к столу в короткой тоненькой маечке с завязками на шее и оголенным животом. Она ничего не сказала, так и копалась рассеянно в рисе, пока наконец не вспомнила о моем существовании. Быстро, искоса глянула на меня.

— Ты так похудела, — объявила она, ревниво, оценивая ухватив меня за запястье.

Я пожала плечами, и больше она об этом не заговаривала.

Когда я наконец увидела Митча Льюиса своими глазами, он оказался

куда жирнее, чем, как мне казалось, положено знаменитостям. Весь раздутый, будто под кожей у него колыхалось масло. Лицо опушено бакенбардами, золотые волосы торчат перьями. Он принес ящик сарсапариллы [9] для девочек и шесть сеток с апельсинами. Засохшие брауни с шоколадной крошкой в гофрированных бумажных чашечках, которые были похожи на чепцы первых поселенцев. Нугу в ярко-розовых жестянках. Крохи из подарочных корзин, догадалась я. Блок сигарет.

— Он знает, что это мои любимые, — сказала Сюзанна, прижимая сигареты к груди. — Запомнил.

Все они очень собственнически отзывались о Митче, как будто он был какой-то абстрактной идеей, а не живым человеком. К визиту Митча они заранее готовились, прихорашивались с девчоночьим старанием. — У него ванная с видом на океан, — сказала Сюзанна. — И на потолке много лампочек, поэтому вода так и сияет.

— И болт у него огромный, — добавила Донна. — И бордовый, типа того.

Донна мыла подмышки в раковине. Сюзанна закатила глаза.

— На секс, что ли, надеешься? — пробормотала она, но и сама переделалась в платье.

Даже Расселл смочил волосы и зачесал их, вид у него сразу стал светский, приглаженный.

Положив руку мне на спину, Расселл представил меня Митчу со словами: “Наша маленькая актриса”.

Митч разглядывал меня с испытующей, самодовольной улыбкой. Мгновенная оценка стоимости — это у мужчин легко получалось. И им очень хотелось, чтобы ты с их оценкой согласилась.

— Я Митч, — сказал он.

А то я не знала. Кожа у него была свежая, совсем без пор, какая бывает у обжор-богачей.

— Обними-ка Митча, — сказал Расселл и подтолкнул меня. — Митч такой же, как и мы, ему тоже хочется, чтобы его обнимали. Немножко любви ему не помешает.

Митч выжидающе смотрел на меня, как на подарок, который он уже развернул и разглядел. Раньше меня одолела бы застенчивость. Я бы заиклилась на своей внешности, на ошибках, которые могу совершить. Но теперь я чувствовала себя совсем по-другому. Я была одной из них, а значит — смогла улыбнуться Митчу, шагнуть к нему, размазаться по его телу.

День тянулся долго. Митч с Расселлом по очереди играли на гитаре,

Хелен, одетая в лифчик от бикини, сидела у Митча на коленках. Она все хихикала и пристраивала голову с этими ее детскими хвостиками ему на плечо. Играл Митч гораздо лучше Расселла, но я старалась этого не замечать. Я накуривалась с новой, яростной сосредоточенностью, переходя от нервозности к отупению. Улыбалась почти бессознательно, да так, что разболелись щеки. Сюзанна сидела на земле рядом со мной, скрестив ноги, мы то и дело соприкасались пальцами.

Наши лица — круглые, внимательные, как тюльпаны.

Следующий мутный день мы принесли в жертву общей мечте и тому отвращению, которое вызывала у нас реальная жизнь, хотя сами себя мы уверяли, что это мы так настраиваемся на волну, состыковываемся. Митч привез кислоты, которую ему поставлял какой-то стэнфордский лаборант. Донна смешала ее с апельсиновым соком, разлила по бумажным стаканчикам, мы этим позавтракали, и деревья запульсировали энергией, тени намokли, побагровели. Любопытно, конечно, как легко я на все соглашалась. Приносили наркотики — и я все пробовала. Ловила момент — единственное время, когда что-нибудь происходило. И об этом *моменте* мы могли говорить часами. Вертеть его во все стороны: как падал свет, почему кто-то молчал, разбирали на составляющие каждый взгляд, докапываясь до того, что он значил на самом деле. Это казалось важным, это наше желание обрисовать форму каждой уходящей секунды, вытащить все сокровище и затрепать его до смерти.

Мы с Сюзанной мастерили детские браслетики, которыми девочки обменивались между собой, нанизывая их на руки, будто младшеклассницы. Учились делать V-образное плетение. Плести полоски. Я делала браслет для Сюзанны, толстый, широкий, — маковокрасный плетеный шнур в окружении оранжевых нитей. Мне нравилось спокойно стягивать узлы, нравилось, как цвета весело подрагивали у меня в пальцах. Один раз я вставала — приносила Сюзанне попить, и в этом была какая-то домашняя нежность. Мне хотелось исполнить ее желание, влить воду ей в рот. Сюзанна пила и улыбалась мне, глотая так жадно, что было видно, как сокращается ее горло.

Кэролайн, сестра Хелен, в тот день тоже была с нами. В одиннадцать лет она знала куда больше, чем я в свои одиннадцать. Ее браслеты звякали с чмоканьем дешевого металла. Из-под махровой рубахи бледно-желтого цвета, цвета замороженного лимонного сока, торчал круглый голый животик, хотя коленки у нее были ободранные и грязные, как у мальчишки.

— Ништяк, — сказала она, когда Гай влил ей в рот стаканчик сока, и это слово она так и повторяла, будто заводная игрушка, когда кислота начала действовать.

Я и у себя начала замечать первые признаки, рот наполнился слюной. Я вспомнила затопленные ручьи, которые видела в детстве, мертвенный холод дождевой воды, катившейся по камням.

Слышно было, как Гай, сидя на ступеньках, мелет какую-то чушь. Очередную бессмысленную историю, хвастовство, которое наркотики разносили эхом. Волосы он собрал в темный узел на макушке.

— Чувак ломится в дверь, орет, что щас заберет все свое, а я, такой, аааа, черт, ну и хер с тобой, — бубнил он. — Я Элвис Пресли. — И Руз кивала в такт его словам. Прищурившись, глядела на солнце, из дома несло пение Кантри Джо.

По голубому небу летели облака, обведенные неонами.

— Глянь-ка на сиротку Энни, — сказала Сюзанна, взглядом указывая на Кэролайн.

Кэролайн поначалу переигрывала, шаталась, изображая, как она объелась кислоты, но вскоре наркотик вправду начал действовать, и взгляд у нее сделался безумный и немного испуганный. Она была такая тощенькая, что я видела, как в горле у нее все ходит ходуном. Сюзанна тоже на нее смотрела, и я думала, она что-нибудь скажет, но она молчала. Хелен, которая вроде как была двоюродной сестрой Кэролайн, тоже ничего не сказала. Она, в кататонии от солнечного жара, валялась на куске старого ковра, прикрыв глаза рукой. Хихикала в одиночестве. Наконец я подошла к Кэролайн, тронула ее за плечо.

— Как дела? — спросила я.

Только когда я позвала ее по имени, она подняла голову. Я спросила ее, откуда она, — она крепко зажмурилась. Не стоило этого говорить, конечно не стоило — тащить сюда дрянь из внешнего мира, говенные воспоминания, которые сейчас, наверное, и так двоились у нее в мозгу. Но я не знала, как вытянуть ее из болота.

— Хочешь? — Я протянула ей браслет. Она приоткрыла глаз, посмотрела на него. — Он еще не готов, — сказала я, — но, как доплету, будет твой.

Кэролайн улыбнулась.

— Тебе очень пойдет, — продолжала я. — Будет с рубашкой сочетаться.

Искры у нее в глазах утихали. Она оттянула рубаху, уставилась на нее, помягчала.

— Это я сделала, — сказала она, водя пальцем по вышитому на рубахе пацифику, и я представила, как она часами над ним трудилась, может даже стащив у матери шкатулку для вышивания.

Казалось, это так легко: быть к ней доброй, доплести браслет и надеть ей на руку, прижечь концы ниток, чтобы она могла их отрезать. Я не заметила, что Сюзанна смотрит на нас, позабыв о собственном браслете, который лежал у нее на коленях.

— Красиво, — сказала я, взяв Кэролайн за руку. — Красота, и только.

Как будто бы я была родом из этого мира и уже могла другим сюда путь указывать. Мои грандиозные мысли перемежались с признательностью, я уже начинала заполнять пробелы в себе истинами, почерпнутыми на ранчо. Прохладное изобилие слов Расселла — забудь про это, выключи мозг. И лови лучше космический ветер. Мягонькие, легко усваиваемые знания, точь-в-точь булочки и пирожные, которые мы стянули из кондитерской в Саусалито, чтобы обожраться легко усваиваемым крахмалом.

После того дня Кэролайн начала ходить за мной хвостом, как собачонка. Вот и сейчас топталась у входа в комнату Сюзанны, предлагала мне сигареты, которые она настреляла у байкеров. Сюзанна встала, завела локти за спину, потянулась.

— Они их тебе просто так дали? — насмешливо спросила она. — Бесплатно?

Кэролайн поглядела на меня:

— Сигареты?

Сюзанна рассмеялась и больше ничего не сказала. Поначалу такие случаи сбивали меня с толку, но потом я и их стала приплюсовывать к доказательствам: Сюзанна так недружелюбна с другими людьми, потому что никто не понимает ее так, как я.

Вот в чем я себе не признавалась, вот о чем почти не думала. О том, к чему все шло у нас с Сюзанной. Не думала о неприятном осадке, который оставался у меня всякий раз, когда она исчезала с Расселлом. О том, как не зная, что без нее делать, я потерявшимся ребенком прибивалась к Донне или Руз. Или как однажды она пришла, обдав меня запахом застарелого пота, и небрежно подтерлась тряпкой, как будто ей наплевать было, что я это вижу.

Я встала, заметив, как Кэролайн нервно тербит подаренный мной браслет.

— Ну, давай сигарету, — улыбнулась я ей.

Сюзанна взяла меня под руку.

— Но мы идем кормить лам, — сказала Сюзанна. — Нельзя, чтоб они оголодали. И померли.

Я замялась, и Сюзанна принялась играть моими волосами. Она вечно так делала: снимала репы с рубашки, а однажды ногтем выковырнула у меня из передних зубов застрявший кусочек еды. Нарушала границы, давая понять, что их не существует.

У Кэролайн на лице было написано, что ей хочется пойти с нами, и мне даже стало немного стыдно. Однако я все равно пошла за Сюзанной, пожав плечами — извини, мол. Я чувствовала, как Кэролайн глядит нам вслед. Тайный детский интерес, безмолвное понимание. Видно было, что разочаровывается Кэролайн уже далеко не в первый раз.

Я рылась в холодильнике у матери. Банки с зацементированными обедками. Целое семейство крестоцветных овощей тухнет, набухает в целлофановых пакетиках. Как обычно, есть нечего. Вот такие мелочи и напоминали мне о том, чего это я, собственно, не сижу дома. Я услышала, как в дверях зашаркала мать, зазвякали ее тяжелые украшения, и хотела было потихоньку улизнуть, чтобы с ней не встречаться.

— Эви, — крикнула она, войдя на кухню, — постой-ка!

Я задыхалась, потому что примчалась с ранчо на велосипеде, да еще и действие косяка не до конца выветрилось. Я старалась моргать как нормальный человек, смотреть на нее с пустым, ничего не выражающим лицом. — Ты так загорела, — сказала она, взяв меня за руку.

Я пожалала плечами. Она легонько погладила волоски на моей руке — туда-сюда — и замолчала. Нам обеим вдруг стало как-то неловко. Я вдруг подумала, что она наконец-то заметила утечку денег из кошелька. Но ее гнева я не боялась. Я совершила нечто настолько из ряда вон выходящее, что все казалось нереальным, неопасным. Я все чаще ловила себя на мысли, что никогда здесь и не жила, — до того чужой я себя чувствовала, когда кралась по дому, чтобы выполнить какое-нибудь задание Сюзанны. Когда рылась у матери в ящике с бельем, копалась в шелке чайного цвета и миленьких кружевах, под которыми была спрятана перехваченная резинкой для волос пачка денег.

Мать нахмурила брови.

— Знаешь, — сказала она, — Сэл видела тебя сегодня утром на Адобруд. Одну.

Я не изменилась в лице, но внутренне вздохнула с облегчением: мало ли что там корова Сэл наговорила. Все это время я врала матери, что

целыми днями торчу у Конни. Кроме того, время от времени, чтобы соблюсти какой-то баланс, я ночевала дома.

— Сэл говорит, там какие-то очень странные люди живут, — сказала мать. — Какой-то эзотерик, и он...

Она поморщилась.

Конечно, если бы Расселл жил где-нибудь в Марине на вилле с бассейном, в котором плавают гардении, и брал с богатых баб по пятьдесят долларов за астрологический прогноз, вот тогда бы он матери сразу понравился. Какой же понятной она мне тогда казалась — всегда настороже, чтобы не дай бог не унизиться до “кого попало”, а сама открывала двери каждому, кто ей улыбнется. Всяким Фрэнкам в рубашках с блестящими пуговицами.

— Никогда его не видела, — ответила я безразличным тоном.

Так мать поймет, что я вру. Вранье буквально и повисло в воздухе, и я смотрела, как мать старательно подыскивает ответ.

— В общем, я просто хотела тебя предупредить, — сказала она. — Чтобы ты знала, что там живет этот странный тип. Вы там с Конни приглядывайте друг за дружкой, хорошо?

Видно было, что ей страшно не хочется ссориться, что она пытается найти какую-то золотую середину. Она меня предостерегла, значит, вроде бы сделала все, что полагается. Значит, она мне все еще мать. Ну пусть думает, что это правда, — я кивнула, она расслабилась. Волосы у нее отросли. На ней была новая майка с вязаными бретельками, на открытых загорелых плечах белые полосы от купальника. Я поняла, что и представления не имею, когда и где она купалась. Как быстро мы с ней стали друг другу чужими, нервными соседками, которые встречаются только в общем коридоре.

— Ну... — протянула она.

На мгновение я разглядела в ней прежнюю маму, отблеск усталой любви у нее на лице, но вот медно звякнул браслет у нее на руке, и все исчезло.

— В холодильнике рис и мисо, — сказала она, и я промычала что-то — поем, мол, но мы обе понимали, что есть я это не буду.

На полицейских фотографиях дом Митча казался тесным и угрюмым — под стать роковым событиям. Толстые занозистые балки под потолком, каменный камин, бесконечные коридоры и уровни, как на литографиях Эшера, которые Митч купил в галерее в Саусалито. Но я помню, как, впервые оказавшись в этом доме, подумала, что здесь пусто и просторно, как в церкви. Мало мебели, сужающиеся кверху окна. Паркет “елочкой”, низкие широкие ступени. Уже с порога была видна черная ширь залива, начинавшаяся сразу за домом, и темный скалистый берег. Лодки мирно толкались на воде, словно кубики льда.

Митч налил нам выпить, Сюзанна полезла в холодильник. Разглядывая полки, она что-то напевала себе под нос. Издавала одобрительные или неодобрительные звуки, снимала фольгу с мисок, нюхала содержимое. Как бойко она вела себя — в мире, в чужом доме. Я смотрела, как наши отражения, наши распущенные волосы подрагивают в черных окнах. Вот я и на кухне у знаменитости. У человека, чью музыку слушала по радио. За дверью — залив, блестит лакированной кожей. И я рада тому, что я тут с Сюзанной, которая все это как будто вызвала из небытия.

Перед этим Митч встречался с Расселлом — помню, что еще подумала, как странно, что Митч опаздывает. Третий час, а мы все ждали его. Я, как и все, молчала, тишина разрасталась. Слепень укусил меня в лодыжку. Я боялась его отогнать, потому что Расселл сидел в каком-то метре от меня — оседлав стул, закрыв глаза. Я слышала, как он что-то еле слышно напевает. Расселл решил, что будет лучше всего, если Митч придет и увидит, как он тут сидит — вокруг девочки, Гай у его ног, — трубадур перед публикой. Гитара лежала у него на коленях, он был готов играть. Покачивал босой ногой.

Расселл водил пальцем по гитаре, беззвучно тянул за струны: он нервничал, но я пока не знала, как это воспринимать. Он не поднял головы, когда Хелен принялась что-то нашептывать Донне, совсем тихо. Наверное, что-нибудь про Митча или какую-нибудь глупость, которую сказал Гай. Она не умолкала, и Расселл встал. Он прислонил гитару к стулу, убедился, что она не упадет, затем быстро подошел к Хелен и отвесил ей пощечину.

У нее вырвался странный, булькающий визг. Но обида в широко раскрытых глазах быстро сменилась мольбой о прощении, и она быстро-

быстро заморгала, чтобы не расплакаться.

Я впервые видела, чтобы Расселл так отреагировал — сорвал злость на ком-то из нас. Нет, он никак не мог ее ударить, только не в это время дня, не под этим глупым, жгучим солнцем. Это казалось слишком нелепым. Я огляделась, пытаюсь понять, правда ли эта пугающая перемена произошла на наших глазах, но все либо старательно смотрели по сторонам, либо как масками прикрывались неодобрением, словно Хелен сама была во всем виновата. Гай вздохнул и почесал за ухом. Даже Сюзанна глядела на все со скучающим видом, как будто пощечина ничем не отличалась от, скажем, рукопожатия. На этом фоне мой резкий болезненный шок и подкативший к горлу укус казались проявлением слабости.

Но вскоре Расселл уже гладил Хелен по голове, затягивал растрепавшиеся хвостики. Шептал ей что-то на ухо, и она кивала и улыбалась ему в ответ, как лупоглазая кукла.

Митч опоздал на час, но принес столь необходимые припасы: коробку консервированных бобов, сушеный инжир, шоколадную пасту. Твердокаменные груши “пэкхам” — каждая обернута в розовую папиросную бумагу. Дети повисли у него на ногах, и он даже не стал их стряхивать, хотя обычно всегда так делал.

— Здорово, Расселл, — сказал Митч.

Лицо у него было в рамочке пота.

— Давненько не виделись, брат, — отозвался Расселл. Он улыбался, но со стула не встал. — Как там великая американская мечта?

— Все пучком, друг, — ответил Митч. — Прости, что опоздал.

— Ты что-то надолго пропал, — сказал Расселл. — Не жалеешь ты меня, Митч.

— Занят был, — сказал Митч. — Дел куча.

— Дел всегда куча, — Расселл посмотрел на нас, перекинулся долгим взглядом с Гаем. — Скажешь, нет? Дел всегда невпроворот, это и есть жизнь. Они кончаются, только когда помираешь.

Митч рассмеялся, словно все было нормально. Раздал сигареты, еду, будто потный Санта. В книгах напишут, что отношения у Расселла с Митчем разладились как раз после этого дня, хотя тогда я, конечно, ничего не знала. Не обратила внимания на то, почему они оба так напряжены, — ярость Расселл маскировал спокойной снисходительностью. Митч приехал с плохими новостями, студия все-таки не будет заключать с Расселлом контракт на запись пластинки, сигареты и еду он привез в качестве утешения. С этим контрактом Расселл несколько недель не давал Митчу

проходу. Напирал и напирал, пытаюсь взять Митча измором. Посылал Гая к Митчу с загадочными сообщениями, в которых лезть перемежалась угрозами. Расселл всеми силами добивался того, что, по его мнению, он заслуживал.

Мы покурили травы. Донна сделала сэндвичи с арахисовым маслом. Я сидела под дубом, в тенистом кружке. Нико и еще чей-то ребенок бегали по двору, подбородки у них были в коросте ошметков от завтрака. Нико ударил палкой по мусорному мешку, мусор вывалился наружу. Кроме меня, этого никто не заметил. Пес Гая носился по лугу, ламы нервно перебирали ногами. Я украдкой поглядывала на Хелен, которая, как ни странно, казалась непоколебимо счастливой, точно в их с Расселлом отношениях все шло своим привычным ходом.

Мне бы насторожиться после той пощечины. Но мне хотелось, чтобы Расселл был добрым, значит, он был добрым. Мне хотелось быть рядом с Сюзанной, и я верила всему, лишь бы остаться на ранчо. Я сказала себе, что просто не все понимаю. Переработала слышанные ранее слова Расселла, слепила себе из них объяснение. Иногда ему приходится нас наказывать, чтобы проявить свою любовь. Он не хотел этого делать, но ему нужно было как-то сдвинуть нас с мертвой точки, ради нашего же блага. Ему это тоже причинило боль.

Нико и второй ребенок наигрались с мусорной кучей и присели на корточки в траве, разбухшие подгузники болтались у них между ног. Они тараторили серьезными азиатскими голосками, интонации трезвые, рассудительные, будто у двух маленьких мудрецов. Внезапно оба истерически захохотали.

Наступал вечер. Мы пили мутное вино, которое в городе продавали на разлив, осадок пачкал языки, от жары подташнивало. Митч встал, засобиравшись домой.

— А знаете что? Поезжайте-ка с Митчем, — предложил Расселл.

И сжал мне руку, как будто невидимую шифровку передавал.

Они правда с Митчем переглянулись? А может, мне это померещилось. Все наши передвижения в тот день теряются в какой-то суматохе, но каким-то образом уже в сумерках мы с Сюзанной повезли Митча домой на его же машине по тряским проселочным дорогам Марина.

Митч сидел сзади, Сюзанна — за рулем, я — рядом с ней. Я поглядывала на Митча в зеркало заднего вида. Тот плавал в каком-то бездумном тумане, но изредка приходил в себя и с удивлением тарасился на нас. Я не совсем понимала, почему именно нам поручили везти Митча

домой. Информацией делились выборочно, поэтому я знала только, что мне нужно ехать с Сюзанной. В открытые окна влетали ароматы летней земли и тайные промельки чужих подъездных аллей, чужих жизней вдоль узкой дороги в тени горы Тамальпаис. Петли садовых шлангов, прелестные магнолии. Иногда Сюзанна ошибалась поворотом, и мы с ней взвизгивали от радостного, растерянного ужаса, хотя я вопила не очень искренне — не верила, что может случиться что-то плохое, всерьез не верила.

Митч переоделся в белый, похожий на пижаму костюм — сувенир, оставшийся у него от трехнедельной поездки в Варанаси. Протянул каждой по бокалу — я уловила аптечный запах джина и чего-то еще, какую-то нотку горечи. Я все выхлебала. Я была, считай, патологически укурена, у меня закладывало нос, и я все пила и пила. Тихонько посмеивалась про себя.

Никак не могла привыкнуть к тому, что я дома у Митча Льюиса. В его замусоренной обители, среди новехонькой мебели.

— Ребята из “Эйрплейн” [\[10\]](#) прожили здесь пару месяцев, — сказал он, тяжело моргая. — С такой собакой, — продолжил он, оглядываясь. — Белой такой, большой. Как эта порода называется? Ньюфаундленд? Весь газон перекопала.

Ему как будто было плевать, что мы не обращаем на него никакого внимания. Он и сам выключался, стекленел от молчания. Потом вдруг вскочил, завел пластинку. Выкрутил звук на такую громкость, что я вздрогнула, но Сюзанна захохотала и сказала, чтобы сделал погромче. Он поставил свою собственную музыку, от чего мне сделалось неловко. Огромный живот выпирал у него из-под рубашки, длинной и летящей, словно платье.

— Вы клевые девчонки, — проямлил он.

Сюзанна начала танцевать, он уставился на нее. На ее грязные ноги на белом ковре. Она нашла в холодильнике курицу, оторвала кусок прямо руками и жевала, двигая бедрами.

— Курица по-гавайски, — заметил Митч. — Из “Треjder Викс” [\[11\]](#).

Какая банальность! Мы с Сюзанной переглянулись. — Вы чего? — спросил Митч.

Мы смеялись, он смеялся тоже.

— Вот угар! — повторял он, перекивая музыку. Рассказывал, что эту песню обожал какой-то там актер. — Он ее прямо прочувствовал, — говорил он, — ставил по кругу. В музыке хорошо шарил.

Для меня это все было в новинку — оказывается, со знаменитостями

можно было обращаться так, будто они ничего особенного из себя не представляют, словно ты их насквозь видишь — видишь, какие они неинтересные и обычные и что на кухне у них воняет мусором, который сто лет как пора вынести. Фантомные квадраты на стенах, где когда-то висели фотографии, прислоненные к стене золотые пластинки, до сих пор обернутые в целлофан. Сюзанна вела себя так, будто мы тут с ней самые главные, это была такая простенькая игра, в которую мы играли с Митчем. Он был просто фоном для истории поважнее, для нашей истории, и мы жалели его, но в то же время были ему благодарны за то, что он жертвует собой ради нашего развлечения.

У Митча нашлось немного кокаина, и мы буквально с болью смотрели, как он старательно высыпал его на книжку о трансцендентальной медитации, глядя на свои руки с таким напряженным вниманием, словно они существовали отдельно от него. Он нарезал три полоски, пригляделся. Посуетился еще, пока наконец одна полоска не стала заметно жирнее двух других, и, шумно задышав, быстро ее втянул.

— О-ох. — Сказал он, откинул голову, шея у него была красная, в точечках золотой щетины.

Он протянул книжку Сюзанне, та, танцуя, втянула вторую полоску и я всосала последнюю.

От кокаина мне захотелось танцевать, и я начала танцевать. Сюзанна, улыбаясь, схватила меня за руки. Станный это был миг: мы танцевали для Митча, но она пожирала глазами меня, подбадривала. С наслаждением глядела на то, как я двигаюсь.

Митч все пытался что-то сказать, завел какую-то историю про свою подружку. Как ему, значит, одиноко с тех пор, как она сорвалась и уехала в Марракеш, заявив, что ей нужно побыть одной.

— Бредятина, — повторял он, — какая-то бредятина. Мы его подзадоривали. Я во всем подражала Сюзанне, которая кивала в такт его словам и упрашивала рассказать что-нибудь еще, а сама, глядя на меня, закатывала глаза. Тем вечером он рассказывал о Линде, хотя ее имя мне ни о чем не говорило. Я и слушала-то вполуха: мне на глаза попался деревянный ящичек, в котором перекатывались крохотные серебряные шарики, и я вертела ящичек во все стороны, стараясь закатить шарики в специальные отверстия — пасти драконов.

Когда случатся убийства, Митч с Линдой уже расстанутся, ей будет всего двадцать шесть, хотя тогда этот возраст виделся мне как-то смутно, этаким стуком в далекую дверь. Ее сыну Кристоферу будет пять, но к этому времени он уже успеет побывать в десяти странах, мать будет

таскать его с собой как багаж, как мешочек со своими скарабеями-побрякушками. Как ковбойские сапоги из страусовой кожи, куда она заталкивала глянцевые журналы, чтоб держали форму. Линда была красавицей, хотя, скорее всего, с возрастом ее красота стала бы вульгарной или дешевой. Своего золотоволосого мальчика она брала с собой в кровать, как плюшевого медвежонка.

Это чувство — что мир вращается только вокруг нас с Сюзанной, а Митч тут просто для смеха — до того в меня вросло, что о других вариантах я даже не думала. Я пошла в ванную, вымыла руки странным черным мылом и заглянула в шкафчик с лекарствами, заставленный пузырьками дилаудида. Ванна эмалево сияла, в воздухе резко пахло хлоркой: у Митча явно была домработница.

Я как раз пописала, и тут кто-то без стука отворил дверь. Я вздрогнула, инстинктивно прикрылась. Я заметила, что мужчина, перед тем как попятиться обратно в коридор, бросил взгляд на мои оголенные ляжки.

— Прошу прощения, — раздался голос из-за двери.

Висевшая у раковины связка плюшевых рыжих птичек тихонько покачивалась.

— Я очень прошу меня простить, — сказал мужчина. — Я искал Митча. Простите, что побеспокоил.

Он немного потоптался у двери, легонько постучал, но потом ушел. Я натянула шорты. Прокатившийся по телу адреналин поутих, но не до конца. Наверное, это просто какой-то друг Митча. От кокаина я дергалась, но бояться не боялась. Еще бы, тогда никому в голову не приходило, что незнакомцы могут и не быть друзьями. Мы любили друг друга безгранично, вся вселенная для нас была одной огромной впиской.

Через пару месяцев до меня дойдет, что я, наверное, видела Скотти Векслера. Сторожа, который жил в маленьком, обшитом белыми панелями коттеджике с обогревателем и электроплиткой. Человека, который прочищал фильтры в гидромассажной ванне, поливал газон и следил, чтобы Митч ночью не умер от передоза. Рано облысевший, в круглых очочках. В Пенсильвании Скотти был курсантом в военной академии, но потом бросил учебу, перебрался на запад. Курсантский идеализм он, впрочем, так и не перерос: писал матери о калифорнийских соснах и Тихом океане, используя слова “величественный” и “грандиозный”.

Он будет первым. Это он будет отбиваться, попытается сбежать.

Жаль, что я ничего больше не могу выжать из нашей встречи.

Поверить, например, что когда он открыл дверь, я почувствовала холодок грядущих событий. Но я его даже толком не разглядела — так, мелькнул кто-то незнакомый, и я быстро обо всем забыла. Я даже не спросила Сюзанну, кто это.

В гостиной никого не было. Орала музыка, в пепельнице исходила дымом сигарета. Стеклопанная дверь, выходящая к заливу, была распахнута. Я вышла на веранду и остолбенела от внезапности воды, от стены ворсистого света: Сан-Франциско в тумане.

На берегу никого не было. Потом над водой раздалось искаженное эхо. Я увидела их, обоих, — они плескались в волнах, вода пенилась у их ног. Митч бултыхался в своем белом наряде, будто в мокрой простыне. Сюзанна — в платье, которое она звала “платьем Братца Кролика”. Сердце у меня так и подпрыгнуло, мне хотелось к ним присоединиться. Но что-то меня удерживало. Я стояла на ступеньках, спускавшихся к песку, и вдыхала запах размягченной морем древесины. Знала ли я о том, что случится? Я увидела, как Сюзанна скинула платье, выпутавшись из него пьяными, неуклюжими движениями, и тут Митч навалился на нее. Опустил голову, облизнул ее голую грудь. Оба они с трудом держались на ногах. Смотреть дальше было как-то неправильно. Я развернулась и пошла к дому — пьяная, потерянная.

Я сделала музыку потише. Закрывает дверьцу холодильника, который Сюзанна оставила нараспашку. Обглоданный скелетик курицы. Курица по-гавайски, как уточнил Митч, от одного вида меня слегка затошнило. От слишком уж розового мяса так и веяло холодом. И вот так будет всегда, думала я, я всегда буду тем человеком, который закрывает холодильник. Человеком, который будет, словно призрак, смотреть с веранды, как Сюзанна позволяет Митчу делать с ней все, что угодно. Где-то в животе у меня заметалась ревность. Какое-то странное подтачивание — стоило мне представить, как он запускает в нее пальцы, какой соленый у нее от воды вкус. И еще — растерянность, как быстро все переменялось и я снова оказалась никому не нужной.

Химическое удовольствие потихоньку выветривалось у меня из головы, поэтому теперь я чувствовала только его отсутствие. Спать не хотелось, но сидеть на диване и ждать их не хотелось тоже. Я нашла незапертую спальню — судя по виду, гостевую: в шкафу не висела одежда, простыни на кровати слегка смяты. От них пахло чужим телом, на тумбочке лежала одна золотая сережка. Я вспомнила свой дом, это ощущение, когда спишь

под собственным одеялом, — и вдруг мне резко захотелось переночевать у Конни. Лежать с ней “валетом” — как мы с ней всегда традиционно укладывались — на простынях с рисунком из пухлых, мультяшных радуг.

Я лежала так, прислушиваясь к Сюзанне с Митчем в соседней комнате. Как будто я была каким-нибудь дружком Сюзанны, здоровяком с бычьей шеей, — во мне бурлил тот же праведный гнев. Злилась я не на Сюзанну, не только на нее — во мне полыхала такая яростная ненависть к Митчу, что я не могла уснуть. Мне хотелось, чтобы он узнал, как она смеялась над ним и насколько жалким я его считаю. Каким же бессильным был мой гнев — лавиной, которой некуда сойти, — и до чего это все было мне знакомо: чувства давились во мне крошечными несформировавшимися зародышами — злобные, колючие.

Потом я пойму, что, скорее всего, именно в этой комнате спали Линда с сыном. Хотя, конечно, там были и другие спальни, другие варианты. Когда случится убийство, Линда уже будет бывшей подружкой Митча, но они останутся друзьями, всего за неделю до этого Митч подарит Кристоферу на день рождения огромного плюшевого жирафа. Линда жила у Митча только потому, что ее съемная квартира в Сансете заросла плесенью, — она хотела погостить всего два дня. Потом они с Кристофером планировали перебраться в Вудсайд, к новому приятелю Линды, который владел сетью рыбных ресторанов.

После убийств я видела этого мужика в каком-то ток-шоу: он сидел весь красный, тер глаза платком. Помню, я тогда еще подумала, сделал ли он маникюр. Он рассказал ведущему, что собирался делать Линде предложение. Хотя кто там знает, правда ли это.

Часа в три ночи кто-то постучал в дверь. Сюзанна ввалилась в комнату безо всякого приглашения. Она была голая, на меня пахло густым запахом моря и сигаретного дыма.

— Привет, — сказала она, стаскивая с меня одеяло. Я дремала, убаюканная монотонностью темного потолка, и она — ворвавшись в комнату в облаке этого запаха — показалась мне существом из снов. Она заползла в кровать, и простыни тотчас стали сырыми. Я подумала, что она пришла за мной. Чтобы быть со мной — чтобы таким образом извиниться. Но эта мысль быстро исчезла, когда я заметила ее нервозность, ее укуренный, остекленелый взгляд и поняла, что это все — ради него.

— Идем, — сказала Сюзанна и рассмеялась. В странном голубоватом свете ее лицо казалось совсем другим. — Будет красиво, — сказала она, —

сама увидишь. Он очень нежный.

Как будто это все, на что можно было надеяться. Я села, подтянула к себе одеяло.

— Митч мерзкий, — сказала я.

Теперь я отчетливо понимала, что мы в чужом доме. В огромной пустой спальне для гостей, где все пропахло гадким духом чьих-то тел.

— Эви, — сказала она, — ну не будь ты такой.

Ее близость, быстрое движение глаз в темноте. Как легко она вжалась в меня ртом, раздвинула языком губы. Пробежалась кончиком по моим зубам, улыбнулась прямо мне в рот, сказала что-то, чего я не расслышала.

У ее слюны был привкус кокаина, солоноватой морской воды. Я потянулась к ней, чтобы снова поцеловать ее, но она уже ускользала от меня, улыбаясь, будто все это было игрой, будто мы с ней делаем что-то непостижимое и нереальное. Небрежно перебирая мои волосы.

Я охотно трактовала все по-своему, с готовностью ошибалась в знаках. Мне казалось, если я выполню просьбу Сюзанны, то сделаю ей лучший в мире подарок, выпущу ее чувства ко мне на волю. Она ведь и правда попала в своего рода ловушку, как и я, да только я этого не понимала и с легкостью разворачивалась в указанном ею направлении. Как та деревянная игрушка с дребезжащими внутри серебряными шариками, которую я вертела, пытаюсь закатить шарики в расписные отверстия.

Спальня Митча была огромной, плиточный пол — холодным. Кровать, украшенная резными балинезийскими фигурками, стояла на возвышении. Он рассмеялся — быстро оскалил зубы, увидев, что Сюзанна привела меня, раскрыл нам объятия, волосы курчавились на его голой груди. Сюзанна сразу пошла к нему, но я присела на краешек кровати, сложив руки на коленях. Митч привстал на локтях.

— Нет-нет, — сказал он, похлопывая по матрасу, — сюда. Иди-ка сюда.

Я переползла поближе, улеглась рядом с ним. Я чувствовала нетерпение Сюзанны, видела, как она ластилась к нему, будто собачка.

— А ты мне пока не нужна, — сказал ей Митч.

Лица Сюзанны я не видела, но представляла, как вспыхнула в ней обида.

— Давай-ка снимай. — Митч потрогал мое белье.

Мне стало стыдно, белье было плотное, детское, с мягкими резинками. Я стянула трусы до колен.

— Господи, — Митч привстал. — А ноги можешь чуть-чуть раздвинуть?

Я раздвинула ноги. Он склонился надо мной. Я чувствовала его лицо рядом с моим детским ртом. От его морды исходил влажный, звериный жар.

— Я не буду тебя трогать, — сказал Митч, и я поняла, что он лжет. — Господи, — выдохнул он.

Поманил к себе Сюзанну. Бормоча что-то себе под нос, разложил нас на кровати, как кукол. Капризно говорил что-то в сторону, ни к кому конкретно не обращаясь. В этой чужой комнате и Сюзанна казалась мне чужой, будто та ее часть, которую я знала, куда-то скрылась.

Он всосал мой язык. Пока Митч целовал меня, можно было лежать почти не двигаясь и с безучастным отстранением мириться с тем, что он тычет в меня языком. Даже его пальцы во мне казались чем-то любопытным и совершенно бессмысленным. Митч приподнялся и принялся протискиваться в меня, побряхтывая, потому что дело шло туго. Он поплевал на руку, втер в меня слюну и попробовал снова — и все вдруг началось так неожиданно, эта долбежка у меня между ног, что я все думала, недоверчиво и удивленно: надо же, это действительно происходит, как тут рука Сюзанны отыскала меня, ухватила.

Может, это сам Митч подтолкнул Сюзанну ко мне, — не знаю, не видела. Когда Сюзанна снова поцеловала меня, я с готовностью поверила, что она делает это ради меня, что только так мы с ней можем быть вместе.

Что Митч — просто фоновый шум, неизбежный предлог для ее жадного рта, ищущих пальцев. Я чувствовала свой запах и запах Сюзанны тоже. Верила, что звук, рвущийся у нее откуда-то из глотки, предназначен для меня, как будто ее удовольствие находилось на частоте, которую Митч не улавливал. Она притянула мою руку к своей груди, вздрогнула, когда я коснулась соска. Закрыла глаза, словно я сделала что-то хорошее.

Митч скатился с меня, чтобы понаблюдать. Он месил в пальцах влажную головку члена, матрас проседал под его весом.

А я все целовала Сюзанну — совсем не то что целоваться с женщиной. Когда они мяли мой рот, то только доносили до меня в целом, что такое поцелуй, но вот так не проговаривали. Я притворилась, что Митча тут нет, хотя я чувствовала его взгляд — рот нараспашку, будто багажник. Я заерзала, когда Сюзанна начала раздвигать мои ноги, но она мне улыбнулась, и я перестала сопротивляться. Поначалу ее язык двигался очень осторожно, но затем к нему присоединились и ее пальцы, и мне было стыдно от того, какой я стала мокрой, какие звуки начала издавать. В голове у меня заискрило настолько неизведанное мной удовольствие, что я даже не знала, как его назвать.

Потом Митч трахал нас обеих, как будто мог исправить тот факт, что мы с ней явно предпочитали друг друга. Он обильно потел, жмурился от напряжения. Кровать отъезжала от стены.

Проснувшись утром, я увидела, что мое перепачканное, перекрученное белье валяется на полу, и во мне забурился такой беспомощный стыд, что я чуть не расплакалась.

Митч отвез нас на ранчо. Я молчала, глядела в окно. Казалось, что дома, мимо которых мы проезжали, давно впали в спячку. Дорогие машины стояли в саванах бурых чехлов. Сюзанна сидела впереди. Изредка она оборачивалась ко мне и улыбалась. Я понимала, что она таким образом извиняется, но я сидела с каменным лицом, со сжатым в кулак сердцем. С горем, которому я целиком не могла отдаться.

Наверное, я выскивала в себе злобу, чтобы этой напускной храбростью, этими небрежными мыслями о Сюзанне заглушить печаль. Ну был у меня секс — и что? Велика важность, просто отправление организма. Как еда, нечто механическое, доступное каждому. Зато сколько ханжеских, ванильных просьб подождать, преподнести себя в дар будущему мужу — и сколько облегчения в том, каким безыскусным оказался сам процесс. Я смотрела на сидящую впереди Сюзанну, смотрела, как она, засмеявшись над какой-то шуткой Митча, опустила окно. Как поток ветра подхватил ее волосы.

Митч высадил нас возле ранчо.

— Пока, девочки, — сказал он, вскинув розовую ладонь.

Как будто в кафе-мороженое нас возил, на невинную прогулку, а теперь вот привез обратно, в родительскую колыбель.

Сюзанна сразу отправилась искать Расселла, отколовшись от меня без единого слова. Только потом я поняла, что она, наверное, торопилась отчитаться перед ним. Рассказать о том, как себя повел Митч, достаточно ли мы его ублажили, заставили ли передумать. Но тогда я заметила только, что меня бросили.

Я решила заняться делом, пошла на кухню — чистить чеснок вместе с Донной. Надавливала на зубчики лезвием ножа, как она мне показала. Донна крутила на радиоприемнике ручку туда-сюда, но в ответ слышались только разнообразные помехи и настораживающие потуги Херба Алперта [12]. Наконец она бросила это занятие и снова стала тыкать кулаком в ком черного теста.

— Руз намазала мне волосы вазелином, — сказала Донна. Она тряхнула

головой, волосы даже не шевельнулись. — Потом голову помою, и они будут мягкие-мягкие.

Я молчала. Донна видела, что я расстроена, и косилась на меня.

— А фонтан за домом он вам показывал? — спросила она. — Из Рима привезли. У Митча дома хорошая энергетика, — продолжала она, — воздух ионизирован, из-за океана.

Я покраснела, стараясь думать только о том, как бы получше отделить чеснок от твердой шелухи. Бормотание радио внезапно показалось мне гадким, липким, диктор говорил слишком быстро. Они все там перебивали, поняла я, в этом странном доме Митча на берегу моря. И я только следовала заданному образцу — на меня наклеили опрятный ярлычок “Девочка”, мне определили цену. В этой понятности моего предназначения было даже что-то утешительное, пусть даже я сама этого стыдилась. Я не знала, что можно было надеяться на большее.

Фонтана я не видела. Но не сказала об этом.

У Донны горели глаза.

— А знаешь, — сказала она, — у Сюзанны на самом деле очень богатые родители. У них газовые заправки, что-то типа того. И не была она бездомной, ничего такого. — Говоря, она месила на столе тесто. — И ни в какую больницу она не попадала. Все вообще — брехня. Психанула и скрепкой себя поцарапала, вот и все.

Меня мутило от запаха подмокших объедков в раковине. Я пожала плечами, как будто мне ни до чего дела нет.

Донна не унималась.

— Вот ты мне не веришь, — сказала она, — а это правда. Мы с ней были в Мендосино. Жили там у одного фермера, он яблоки выращивает. Она пережрала кислоты и давай себя скрепкой ковырять, пока мы ее не убедили, что с этим надо завязывать. У нее даже кровь не пошла.

Я не отвечала, и Донна шмякнула тесто в миску. Вонзила в него кулак.

— Ну и думай что хочешь, — сказала она.

Когда Сюзанна наконец зашла к себе в спальню, я переодевалась. Я ссутулилась, прикрывая голую грудь; увидев это, Сюзанна явно хотела сказать что-то едкое, но осеклась. Я заметила шрамы у нее на руке, но решила не задавать неловких вопросов — Донна просто ревнует, и все. К черту Донну и ее сальные, вазелиновые патлы, мерзотные и вонючие, как у выхухоли.

— Знатно мы вчера трипанули, — сказала Сюзанна.

Она попыталась меня приобнять, но я увернулась. — Ой, да брось, тебе

понравилось, — сказала она. — Я сама видела.

Я изобразила, будто меня тошнит, — она расхохоталась. Я сделала вид, что расправляю простыни, точно это потное гнездо можно было хоть как-то улучшить.

— Ладно, ладно, — сказала Сюзанна. — Я знаю, чем тебя порадовать.

Я думала, она извинится. Потом меня осенило — она меня поцелует. В полутемной комнате стало душно. Я уже почти его почувствовала, еле заметный крен в мою сторону — но Сюзанна просто втащила на кровать сумку, бахрома растеклась по матрасу. В сумке лежало что-то непонятное и тяжелое. Она торжествующе на меня поглядела.

— Давай, — сказала она. — Посмотри, что там.

Но я все упрямылась, и Сюзанна, раздраженно фыркнув, раскрыла сумку сама. Я все равно не понимала, что там лежит. Странный металлический блеск. Острые углы.

— Вытаскивай, — нетерпеливо сказала Сюзанна.

Золотая пластинка в стеклянной рамке оказалась куда тяжелее, чем я ожидала.

Она подтолкнула меня в бок:

— Попался, да?

Сюзанна выжидающе глядела на меня — это что-то объясняло, что ли? Я уставилась на имя, выгравированное на маленькой табличке: *Митч Льюис. Альбом “Король солнца”*.

Сюзанна рассмеялась.

— Блин, видела бы ты щас свое лицо, — сказала она. — Ты чего, разве не понимаешь, что я — за тебя?

Пластинка матово посверкивала в сумраке, но даже ее приятный египетский блеск не вызывал у меня никаких чувств — просто экспонат из странного дома, даже ничего ценного. Она уже оттягивала мне руки.

На крыльце раздался какой-то грохот и я вздрогнула. Послышались тяжелые шаги Фрэнка, тающий смех матери. Я сидела в гостиной, развалившись в дедовом кресле, и читала взятый у матери “Макколс”. Картинки генитально-скользящей ветчины, увенчанной ананасами. Лорен Хаттон разлеглась на скалистом обрыве в белье от “Бали”. Мать с Фрэнком шумно ввалились в гостиную, но замолчали, увидев меня. Фрэнк был в ковбойских сапогах, мать сглотнула слова, что уж она там ему рассказывала.

— Солнышко.

Глаза у нее были мутные, ее пошатывало — совсем немного, но я видела, что она напилась и старается это скрыть, хотя порозовевшая шея — мать была в открытой шифоновой блузке — все равно бы ее выдала.

— Привет, — сказала я.

— С-солнышко, а ты чего дома делаешь? — Мать подошла меня обнять, и я не стала противиться, несмотря на исходивший от нее металлический запах алкоголя и увядающий аромат духов. — Конни заболела? — Да нет, — пожалала я плечами.

Снова уткнулась в журнал. На следующей странице девушка в сливочно-желтой тунике стояла на коленях на белой коробке. Реклама теней для век “Мун Дропз”.

— Ты обычно прибегаешь и тут же убегаешь, — сказала она.

— Мне просто захотелось побыть дома, — ответила я. — Это ведь и мой дом, правда?

Мать улыбнулась, пригладила мне волосы:

— Какая ты у меня красавица. Ну конечно, это твой дом. Она красавица, скажи ведь? — спросила она Фрэнка. — Красавица, — повторила она, уже ни к кому не обращаясь.

Фрэнк улыбнулся ей в ответ, но вид у него был какой-то нервный. Меня тошнило от этих ненужных знаний, от того, что я начала подмечать все эти еле заметные перетягивания контроля и власти, уловки и подколки. Ну почему отношения не могут развиваться взаимно, так чтобы обоюдный интерес нарастал с одинаковой скоростью? Я захлопнула журнал.

— Спокойной ночи, — сказала я.

Мне не хотелось даже думать, что будет потом, о руках Фрэнка под шифоном. Мать не настолько пьяна — она выключит свет, предпочтет

великодушную темноту.

Я дала волю фантазии: думала, если какое-то время не буду появляться на ранчо, то Сюзанна вдруг появится, потребует, чтобы я к ней вернулась. А пока что я обжиралась одиночеством, как крекерами, которые я ела целыми упаковками, наслаждаясь оседающей во рту соленостью. Смотрела “Зачарованную” — теперь Саманта меня бесила. Нос этот ее самодовольный, и мужа за дурака держит. А он из-за своей отчаянной, дебильной любви превратился в ходячую шутку. Как-то вечером я остановилась возле бабкиного фотопортрета, висевшего в коридоре. Она была хорошенькая, так и сияла здоровьем. Залакированная шапочка кудрей.

Только глаза у бабки были сонные, будто еще недавно она смотрела пестрые сны. Отрезвляющая мысль — мы с ней совсем не похожи.

Я покурила травы, высунувшись из окна, потом возила в себе пальцами, пока не устала, разглядывая то журнал, то комикс — неважно что. Какие-то изображения тел, все остальное мозг додумывал сам. Я могла смотреть на рекламу “Додж Чарджер” с улыбающейся девушкой в белой ковбойской шляпе и бешено воображать ее в неприличных позах. Какое у нее обмякшее и опухшее лицо, как она сосет и лижет, как слюна течет у нее по подбородку. Мне, по идее, нужно было как-то принять ту ночь с Митчем, отнестись ко всему легко, но я чувствовала только сухую, холодную ярость. Пластинка эта дурацкая. Я всеми силами пыталась выжать из себя какой-то смысл — думала, может, я упустила важный знак, многозначительный взгляд, который мне бросила Сюзанна у Митча за спиной. С его козлиного лица на меня капал пот, пришлось отвернуться.

На следующее утро я обрадовалась, увидев, что на кухне никого нет, а мать принимает душ. Я насыпала сахара в кофе, взяла пачку крекеров, уселась за стол. Мне нравилось сначала размять крекер во рту, а потом залить крахмалистое месиво кофе. Я была до того поглощена этим ритуалом, что вздрогнула, когда на кухне внезапно появился Фрэнк. Он отодвинул стул, уселся, придвинул стул очень близко к столу. Я хотела улизнуть, но он заговорил раньше меня:

— Ну что, какие планы на сегодня?

В друзья набивается. Я завернула поплотнее упаковку крекеров, отряхнула крошки с рук — вся внезапно такая аккуратная.

— Никаких, — ответила я.

Его показная сдержанность в один миг улету чилась. — Ты что,

проторчишь весь день дома? — спросил он.

Я пожала плечами: именно это я и собиралась сделать.

У него задергался мускул на щеке.

— Хоть на улицу выйди, — сказал он. — Сидишь дома будто взаперти.

Фрэнк был без обуви, в ослепительно-белых носках. Я сдержала рвущееся наружу фырканье — до того нелепо выглядит взрослый мужик в одних носках. Он заметил, что у меня кривятся губы, и раскипятился.

— Весело тебе, значит? — спросил он. — Делаешь что хочешь. Думаешь, мать ничего не замечает?

Я напряглась, но взгляда не подняла. Он мог иметь в виду что угодно: ранчо, чем мы с Расселлом занимались. Митча. То, как я думала о Сюзанне.

— Она тут прямо не знала, что делать, — продолжал Фрэнк. — У нее деньги пропали. Прямо из кошелька.

Я знала, что щеки у меня горят, но молчала. Сощурившись, разглядывала стол.

— Ты бы с ней полегче, а? — сказал Фрэнк. — Она женщина хорошая.

— Я не ворую.

Мой голос звучал пискляво, фальшиво.

— Ну ладно, скажем, одалживаешь. Я ей ничего не скажу. Но ты с этим прекращай. Она тебя очень любит, ты хоть понимаешь?

Вода в душе больше не шумела, значит, мать скоро выйдет. Я прикидывала, правда ли Фрэнк ничего не расскажет, — вроде бы он хотел со мной подружиться, а не ябедничать на меня матери. Но быть ему благодарной я не хотела. И думать, что он пытается сойти мне за отца.

— Городской праздник еще продолжается, — сказал Фрэнк. — Сегодня и завтра тоже. Может, сходишь туда, развлечешься. Маму порадуешь. Если делом займешься. На кухню, вытирая мокрые волосы полотенцем, вошла мать, и я сразу оживилась, сделав вид, что слушаю Фрэнка.

— Что думаешь, Джини? — Фрэнк взглянул на мать. — Что я думаю? — спросила она.

— Не сходить ли Эви на эту ярмарку? — сказал Фрэнк. — Столетие чего-то там? Будет ей занятие.

Этот его рефрен мать восприняла как вспышку гениальности.

— Не знаю, там, по-моему, не столетие... — сказала она.

— Ну, короче, городской праздник, — перебил ее Фрэнк, — столетие или что уж там.

— Но идея хорошая, — сказала она. — Развлечешься.

Я чувствовала, как Фрэнк на меня смотрит.

— Угу, — ответила я, — конечно.

— Как приятно, что вы так хорошо общаетесь, — застенчиво добавила мать.

Убирая кружку и крекеры со стола, я скорчила гримасу, но мать ничего не заметила: она уже нагнулась, чтобы поцеловать Фрэнка. Халат у нее на груди распахнулся, я увидела треугольник затененной, пятнистой от загара кожи и отвернулась.

Город все-таки отмечал не столетие, а столетилетие со дня основания — и праздник был жиденский, под стать неуклюжей дате. Ярмарка — чересчур щедрое название для этого мероприятия, хоть на него и собрался почти весь город. В парке проводили благотворительную распродажу, в школьном лекционном зале разыгрывали пьесу об основании города, члены студенческого союза потели во взятых напрокат театральных костюмах. Проезжую часть перекрыли, и я оказалась в колышущейся толпе людей, которые всю работу локтями в надежде на веселье и развлечения. Мужья, выполнявшие свой долг с напряженными от обиды лицами, в кольце жен и детей, которым срочно были нужны мягкие игрушки. Которым были нужны хот-доги, кукуруза на гриле и бледный кислый лимонад. Все атрибуты хорошего досуга. Речку уже замусорили, пакеты из-под попкорна, пивные банки и бумажные веера медленно вертелись на воде.

Мать поразила тому, как Фрэнк, словно по волшебству, сумел выманить меня из дома. Чего, собственно, Фрэнк и добивался. Чтобы она представляла, как ловко он впишется на роль отца. Мне же ярмарка доставила ровно столько удовольствия, сколько я и ожидала. Я ела фруктовый лед, картонный стаканчик размяк, и я перемазала руки в сиропе. Я выкинула стаканчик, не доев, но на ладонях, даже после того как я вытерла их о шорты, так и остались липкие потеки.

Я проталкивалась сквозь толпу, то попадала в тень, то выходила на солнце. Видела знакомых ребят, но в школе они обычно сливались со стеной, и ни с кем из них я не проводила никакого осмысленного времени. Однако я все равно беспомощно твердила про себя их имена. Норм Морович. Джим Шумахер. В основном дети фермеров, от их ботинок всегда пахло гнильцой. На уроках они отвечали тихо, и только когда их спрашивали. Внутри их ковбойских шляп, которые они, переворачивая, клали на парты, был виден скромный ободок грязи. Они вели себя вежливо и порядочно, за ними угадывались молочные коровы, клеверные поля и младшие сестренки. Ничего общего с обитателями ранчо, с жалостью

смотревшими на мальчишек, которые до сих пор почитали отца или вытирали ботинки, входя на кухню к матери. Я гадала, что сейчас делала Сюзанна — плавала в речке, а может, валялась на кровати с Донной, или Хелен, или даже с Митчем — представив это, я прикусила губу, принялась отдирать зубами чешуйку сухой кожи.

Нужно было еще немного поторчать на ярмарке и потом идти домой — обрадовать мать с Фрэнком, что я, мол, получила здоровую дозу социальной активности. Я начала проталкиваться в сторону парка, но и там было негде развернуться: начался парад, поехали грузовики с громоздкими моделями мэрии из гофрированной бумаги. Банковские служащие и девушки в индейских костюмах махали руками с платформ, с яростным, оглушительным грохотом промаршировал оркестр. Я выбралась из толпы, стала обходить ее по краю. Искала переулочки потише. Музыка заиграла громче, парад миновал Ист-Вашингтон. Мое внимание отвлек смех, деланный и язвительный. Не успела я обернуться, как поняла, что смеются надо мной.

Это была Конни — Конни и Мэй, — у Конни с запястья свисала сетчатая хозяйственная сумка, нагруженная какими-то продуктами, я разглядела банку апельсиновой газировки. Из-под футболки у Конни просвечивал купальник. Можно было расшифровать весь их нехитрый день — отупляющая жара, выдохшаяся газировка. Сохнувшие на веранде купальники.

Сначала я почувствовала облегчение — как, например, бывает, когда сворачиваешь домой, на знакомую подъездную дорожку. Но потом мне сделалось не по себе, встали по местам все факты. Конни на меня обиделась. Мы с ней больше не дружим. Конни тем временем оправилась от удивления. Мэй щурила блаухаундовские глаза, надеялась на скандалчик. Из-за скобок казалось, что у нее валик под губами. Конни с Мэй о чем-то пошептались, потом Конни сделала шагок в мою сторону.

— Привет, — осторожно сказала она. — Какие новости?

Я ожидала злости или насмешек, но Конни вела себя нормально и как будто даже рада была меня видеть. Мы с ней почти месяц не общались. Я взглянула на Мэй, пытаюсь понять, нет ли тут подвоха, но та стояла с подчеркнуто непроницаемым лицом.

— Да никаких, — ответила я.

По идее, прошедший месяц должен был стать противоядием, а само существование ранчо — снизить накал наших с ней привычных драм, но как же быстро оживают старые привязанности — стадным, животным

рывком. Я хотела им понравиться.

— У нас тоже, — ответила Конни.

Вспышка благодарности к Фрэнку: хорошо, что я сюда пришла, хорошо побыть с кем-то вроде Конни, с самой обычной подругой, не такой сложной и непонятной, как Сюзанна, зато о которой я знала не только какие-то будничные мелочи. С Конни мы до мерцающей головной боли смотрели телик, в ванной, под резким светом, выдавливали друг другу прыщи на спине.

— Скажи, убожество? — я махнула рукой в сторону парада. — Сто десять лет.

— Тут какие-то уродцы ошиваются. — Мэй шмыгнула носом, а я подумала, уж не на меня ли она намекает. — Возле речки. От них воняет.

— Ага, — сказала Конни, смягчаясь. — И пьеса вообще дурацкая. У Сюзан Тейер платье просвечивало. Все белье было видно.

Они переглянулись. Я завидовала их совместным воспоминаниям, тому, как они, наверное, сидели рядышком в зрительном зале, скучая, ерзая на жаре.

— Мы думаем пойти поплавать, — сказала Конни. Что-то в этой фразе показалось им смешным, и я неуверенно посмеялась вместе с ними. Как будто поняла шутку.

— Мм... — Конни словно молча о чем-то договаривалась с Мэй. — Хочешь с нами?

Я могла бы и догадаться, что ничем хорошим это не кончится. Что все получается как-то уж слишком легко, что дезертирства мне не простят.

— Поплавать?

Мэй, кивая, подошла поближе:

— Да, в “Лугах”. Мама нас отвезет. Поедешь с нами?

Сама мысль о том, что я могу с ними поехать, показалась мне несусветным анахронизмом, передо мной будто распахнулась параллельная вселенная, в которой мы с Конни по-прежнему дружили, а Мэй Лопес приглашала нас поплавать в спортклуб “Луга”. Там подавали молочные коктейли и делали сырные сэндвичи на гриле, с кружевными оборками подгоревшего сыра. Простые вкусы, еда для детей, ни за что не платишь, просто пишешь имя родителя. Я поддалась на их лесть, вспомнила нашу с Конни безыскусную близость. Я до того освоилась у нее дома, что даже не задумывалась, куда в шкафчике ставить миски, куда — пластмассовые чашки с погрызенными посудомоечной машиной краями. Какое же оно было милое, какое несложное, это незыблемое течение нашей дружбы.

И вот тут-то Мэй и шагнула ко мне, взмахнув банкой газировки. Струйка попала мне в лицо по касательной, так что Мэй меня не облила, а скорее обрызгала. А, подумала я, в животе екнуло. А, ну конечно же. Парковка накренилась. Газировка была теплой. Запахло химией, капли неприятно растеклись по асфальту. Мэй бросила банку, она была почти пустой. Банка покатилась, остановилась. Лицо Мэй блестело, как четвертак, она словно опешила от собственной храбрости. Конни же колебалась, и лицо у нее напоминало искрящую лампочку, которая наконец вспыхнула во все ватты, когда Мэй громыхнула сумкой — точно в колокол ударила.

На меня и попало-то всего несколько капель. Все могло быть гораздо хуже, вместо этой жалкой попытки меня могли окатить с головы до ног, но мне отчего-то хотелось, чтоб меня окатили. Мне хотелось, чтобы все случившееся было таким же огромным и безжалостным, как унижение, которое я чувствовала.

— Хорошего тебе лета, — пропела Мэй, хватая под ручку Конни.

И они ушли, размахивая сумками, громко шлепая сандалиями по асфальту. Конни оглянулась, но Мэй рывком развернула ее обратно. По улице разносился серф-рок, сочившийся из открытого окна какой-то машины, — мне показалось, что за рулем сидел Генри, друг Питера, но скорее всего это мне просто привиделось. Как будто станет лучше, если мое детское унижение растянуть до теории заговора.

Я стояла с идиотически спокойным лицом, боясь, вдруг кто-нибудь на меня смотрит, выискивает признаки слабости. А впрочем, они все были как на ладони: напряженность, обиженное упорствование — все хорошо, все нормально, просто небольшое недопонимание, просто подружки вот так дурацки пошутили. Ха-ха-ха — как закадровый смех в “Зачарованной”, из-за которого ужас на марципановом личике Даррина казался совсем бессмысленным.

Я всего два дня не видела Сюзанну, а уже опять увязла в потоке унылой подростковой жизни, в глупых интригах Мэй и Конни. Холодные руки матери — она коснулась моей шеи так внезапно, будто хотела, чтобы я от испуга полюбила ее. Ужасная эта ярмарка, ужасный город. Злость на Сюзанну куда-то запропастилась, как убранный с глаз подальше старый свитер, о котором почти не вспоминают. Можно было еще думать о том, как Расселл ударил Хелен, — эта мысль изредка вылезала зацепкой, тревожным звоночком. Но я умела находить всему объяснения.

На следующий день я вернулась на ранчо.

Сюзанна лежала на матрасе, увлеченно склонившись над книгой. Читать она не любила, поэтому видеть эту сосредоточенность было непривычно. На разорванной обложке виднелась какая-то футуристичная пентаграмма, массивные белые буквы.

— О чем книжка? — спросила я, стоя в дверях. Сюзанна вздрогнула, подняла голову.

— О времени, — ответила она. — О пространстве.

Стоило мне ее увидеть, как перед глазами замелькала та ночь с Митчем, но уже расплывчато, как много раз передуманная мысль. Сюзанна ни словом не обмолвилась о том, что я не появлялась несколько дней. Как и о Митче. Она только вздохнула и отшвырнула книгу. Улеглась, стала разглядывать ногти. Ущипнула себя за предплечье.

— Кисель, — заявила она, ожидая, что я ей возражу.

Знала, что так и будет.

В ту ночь я никак не могла уснуть, ворочалась на матрасе. Меня вернуло к ней. Я следила за каждым пятнышком румянца на ее лице — с омерзением, но и с радостью, будто обманутый муж.

— Я рада, что вернулась, — прошептала я, темнота позволила мне это сказать.

Сюзанна рассмеялась в полусне.

— Но ты всегда можешь уйти домой.

— Может, я больше туда не пойду.

— Эви вырвется на волю.

— Правда. Я хочу остаться здесь навсегда.

— Так дети говорят, когда из лагеря разъезжаются.

Я видела белки ее глаз. Но не успела я ничего ответить, как она вдруг шумно вздохнула.

— Ужасно жарко, — сказала она.

Она отбросила покрывало и отвернулась.

10

Дома у Даттонов громко тикали часы. Яблоки в плетеной корзинке казались восковыми, старыми. На каминной полке стояли фотографии: знакомые лица Тедди и его родителей. Сестры, которая вышла замуж за продавца IBM. Я ждала, что вот-вот распахнется входная дверь, что кто-то застучает нас здесь. Солнце осветило разноцветную бумажную звезду в окне, она ярко вспыхнула. Миссис Даттон, наверное, потратила много времени на то, чтобы наклеить ее на стекло, чтобы украсить свой дом.

Донна зашла в одну комнату, вышла. Слышно было, как она хлопает выдвигаемыми ящиками, двигает какие-то вещи.

В тот день я словно бы впервые увидела дом Даттонов. Заметила, что в гостиной у них ковер. Что на кресле-качалке лежит подушка, вышитая крестиком — похоже, вручную. Что на телевизоре хлипкая антенна и что здесь пахнет какой-то затхлой ароматической смесью. Напоминания о том, что хозяев нет дома, выплескивались буквально отовсюду: из разложенных на журнальном столике газет, из открытого пузырька с аспирином в кухне. Без Даттонов это все теряло смысл, казалось размытыми силуэтами в объемном кино, которым только очки могли придать резкость.

Донна все двигала предметы — в основном мелочи. Синий стакан с цветами сдвинула дюйма на четыре влево. Пнула туфлю, так что она отлетела от своей пары. Сюзанна ничего не трогала, сначала — ничего. Она хватала вещи глазами, всасывала все: фотографии в рамках, керамического ковбоя. При виде ковбоя Сюзанна с Донной снизошли до хихиканья, но мне смешно не было; только странное ощущение в животе, резь пустого солнечного света.

Мы втроем отправились в забег по мусорным бакам — на чужой машине, принадлежавшей, скорее всего, Митчу. Сюзанна включила радио — *KFRC*, Кей-О Бейли на “Волне 610”. Донна и Сюзанна вели себя очень оживленно, и я тоже. Радовалась, что вернулась к ним. Сюзанна припарковалась возле стеклянного фасада “Сейфвэя” — знакомый мне магазин, крыша с зеленым бортиком. Мать тут иногда покупала продукты.

— Ну что, пора цап-цап! — Донна старательно рассмеялась.

Голодным зверьком она нырнула в контейнер, подвязав юбку над коленями, чтобы можно было зарыться поглубже. С наслаждением возилась в мусоре, в чавкающей жиже.

Когда мы ехали обратно на ранчо, Сюзанна сделала объявление.

— Пора нам кое-куда съездить, — громко сказала она, чтобы втянуть в свои планы и Донну.

Приятно было знать, что она думает обо мне, что она ко мне подлизывается. После истории с Митчем я стала замечать в ней какое-то новое отчаяние. Теперь я видела, что она старается мне угодить, знала, как привлечь ее внимание.

— Куда? — спросила я.

— Узнаешь, — ответила Сюзанна, переглянувшись с Донной. — Для нас это как лекарство, такой способ немножко подлечиться.

— О-о-о! — Донна подалась вперед. Она как будто сразу поняла, что имела в виду Сюзанна. — Да, да, да.

— Нам нужен дом, — сказала Сюзанна. — Это во-первых. И чтобы там никого не было. — Она бросила на меня взгляд: — Твоей матери нет дома, да?

Я не знала, что они хотели сделать. Но даже тогда у меня хватило ума распознать тревожный звоночек и не рисковать своим домом. Я заерзала.

— Она сегодня никуда не собиралась.

Сюзанна разочарованно хмыкнула. Но я уже вспомнила другой дом, где, скорее всего, сейчас никого нет. И не задумываясь предложила его им.

Я показывала Сюзанне дорогу и, пока мы ехали, смотрела, как постепенно становятся знакомыми окрестности. Когда Сюзанна остановилась, а Донна вылезла и залепила грязью две первые цифры на номере, меня это даже не слишком обеспокоило. Я набралась непривычной мне храбрости — чувства, что я выхожу за пределы дозволенного, и решила отдаться на волю случая. Я была словно заперта в собственном теле и не знала, что меня держит. Наверное, вот это понимание: я сделаю все, что Сюзанна скажет. Странная это была мысль — что все свелось к банальному движению вслед за ярким потоком событий. Что все может быть вот так просто.

Сюзанна вела машину очень небрежно, пролетела на красный и подолгу не глядела на дорогу, словно замечтавшись о чем-то своем. Наконец она свернула на нашу улицу. Знакомые ворота мелькали одни за другими, как бусины на нитке.

— Сюда, — сказала я, и Сюзанна притормозила.

У Даттонов были простенькие занавешенные окна, к входной двери вела выложенная плиткой дорожка. Ни одной машины, только масляное пятно на асфальте. Велосипеда Тедди во дворе тоже не было, значит, и он уехал. Похоже, дома и впрямь никого.

Сюзанна припарковалась чуть дальше, в сторонке, а Донна быстро нырнула в боковой дворик. Я шла за Сюзанной, но держалась от нее чуть поодаль, загребая сандалиями пыль.

Сюзанна обернулась:

— Ну ты идешь или как?

Я рассмеялась, но она точно заметила, каких усилий мне это стоило.

— Я просто не понимаю, что мы делаем.

Она наклонила голову, улыбнулась:

— А тебе не все равно?

Мне было страшно, хотя я сама не знала почему. Я лихорадочно перебирала в голове наихудшие варианты — и сама себя за это ругала. Что же они будут делать? Наверное, что-то украдут. Я понятия не имела.

— Давай быстрее, — сказала Сюзанна. Она улыбалась, но видно было, что она уже начинает терять терпение. — Нельзя тут торчать.

Сквозь деревья протянулись косые вечерние тени. Из бокового дворика через деревянную калитку к нам вышла Донна.

— Задняя дверь открыта, — сказала она.

У меня похолодело в животе — теперь что будет, то будет, их никак не остановить. Но тут к нам, стуча когтями, выскочил Тики, жалко захлебываясь в беспомощной тревоге. Все его тело сотрясало от лая, тощие плечи ходили ходуном.

— Черт, — пробормотала Сюзанна.

Донна тоже попятилась.

Собака могла бы стать неплохой отговоркой, и мы могли бы сесть в машину, вернуться на ранчо. С одной стороны, мне только этого и хотелось. А с другой — ужасно хотелось поддаться разрушительному позыву в груди. Мне казалось, что Даттоны — такие же сволочи, как Конни, Мэй и мои родители. Которые сидят в своем эгоизме, в своей тупости, как в карантине.

— Погодите, — сказала я. — Он меня знает.

Не сводя глаз с собаки, я присела на корточки, протянула руку. Тики подошел, обнюхал мою ладонь.

— Хороший Тики. — Я погладила его и почесала под подбородком, пес умолк, и мы вошли в дом.

Я поверить не могла, что ничего не случилось. Что за спинами у нас не взвыли полицейские сирены. Даже когда мы вот так запросто попали на территорию Даттонов, пересекли невидимую границу. И зачем мы это

сделали? Безо всякой на то причины взяли и нарушили неприкосновенность чужого дома? Чтобы доказать, что мы и такое можем? Я не знала, что и думать, глядя, как Сюзанна с застывшим на лице спокойствием, с удивительной отстраненностью трогает вещи Даттонов, в то время как я сама чуть ли не светилась от странного, необъяснимого возбуждения. Донна разглядывала какую-то семейную ценность, молочную керамическую безделушку. Я присмотрелась и увидела, что это статуэтка девочки-голландки. Какая же это дичь, обломки чужих жизней, вырванные из контекста. Даже ценные вещи кажутся хламом.

У меня засосало под ложечкой, и я вспомнила, как мы с отцом, скрючившись на корточках, сидели на берегу озера Клир. Отец шурился в полуденном пекле, из купальных шорт торчали по-рыбьему белесые ноги. Он показывал мне сидевшую в воде пиявку, трясущуюся, налитую кровью. Он был доволен собой, шевелил пиявку палкой, но мне было страшно. От вида этой чернильной пиявки что-то дрогнуло у меня в животе, и эту же дрожь я ощутила снова в доме Даттонов, когда поймала взгляд Сюзанны, стоявшей в другом конце гостиной.

— Нравится? — спросила Сюзанна. Еле заметно улыбнулась. — Угар, да?

В комнату вошла Донна. Руки у нее до самых локтей блестели от липкого сока, она держала треугольник арбуза, губчато-розового, будто внутренность.

— Позвольте вас поприветствовать, — сказала она, смачно чавкая.

Что-то звериное буквально сочилось из Донны, как дурной запах, подол ее платья был весь в дырах, потому что она на него вечно наступала; как же резко она выделялась на фоне чистеньких занавесок, полированных ножек дивана. Арбузный сок капал на пол.

— В раковине еще есть, — сказала она. — Вкусный — очень.

Донна аккуратно, двумя пальчиками выковырнула из зубов арбузное семечко и щелчком отбросила его в угол.

Мы пробыли там всего полчаса, хотя казалось — гораздо дольше. Включили и выключили телевизор. Порылись в почте, разложенной на столике в прихожей. Сюзанна поднялась на второй этаж, я пошла за ней, гадая, где же Тедди, где его родители. Интересно, ждет ли еще Тедди, что я принесу ему наркотики? Тики топотал в коридоре. До меня вдруг дошло, что я знаю Даттонов всю свою жизнь. Под фотографиями на стенах тянулась полоска обоев, которые уже начали отслаиваться, — в мелкий розовый цветочек. С жирными следами пальцев.

Потом я часто буду вспоминать этот дом. Все было очень невинно, уверяла я себя, безобидная шалость. Я вела себя глупо, хотела снова привлечь внимание Сюзанны, опять почувствовать, что мы с ней вдвоем против целого мира. Мы проделали крошечную прореху в жизни Даттонов, чтобы и они — хотя бы на миг — увидели себя в другом свете. Заметили бы небольшой разлад, стали бы припоминать, когда это они передвинули обувь или убрали часы в ящик стола. Это же хорошо, твердила я себе, мы их заставим посмотреть на себя с другой стороны. Это пойдет им на пользу.

Донна разгуливала по родительской спальне в длинной шелковой комбинации, которую она натянула прямо поверх платья.

— Роллс подавайте к семи, — сказала она, шурша текучей тканью цвета шампанского.

Сюзанна фыркнула. Я заметила опрокинутый флакон духов на тумбочке, золотые цилиндрики помады, гильзами разбросанные по ковру. Сюзанна уже рылась в комод, засовывала руки в чулки телесного цвета, кулаки выпирали непристойными шишками. Бюстгальтеры были тяжелыми, как будто лечебными, с жесткой проволокой внутри. Я подняла помаду, раскрутила ее, вдохнула тальковый запах оранжевого кармина.

— О, точно! — воскликнула Донна, посмотрев на меня. Она схватила помаду, мультяшно выпятила губы, сделала вид, что красится. — Надо им оставить записочку, — сказала она, оглядываясь.

— На стене, — добавила Сюзанна.

Видно было, что она загорелась этой идеей.

Я хотела их отговорить, мне казалось, если мы что-то напишем, это будет сродни насилию. Миссис Даттон придется отскребать ее со стены, хотя фантомные катышки все равно останутся, как квитанция после чистки. Но я промолчала.

— Картинку? — спросила Донна.

— Сердце. — Сюзанна подошла к ней: — Дай я сама нарисую.

И тут я будто увидела Сюзанну насквозь. Отчаяние, которое в ней проглядывало, внезапное ощущение зияющей в ней черноты. Тогда я и не думала, на что эта чернота способна, тогда меня просто вдвойне сильнее к ней потянуло.

Сюзанна взяла у Донны помаду, но не успела коснуться кремовой стены, как на дорожке возле дома послышался какой-то шум.

— Черт, — сказала Сюзанна.

Донна с вялым любопытством вскинула брови: ну и что дальше?

Открылась входная дверь. Я почувствовала несвежесть во рту, гнилой сигнал страха. Сюзанна, похоже, тоже испугалась, но ее страх был отстраненным, насмешливым, как будто мы играли в прятки и теперь вот ждем, когда нас найдут. Услышав цоканье каблучков, я поняла, что пришла миссис Даттон.

— Тедди? — крикнула она. — Ты дома?

Сюзанна припарковалась чуть дальше по улице, но все равно миссис Даттон точно заметила незнакомую машину. Может, она подумала, что к Тедди приехал какой-нибудь друг, какой-нибудь местный приятель постарше. Донна хихикала, зажимая рот рукой. Пучила глаза от смеха. Сюзанна, кривляясь, делала страшное лицо — тсс, мол. У меня в ушах громко стучал пульс. Тики носился внизу, было слышно, как миссис Даттон с ним воркует, а он тяжело вздыхает в ответ.

— Эй? — крикнула она.

В наступившей тишине явно чувствовалось напряжение. Скоро она поднимется в спальню — и что тогда?

— Пошли, — прошептала Сюзанна. — Смоемся через заднюю дверь.

Донна неслышно хохотала.

— Вот блин, — повторяла она, — вот блин.

Сюзанна бросила помаду на комод, но Донна так и осталась в комбинации, только лямки поддернула.

— Иди первой, — сказала она Сюзанне.

Чтобы выйти из дома, нужно было пройти мимо миссис Даттон на кухне.

Она, наверное, недоумевала, глядя на розовое месиво арбуза в раковине, на липкие следы на полу. Может быть, только сейчас уловила что-то неладное, царапнуло чужим присутствием. Дрожащая ладонь у горла, вот бы муж был рядом.

Сюзанна кинулась вниз по лестнице, мы с Донной рванули следом. Оглушительно топая, пронеслись мимо миссис Даттон, на всех скоростях проскочили кухню. Донна и Сюзанна хохотали как бешеные, миссис Даттон визжала от ужаса. Тики, гавкая, помчался за нами — быстро, возбужденно, стуча когтями по полу. Миссис Даттон пятилась с неприкрытым ужасом.

— Эй, вы, стойте! — Но голос у нее дрожал.

Она наткнулась на табурет, потеряла равновесие, села с размаху на плитки. Мы пронеслись мимо, и я оглянулась — увидела, как миссис Даттон растянулась на полу. На застывшем лице промелькнуло узнавание.

— Я тебя узнала, — крикнула она, пытаясь встать, истерически задыхаясь. — Я тебя узнала, Эви Бойд.

Часть третья

Джулиан вернулся из Гумбольдта вместе с другом, которого нужно было подбросить до Лос-Анджелеса. Друга звали Зав. Имя казалось смутно растафарианским, по крайней мере, он его как-то так произносил, хотя сам Зав был бледный как рыбина, с копной рыжих волос, стянутых женской резинкой. Он был гораздо старше Джулиана — лет тридцать пять, может, — но одевался как подросток: такие же чересчур длинные шорты с кучей карманов, такая же заношенная в хлам футболка. Он, оценивающе щурясь, расхаживал по дому Дэна — взял статуэтку быка, вырезанную то ли из слоновой кости, то ли из какой-то другой кости, поставил на место. Внимательно изучил фотографию матери Джулиана на пляже, с Джулианом на руках, и, посмеиваясь, вернул ее на полку.

— Слушай, это ок, если он у нас переночует? — спросил Джулиан.

Как будто у воспитательницы в лагере.

— Это твой дом.

Зав подошел, пожал мне руку.

— Спасибо, — сказал он, энергично сдавливая мне ладонь, — вот это, я понимаю, по-человечески.

Саша и Зав, похоже, были знакомы, и вскоре все трое уже обсуждали мрачный бар неподалеку от Гумбольдта и его седого владельца-коноплевода. Джулиан обнимал Сашу за плечи со взрослым видом мужика, вернувшегося из забоя. Сложно было представить, что он может навредить собаке или кому угодно, до того Саша радовалась его возвращению. Со мной она весь день говорила уклончиво, по-девчачьи, никакого намека на нашу вчерашнюю беседу. Зав сказал что-то, и она рассмеялась милым, негромким смехом. Рот слегка прикрыла рукой, как будто не хотела показывать зубы.

Я собиралась поужинать в городе, оставить их втроем, но Джулиан заметил, что я ухожу.

— Эй, эй, эй, — сказал он.

Все посмотрели на меня.

— Я выйду ненадолго в город, — сказала я.

— Поешь с нами, — сказал Джулиан.

Саша кивнула, прижалась к нему. На меня она смотрела с небрежным, отрывочным вниманием человека, который весь вращается вокруг любимого.

— У нас куча еды, — сказала она.

Улыбаясь, я, как положено, стала отказываться, но в конце концов сняла куртку. Быстро привыкла к чужому вниманию.

По дороге из Гумбольдта они заехали за продуктами: громадная замороженная пицца, пенопластовый лоток говяжьего фарша, продававшегося со скидкой.

— Настоящий пир, — сказал Зав. — Белок есть, кальций есть. — Он вытащил из кармана аптечный пузырек: — И зелень есть.

Он принялся крутить косяк на столе, на скручивание ушло огромное количество бумаги и усилий. Зав оглядывал свою работу с расстояния, потом брал еще щепотку из пузырька, промариновав всю кухню в запахе подмокшей конопля.

Джулиан обжаривал фарш на плите, скользкий блеск мяса постепенно исчезал. Он потыкал разваливающиеся котлеты ножом для масла, понюхал их, поворожил. Студенческая готовка. Саша сунула пиццу в духовку, скомкала целлофановую обертку. Положила каждому по бумажному полотенцу — весточка из мира обывателей, где накрывают на столы и у всех есть дела по дому. Зав пил пиво и с насмешливым презрением наблюдал за Сашей. Косяк он пока не раскурил, но с явным предвкушением вертел его в пальцах.

Я слушала, как они с Джулианом обсуждают наркотики — со страстностью профессионалов, обмениваясь сводками, будто биржевые трейдеры. Преимущества парникового урожая перед открытым грунтом. Уровни ТГК ^[13] в разных сортах. Совсем не то что в дни моей молодости, когда наркотики были сродни хобби, каннабис выращивали вместе с помидорами и раздавали в баночках с завинчивающимися крышками. Кто хотел, сам собирал семена и сажал. Одну крышку можно было обменять на бензин — хватало, чтоб доехать до города. Поэтому теперь странно было слушать, как они упрощают наркотики до цифр и расчетов, низводят мистические врата до массового изделия. Впрочем, может, Джулиан и Зав правильнее к этому относятся, без очумелого идеализма.

— Блядь, — сказал Джулиан.

В кухне запахло пеплом и горелым крахмалом.

— Черт, черт, черт!

Он открыл духовку, выхватил пиццу голыми руками и, чертыхаясь, швырнул ее на стол. Она была черная и дымилась.

— Блин, — сказал Зав, — мы ведь специально получше выбирали. Подороже.

Саша заметалась по кухне. Кинулась читать инструкцию на коробке от пиццы.

— В разогретую духовку, на четыреста пятьдесят, — проямлила она. — Я так и сделала. Ничего не понимаю.

— А во сколько ты ее поставила? — спросил Зав. Саша взглянула на висевшие на стене часы.

— Дура, они стоят, — сказал Джулиан.

Он схватил коробку, запихнул ее в мусорное ведро.

У Саши было такое лицо, словно она вот-вот расплачется.

— А, ладно, — с отвращением сказал он. Поковырял горелую корку сыра, вытер пальцы.

Я представила себе профессорского пса. Как несчастное животное ковыляет кругами. В сосудах плещется яд. И все, о чем Саша, наверное, умолчала.

— Я могу что-нибудь приготовить, — предложила я. — В шкафчике есть макароны.

Я попыталась поймать Сашин взгляд. Передать ей свое сочувствие — вместе с предостережением. Но до Саши было не достучаться, она остро переживала свой провал. Стало очень тихо. Зав все крутил в руке косяк, ждал, что будет дальше.

— Ну зато у нас мяса много, — наконец сказал Джулиан, злость с него потихоньку схлынула. — Ничего страшного.

Он потер Сашину спину — грубовато, как мне показалось, хотя ее этот жест, похоже, успокоил, вернул в мир. Когда он ее поцеловал, она закрыла глаза.

За ужином мы выпили бутылку вина из запасов Дэна, осадок окрасил трещинки у Джулиана в зубах. Потом пили пиво. Алкоголь впитал мясной запах из наших ртов. Я не знала, который час. За окнами было темно, под карнизами извивался ветер. Саша собирала мокрые обрывки винной этикетки в аккуратную кучку. Она то и дело поглядывала на меня, Джулиан одной рукой разминал ей шею. Они с Завом не умолкали весь ужин, мы же с Сашей погрузились в знакомое мне с подростковых лет молчание: усилия, которые я бы затратила, чтобы разъединить спевшихся Зава и Джулиана, того не стоили, проще было наблюдать за ними вместе с Сашей. Она же вела себя так, будто ей достаточно было просто сидеть с ними рядом.

— Потому что ты хороший парень, — все повторял Зав. — Ты хороший парень, Джулиан, поэтому я не беру с тебя денег вперед. А мне, сам знаешь, приходится деньги вперед брать — с Макгинли, с Сэма, со всех этих дебилов.

Они были пьяны, все трое, да и я, наверное, тоже, дымили так, что потолок потускнел. Мы раскурили толстенный косяк, Зав начал

сладострастно жмуриться. Довольный, расплывающийся прищур. Саша еще глубже ушла в себя, хотя и расстегнула толстовку — грудь у нее была бледная, испещренная бледно-голубыми венами. Она еще ярче накарсила глаза, не знаю, когда только успела.

Когда мы поели, я встала из-за стола.

— Нужно еще кое-что сделать, — сказала я.

Они вяло звали меня посидеть еще, но я отказалась. Я закрыла дверь в спальню, но обрывки разговора все равно просачивались.

— Я тебя уважаю, — говорил Джулиан Заву. — Блин, я всегда тебя уважал, с того самого раза, когда Скарлетт говорит, такая, тебе очень надо с одним человечком познакомиться.

Он щедро сыпал обожанием, оптимистичными обобщениями укуреного человека.

Зав отвечал ему отработанными пасами. Я слышала, как молчит Саша.

Когда я снова вышла на кухню, там ничего, в общем-то, не изменилось. Саша по-прежнему слушала их разговор так, будто ей когда-нибудь придется сдавать по нему экзамен. Опынение Завы и Джулиана перешло в неподъемную стадию, лбы взмокли от пота.

— Мы очень шумим? — спросил Джулиан.

Снова эта странная вежливость, как легко он ее включает.

— Нет, что ты, — сказала я. — Просто пить хочу. — Посиди с нами, — сказал Зав, разглядывая меня. — Поговори.

— Да все в порядке.

— Давай, Эви, — сказал Джулиан.

Я удивилась, что он назвал меня по имени, этой непривычной интимности.

На столе круглые следы от бутылок, остатки ужина. Я стала собирать тарелки.

— Брось, не надо, — сказал Джулиан, отодвигаясь, чтобы я могла взять его тарелку.

— Ты готовил, — ответила я.

Саша чирикнула свое спасибо, когда я прибавила ее тарелку к стопке. Телефон Завы засветился, заерзал по столу. Кто-то ему звонил: на экране вспыхнула мутная фотография женщины в нижнем белье.

— Это Лекси? — спросил Джулиан.

Зав кивнул, на звонок отвечать не стал.

Джулиан с Завом переглянулись, мне не хотелось этого видеть. Зав рыгнул. Оба расхохотались. Запахло напоминанием о пережеванном мясе.

— Бенни теперь типа спец по компьютерам, — сказал Зав, — ты знал?
Джулиан хлопнул по столу:

— Да ладно!

Я отнесла тарелки к раковине, собрала с кухонной стойки скомканные бумажные полотенца. Смахнула крошки в ладонь.

— Он пиздец какой жирный, — сказал Зав, — оборжаться просто.

— Бенни — это тот парень, с которым вы учились? — спросила Саша.

Джулиан кивнул. Я налила в раковину воды. Джулиан развернулся лицом к Саше, они стукнулись коленями. Он поцеловал ее в висок.

— На вас, ребята, глядеть тошно, — сказал Зав.

Говорил он с неувимой издевкой. Я опустила тарелки в воду. На поверхности образовалась сетка жира.

— Я вот чего не понимаю, — продолжал Зав, обращаясь к Саше, — почему ты Джулиана не бросишь? Ты для него слишком секси.

Саша захихикала, но я оглянулась и увидела, что она напряглась, обдумывая ответ.

— Ну ведь правда же, она конфетка, — сказал Зав Джулиану, — да ведь?

Я подумала, что Джулиан улыбается так, как может улыбаться только единственный ребенок в семье, человек, который уверен в том, что всегда получит желаемое. И получал ведь, наверное. В этом освещении они напоминали мне сцену из фильма, для которого я была уже старовата.

— Но мы же с Сашей друг друга знаем, да? — Зав ей улыбнулся. — Мне Саша нравится.

Саша удерживала на лице минимальную улыбку, выравнивала кучку из обрывков.

— Ей не нравятся ее сиськи, — сказал Джулиан, наминая ей шею, — а я говорю, сиськи нормальные.

— Саша! — театрально огорчился Зав. — У тебя шикарные сиськи!

Я покраснела, заторопилась, чтобы побыстрее домыть посуду.

— Ага, — сказал Джулиан, так и держа ее за шею, — были б не шикарные, Зав бы так и сказал.

— Я всегда говорю правду, — подтвердил Зав.

— Всегда, — сказал Джулиан. — Это правда.

— Покажи, — сказал Зав.

— Они слишком маленькие, — сказала Саша.

Она растягивала губы, будто смеялась сама над собой, и ерзала на стуле.

— Ну и хорошо, не обвиснут, — сказал Джулиан. Пощекотал ее

плечо. — Покажи Заву.

Саша покраснела.

— Давай, малыш, — сказал Джулиан так резко, что я оглянулась.

Я поймала взгляд Саши, уверила себя, что она умоляюще на меня посмотрела.

— Ребята, хватит, — сказала я.

Парни обернулись с насмешливым изумлением.

Хотя я думаю, что они ни на секунду не забывали, что я тоже здесь. Что мое присутствие — часть игры.

— Чего? — спросил Джулиан, мигом сделав невинное лицо.

— Поостыньте.

— Да все нормально, — вмешалась Саша.

Она хихикнула, не спуская глаз с Джулиана.

— А что мы такого делаем? — спросил Джулиан. — Что именно у нас должно “поостыть”?

Они с Завом зафыркали. До чего же быстро нахлынули старинные чувства, унижительный внутренний лепет. Я скрестила руки, поглядела на Сашу:

— Ей не по себе.

— Все с Сашей хорошо, — ответил Джулиан. Он заткнул прядь волос ей за ухо — она слабо, с усилием улыбнулась. — А кроме того, — продолжал он, — тебе ли нам рассказывать, как себя вести?

У меня сжалось сердце.

— Ты ж, по-моему, кого-то убила, — сказал Джулиан. Зав втянул воздух сквозь зубы, издал нервный смешок. Я ответила — как сквозь удушье:

— Ну конечно же, нет.

— Но ты знала, что они хотели сделать, — сказал Джулиан. Смеясь от восторга, что я попалась. — Расселл Хадрик, вся вот эта херня, ты же была там с ними.

— Хадрик? — спросил Зав. — Ты гонишь?

Я чувствовала, как на голос давит паника, постаралась взять себя в руки.

— Я редко там появлялась.

Джулиан пожал плечами:

— Что-то не похоже.

— Да ты сам-то в это не веришь.

Но у них были непроницаемые лица.

— Саша говорит, ты ей сама сказала, — продолжал Джулиан. — Что

ты, типа, тоже могла кого-нибудь убить.

Я резко втянула воздух. Какое жалкое предательство: Саша пересказала Джулиану все, что я ей го ворила. — Так что показывай. — Зав повернулся к Саше.

Я снова стала невидимой. — Покажи нам свои знаменитые сиськи.

— Ты не обязана этого делать, — сказала я ей.

Саша стрельнула глазами в мою сторону.

— Да ладно, это фигня. — Ее голос сочился холодным, очевидным презрением.

Она оттянула футболку, задумчиво поглядела внутрь.

— Поняла? — неприятно улыбнулся мне Джулиан. — Слушай Сашу.

Когда мы с Дэном еще тесно общались, я побывала у Джулиана на концерте. Джулиану тогда было, наверное, лет девять. Помнится, он талантливо играл на виолончели, тонкие ручки летали, выполняя заунывную, взрослую работу. Под носом засохли сопли, инструмент он держал идеально ровно. И не верилось, что мальчик, который мог выманить наружу эти прекрасные, мечущиеся звуки, вырос в почти взрослого мужчину, смотревшего на Сашу с холодным блеском в глазах.

Она стянула футболку, покрасневшись, хотя вид у нее был, скорее, сонный. Нетерпеливо, профессионально выпутала зацепившийся за бюстгальтер воротник. Выставила бледные груди, на коже следы от лифчика. Зав одобряюще вскрикнул. Под взглядом Джулиана нажал на розовый сосок.

Мне уже давно здесь было нечего делать.

Я попалась. Конечно, я попалась.

Лежа на полу кухни, миссис Даттон выкрикивала мое имя словно правильный ответ. И я замешкалась всего-то на секунду — автоматическая, коровья реакция на собственное имя, чувство, что раз миссис Даттон упала, то ей нужно помочь, — но за это время Сюзанна с Донной уже успели далеко убежать, и когда до меня это дошло и я очнулась, они уже почти скрылись из виду. Сюзанна обернулась один раз и видела, как миссис Даттон трясущейся рукой вцепилась в мою руку.

Огорченные, недоуменные восклицания матери: я ни на что не годна. Меня лечить надо. Она куталась в свое потрясение, как в стройнящее ее новое пальто, гневалась напоказ, перед невидимым жюри. Хотела знать, с кем я залезла в дом к Даттонам.

— Джуди видела еще двух девочек, — говорила она. — Или троих. Кто они?

— Никто.

Я упрямо молчала, вела себя точь-в-точь как ухажер, преисполненный самых честных намерений. Когда Донна с Сюзанной убегали, я изо всех сил постаралась просигналить Сюзанне: я все возьму на себя. Пусть не волнуется. Я понимала, почему они меня бросили.

— Я была одна, — сказала я.

От злости у нее начал заплетаться язык:

— Я в своем доме вранья не потерплю!

Видно было, что эта затруднительная, новая для нее ситуация потрясла ее до глубины души. Раньше у нее никогда не было проблем с дочерью, та всегда беспрекословно делала, что ей велят, аккуратная, самодостаточная девочка, прямо как те рыбки, которые еще сами свои аквариумы чистят. И с чего бы ей ждать чего-то иного, с чего бы вообще думать, что такое может случиться?

— Ты мне все лето говорила, что ходишь к Конни, — сказала мать. Она почти кричала. — Столько раз говорила! Прямо мне в лицо. И что же? Я позвонила Артуру. Он говорит, ты там месяцами не появлялась. Почти два месяца!

В матери появилось что-то звериное, лицо от злобы непривычно перекопилось. Задыхающийся поток слез.

— Ты лгунья. Ты мне врала. И теперь тоже врешь. Она сжимала кулаки.

То вскидывала руки, то с размаху опускала.

— Я встречалась с друзьями, — огрызнулась я. — У меня и другие друзья есть, не только Конни.

— Другие друзья. Конечно. Небось с каким-нибудь дружкой трахалась или уж не знаю что. Мерзкая маленькая лгунья. — Она почти не глядела на меня, говорила судорожно, лихорадочно, как извращенец, который бормочет себе под нос непристойности. — Может, мне тебя сдать в заведение для несовершеннолетних преступников? Ты этого хочешь? Ясно ведь, что я тебя больше не могу держать в узде. Пусть они тебя забирают. Может, исправят.

Я вырвалась и сбежала, но даже в коридоре, даже закрывшись у себя в комнате, я по-прежнему слышала горькие причитания матери.

Мать вызвала подкрепление — Фрэнк, и я, лежа на кровати, смотрела, как он снимает с петель дверь в мою комнату. Работал он тихо и аккуратно, хоть не очень быстро, и дверь снял так, будто она была сделана не из дешевой пустотелой деревяшки, а из стекла. Осторожно прислонил ее к стене. Потоптался в пустом проеме. Потряс болты в руке, как игральные кости.

— Ты уж извини, — сказал он, точно был просто наемным рабочим, слесарем, которого вызвала мать.

Я изо всех сил старалась не замечать искреннюю доброту у него в глазах, от которой весь запал моей ненависти к Фрэнку сразу иссяк. Я впервые представила его в Мексике, с легким загаром, от которого волоски у него на руках станут пепельными. Как он потягивает лимонную газировку, делая обход на своем золотом руднике, — мне представлялась пещера, выложенная внутри каменными золотыми наростами, будто брусчаткой.

Я все ждала, что Фрэнк расскажет матери про украденные деньги. Подбавит к списку еще проблем. Но он ничего не рассказал. Может, понял, что она уже и так серьезно завелась. Фрэнк нес молчаливый караул, сидя за столом, пока мать названивала отцу, а я подслушивала их разговоры из коридора. Ее пронзительные жалобы, вопросы, дожатые до панического регистра. Что это за человек, который может вломиться в дом к соседям? К людям, которых она всю жизнь знает?

— Безо всякой причины, — визгливо добавила она. Пауза.

— Ты что, думаешь, я ее не спрашивала? Думаешь, не пыталась?

Молчание.

— Ах да, ну еще бы, как же иначе. Может, сам тогда попробуешь?

И меня отправили в Пало-Альто.

У отца я прожила две недели. Через дорогу от “Портофино апартментс”, очень высоких и пустых по сравнению с приземистым и захламленным домом матери, была забегаловка “У Дэнни”. Отец и Тамар снимали самую большую квартиру, повсюду были натюрморты взрослой жизни, которые старательно выкладывала Тамар, — миска блестящих от воска фруктов на кухонной стойке, барная тележка с непечатными бутылками спиртного. Ковролин с четкими следами от пылесоса.

Сюзанна меня забудет, думала я, жизнь на ранчо продолжится без меня, и ничего у меня не останется.

Чувство, что со мной обошлись несправедливо, разбухало от таких переживаний, обжиралось ими. Сюзанна стала кем-то вроде солдатской невесты, оставшейся в родном городе, чей образ на расстоянии сделался зыбким, идеальным. Но, может, в глубине души мне и стало легче. От того, что я ненадолго уеду. Меня напугало все случившееся дома у Даттонов, неживое лицо Сюзанны. Это все, конечно, были крошечные укольчики, крошечные сдвиги и тревоги, но все равно — они были.

Чего я ждала, когда ехала жить к отцу и Тамар? Что отец надумает разузнать, почему же я так себя повела?

Что он поступит по-отцовски, накажет меня? Ему, похоже, казалось, что наказывать меня он теперь не имеет права, и он обращался со мной любезно и вежливо, как с престарелым родителем.

Увидев меня, он вздрогнул: прошло уже больше двух месяцев. Вспомнил, похоже, что меня нужно обнять, и, дернувшись, шагнул ко мне. Я заметила новые складочки у него за ушами, и одет он был в ковбойскую рубашу, которую я раньше не видела. Я знала, что тоже изменилась. Я отрастила волосы, перестала подравнивать кончики, как Сюзанна. Платье, которое я нашла на ранчо, было таким заношенным, что в дырки на рукавах можно было просунуть большие пальцы. Отец кинулся было за моей сумкой, но я уже забросила ее на заднее сиденье.

— Но все равно спасибо. — Я постаралась улыбнуться.

Он стоял, вытянув руки по бокам, и беспомощно улыбался в ответ, будто иностранец, которому нужно объяснить дорогу еще раз. Для него все, что творилось у меня в голове, было каким-то загадочным фокусом, и он только смотрел и удивлялся. Как угадать, где там секретная ниша, он понятия не имел. Когда мы уселись в машину, я прямо чувствовала, как он набирается сил, чтобы включить в себе родителя.

— Мне же не надо держать тебя под замком, нет? — спросил он.

Неуверенный смех. — Не станешь по чужим домам лазить?

Я помотала головой, он заметно расслабился. Словно с каким-то делом разобрался.

— Хорошо, что ты именно сейчас у нас погостишь, — продолжил он, как будто я здесь оказалась по своей воле. — Мы как раз обустроились. Тамар очень придирчиво выбирала мебель и все остальное. — Он включил зажигание, уже позабыв о каких-то там проблемах со мной. — За барной тележкой вообще ездила на блошинный рынок в Халф-Мун-Бэй.

В какой-то миг мне захотелось потянуться к нему, прочертить линию от себя к человеку, который был моим отцом, но этот миг длился очень недолго.

— Можешь выбрать радиостанцию, — застенчиво, будто мальчик на танцах, предложил он.

Первые пару дней мы все нервничали. Я вставала пораньше, чтобы убрать постель в гостевой комнате, пытаюсь снова сложить из подушек законченную композицию. Вся моя жизнь умещалась в сумочке на шнурке и спортивной сумке с одеждой, и я изо всех сил старалась, чтобы это существование было аккуратным и незаметным. Как в походе, думала я, небольшое приключение, проверка на самодостаточность. В первый вечер отец купил картонное ведерко мороженого с прожилками шоколада, наложил всем щедрые, гигантские порции. Мы с Тамар в своих мисках только поковырялись, но отец старательно съел две. И все смотрел на нас, точно мы могли засвидетельствовать его радость. Его женщины, его мороженое.

Тамар, вот кто меня поразил. Тамар в плюшевых шортиках и футболке из колледжа, о котором я даже не слышала. Которая депилировала ноги воском при помощи сложного прибора, наполнявшего весь дом камфорной влажностью. Ее шеренги мазей и масел для волос. Лунки ногтей, которые она разглядывала, пытаюсь понять, хватает ли ей витаминов.

Сначала она, похоже, мне не очень-то обрадовалась. Неуклюже обняла, будто обреченно смирялась с ролью моей новой матери. Я тоже была разочарована. Она оказалась обычной девушкой, а вовсе не экзотической женщиной, которой я ее себе когда-то представляла, — все, что мне казалось в ней особенным, на самом деле было тем, что Расселл называл “приходами обычного мира”. Тамар делала все, что ей полагалось. Работала у отца, носила костюмчик. До смерти хотела замуж.

Но ее холодность, вуалька взрослости, которую она временно нацепила как маскарадный костюм, быстро исчезла. Она разрешала мне рыться в ее

стеганой косметичке, в пузатеньких флаконах духов, глядя на меня с гордостью истинного коллекционера. Всучила мне свою блузку с рукавами-фонариками и перламутровыми пуговками.

— Я просто такое больше не ношу, — пожалала она плечами, дергая за торчащую ниточку. — А вот на тебе будет хорошо смотреться. Что-то такое елизаветинское.

И блузка действительно на мне хорошо смотрелась. Тамар разбиралась в таких вещах. Она знала, сколько калорий почти во всех продуктах, и саркастично мне их сообщала, как будто посмеиваясь над собственной осведомленностью. Она готовила виндалу из овощей.

Чечевицу в горшочках под слоем желтого соуса, источавшего незнакомую мне яркость. Мучнистые антациды отец глотал как карамельки. Тамар подставляла отцу щеку для поцелуя, но отмахивалась, едва он пытался взять ее за руку.

— Ты весь потный, — говорила она.

Увидев, что я это заметила, отец посмеялся, но вид у него был пристыженный. Его забавляло то, как мы с ней спелись. Правда, иногда это выливалось в насмешки над ним. Однажды мы с ней разговаривали про “Спанки и негодяев”, и он решил поддержать разговор. Это мы, наверное, про “Маленьких негодяев” [\[14\]](#). Мы с Тамар переглянулись.

— Это группа, — сказала она. — Ну, знаешь, рок-н-ролл, музыка, которую молодежь слушает.

И при виде его смущенного, растерянного лица мы снова расхохотались.

У них был дорогуший проигрыватель, который Тамар, объясняя это то акустикой, то эстетическими причинами, вечно хотела переставить в другой угол или в другую комнату. Она постоянно обсуждала какие-то планы на будущее: дубовые полы, новые потолочные плинтусы и даже новые кухонные полотенца, но, похоже, одного планирования ей вполне хватало. По сравнению с какофонией, которую мы слушали на ранчо, ее музыка была более прилизанной. Джейн Биркин и ее лягушатник-муж, старикан Серж.

— Она красивая, — сказала я, разглядывая конверт от пластинки.

И действительно — каштаново-загорелая, с тонким лицом, зубки как у кролика. А Серж был отвратительным. С этими своими песнями про спящую красавицу, девушку, которая и желанной-то была, похоже, потому, что лежала все время с закрытыми глазами. За что Джейн любила Сержа?

Тамар любила отца, девочки любили Расселла. Эти мужчины были

совсем не похожи на тех мальчиков, которых меня учили любить. На гладкогрудых, сладколицых мальчиков с россыпями прыщей на плечах. О Митче мне вспоминать не хотелось, потому что тогда я сразу начинала думать о Сюзанне.

Та ночь приключилась где-то совсем в другом Тибуроне, в кукольном домике с миниатюрным бассейном и миниатюрной лужайкой. Я могла поднять крышу этого домика, посмотреть на комнатки, разгороженные как камеры в сердце. На кровать размером со спичечный коробок.

Тамар отличалась от Сюзанны тем, что была проще. Не было в ней ничего сложного. Она не следила за моим настроением, не понуждала к тому, чтобы я во всем ей поддакивала. Когда я ей мешала, она так прямо и говорила. Я расслабилась — незнакомое чувство. И все равно я скучала по Сюзанне — Сюзанне, которую я вспоминала, будто сны о распахнутых дверях, ведущих в позабытые комнаты. Тамар была доброй и милой, но ее мир был похож на телевизор: ограниченный, простой и банальный, с правилами, с подпорками для нормальности. Завтрак, обед, ужин. Между ее жизнью и тем, что она думала о жизни, не было никакого пугающего разрыва, черной пропасти, которую я порой чувствовала в Сюзанне, а может, и в себе. Тамар ничего не хотела изменить этими своими планами — она просто двигала туда-сюда одни и те же понятные вещи, пытаясь угадать верный порядок, как будто жизнь — это огромная схема рассадки гостей.

Пока мы ждали отца, Тамар готовила ужин. Она казалась даже моложе обычного — сказала, что умылась средством с настоящими молочными протеинами, чтобы не было морщин. Хлопковые шорты с кружевным кантом, просторная футболка, по плечам расплзаются темные пятна от мокрых волос. Ей было самое место в каком-нибудь студенческом общежитии — с тарелкой попкорна, бутылкой пива.

— Не передашь мне миску?

Я передала, и Тамар отложила порцию чечевицы.

— Без специй, — она закатила глаза, — для желудка нашего неженки.

Я с горечью вспомнила, как мать делала для отца то же самое: там немного утешит, тут немного переделает, чтобы весь мир стал отражением отцовских желаний. Она как-то купила ему десять пар одинаковых носков, чтобы он вдруг не надел разные.

— Знаешь, он иногда ну просто как ребенок, — сказала Тамар, взяв щепотку куркумы. — Я как-то уехала на выходные, оставила его одного, возвращаюсь, а из еды дома только луковица и вяленая говядина. Он

помрет, если за ним некому будет присматривать. — Она поглядела на меня: — Хотя, наверное, мне не стоит такое тебе говорить, да?

Тамар говорила это не со злости, но вот что меня удивило — как легко она критиковала отца. Я раньше не думала, всерьез никогда не думала о том, что отец может быть смешным, что он может ошибаться, или вести себя как ребенок, или быть таким беспомощным, что кому-то придется его водить за ручку по этому миру.

Между мной и отцом никогда не происходило ничего ужасного. Ни одного случая не приходило на ум, никаких ссор с криками, хлопаньем дверями. Просто у меня вдруг появилось чувство — чувство, которое потихоньку меня заполняло, пока не переросло в уверенность, — что он самый обычный человек. Такой же, как все. Он волновался, что о нем подумают, перед выходом косился в зеркало. Он все еще пытался выучить французский, слушая кассеты, и я слышала, как он бормочет слова себе под нос. Его живот — который оказался куда больше, чем мне помнилось, — изредка мелькал в зазоре между пуговицами на рубашке. Островки кожи, розовой, как у новорожденного.

— И я люблю твоего отца, — сказала Тамар. Она осторожно подбирала слова, словно для вечности. — Правда. Он шесть раз звал меня с ним поужинать, прежде чем я согласилась, но его это совсем не злило. Как будто он раньше меня самой знал, что я соглашусь.

Она осеклась: нам обеим пришла в голову одна и та же мысль. Отец жил дома. Спал с моей матерью. Тамар дернулась, видно было, она ждет, что я ей так и скажу, но разозлиться не получалось. Вот что странно — я не испытывала ненависти к отцу. Он ведь хотел Тамар. Как я — Сюзанну. Или мать — Фрэнка. А когда тебе чего-то хочется, с этим нельзя ничего поделать, потому что жизнь у тебя только одна и ты у тебя только один, и как тогда себе объяснить, что тебе чего-то хочется, а нельзя?

Мы с Тамар лежали на ковре, задрав коленки, головами к проигрывателю. Во рту у меня до сих пор пощипывало от кислого апельсинового сока, который продавали в четырех кварталах отсюда. Деревянный стук моих сандалий по тротуару, веселая болтовня Тамар в теплых летних сумерках.

Вошел отец, улыбнулся, но видно было, что его раздражает музыка, ее нарочитое подергивание.

— Выключи, а? — попросил он.

— Да ладно тебе, — ответила Тамар. — Мы же не громко.

— Ага, — поддакнула я, в восторге от того, что у меня есть союзник,

незнакомое доселе чувство.

— Видишь? — сказала Тамар. — Слушай, что дочь говорит.

Она нашарила мою руку, похлопала по плечу. Отец молча ушел, но через минуту вернулся и поднял иголку, в комнате резко стало тихо.

— Эй! — Тамар подскочила, но отец уже вышел, и я услышала, как в ванной зашумел душ.

— Урод, — пробормотала Тамар.

Она встала, сзади на ногах у нее отпечатались узелки ковра. Поглядела на меня.

— Извини, — рассеянно сказала она.

Вскоре я услышала, как она тихо разговаривает на кухне по телефону. Я смотрела, как она наматывает провод на палец, петлю за петлей. Тамар засмеялась, прижала трубку поближе ко рту, заслонила ее рукой. С неприятным чувством я поняла, что она смеется над отцом.

Даже не знаю, когда я поняла, что Тамар от него уйдет. Не сразу после этого, но, видимо, вскоре. Мысленно она уже ушла, уже выдумала себе жизнь поинтереснее, жизнь, в которой мы с отцом будем реквизитом для анекдотов. Отклонением от прямого, более верного курса. Поправкой к ее истории. И кто тогда останется у отца, для кого он будет зарабатывать деньги, кому будет приносить сладости? Я представила, как он после долгого рабочего дня заходит в пустую квартиру. Как там ничего не изменилось с его ухода, ни одна комната не потревожена чужим присутствием. И как на миг, перед тем как включить свет, он, может быть, представит, что из темноты проступит другая жизнь, выходящая за одинокие границы дивана, где на подушках до сих пор виден отпечаток его сонного тела.

Молодежь часто сбегала из дома, многие — просто от нечего делать. Даже никакой трагедии для этого не требовалось. Решить, что я вернусь на ранчо, было легко. Дома мне появляться не стоит, мать могла и вправду сбрендить и потащить меня в полицию. А что меня держало тут, у отца? Тамар и то, как настойчиво она искала во мне подругу-сверстницу? Холодный шоколадный пудинг на десерт как ежедневная порция удовольствия?

Может быть, до ранчо мне и хватило бы такой жизни.

Но после ранчо я поняла, что можно брать и повыше. Что можно отбросить все эти обывательские глупости ради более великой любви. Я верила, как это бывает со всеми подростками, что моя любовь — самая верная и самая настоящая. Мои собственные чувства и были определением такой любви. Любви, которую ни отец, ни даже Тамар понять не могли,

поэтому, конечно, мне нужно было от них уйти.

Пока я целыми днями смотрела телевизор в раскаленном, душном полумраке отцовской квартиры, атмосфера на ранчо сгущалась. До какой степени, это я, правда, узнаю только потом. Все дело было в контракте со студией звукозаписи — никакого контракта не будет, но Расселл, конечно, не мог с этим смириться. У него связаны руки, сказал ему Митч, он не может заставить студию передумать. Митч был успешным музыкантом, талантливым гитаристом, но такого влияния даже он не имел.

Это было правдой — и от этого моя ночь с Митчем казалась особенно жалкой, какой-то бессмысленной взяткой. Но Расселл не верил Митчу, или к тому времени уже не имело значения, верил он ему или нет. Митча превратили в организм, где паразитировала всеобщая злоба. Расселл все чаще, все дольше расхаживал из угла в угол, громко возмущаясь, обвиняя во всем Митча, этого раскормленного Иуду. Они поменяли ружья на револьверы “бунтлайны”, Расселл всех заразил истерией обиды. Он больше даже не пытался скрыть, до чего это его разозлило. Гай привозил на ранчо спиды, они с Сюзанной то и дело бегали к водокачке, возвращаясь обратно с черными, как ягоды, глазами. Ранчо и раньше было отрезано от внешнего мира, но теперь наступила полная изоляция. Ни газет, ни радио, ни телевизора. Заезжих гостей Расселл теперь прогонял, а когда девочки ехали в очередной забег по мусорным бакам, отправлял с ними Гая. Ранчо постепенно схлопывалось, как раковина.

Могу представить, как Сюзанна просыпалась по утрам, не чувствуя, как проходят дни. С едой дела обстояли плачевно, все продукты были тронуты легкой гнильцой. Белков они почти не ели, их мозги работали на простых углеводах, изредка перепадал какой-нибудь сэндвич с арахисовым маслом. И еще спиды, от которых у Сюзанны выжгло все чувства, — она, наверное, продиралась сквозь колючее, электрическое облако собственного онемения, как сквозь глубокий океан.

Людам потом будет сложно поверить, как это обитатели ранчо вообще могли жить в таких условиях. В настолько плохих условиях. Но у Сюзанны не было другого выбора: свою жизнь она полностью отдала в руки Расселлу, а жизнь ее к тому времени стала вещью, которую он мог как угодно вертеть и оценивать. О чем-то Сюзанна и остальные девочки уже просто не могли судить, бездействующие мышцы их эго ослабли, сделались ненужными. Они так давно не жили в мире, где понятия “хорошо” и “плохо” были хоть сколько-то реальными. Если у них и сохранились какие-то инстинкты — слабенький тик в животе, сосущая

тревога, — они перестали их слышать. Если такие инстинкты, конечно, у них вообще были.

Далеко падать им не пришлось — у девочек умение верить в себя с самого начала подрублено. Кажется, что чувствам совсем нельзя верить, как ломаному вздору, который царапает доска Уиджа [\[15\]](#). Именно поэтому я в детстве так не любила ходить к нашему семейному врачу. Он осторожно меня расспрашивал, как я себя чувствую. А как бы я описала боль? Она, скорее, резкая или, скорее, тянущая? А я в ответ только с отчаянием на него смотрела. Это он должен был мне сказать, какая у меня боль, ведь именно за этим я и пришла к доктору. Чтобы меня осмотрели, засунули в машину, которая точными лучами переберет мои внутренности и сообщит мне правду.

Поэтому, конечно, эти девочки никуда не ушли — вынести ведь можно очень многое. В девять лет я упала с качелей и сломала запястье. Ужасающий хруст, слепящая боль. Но даже тогда, даже когда у меня на руке вздулась манжетка из собравшейся под кожей крови, я твердила, что со мной все в порядке, что ничего не случилось, и родители мне поверили, пока доктор не показал им рентгеновские снимки с переломанными костями.

Едва я собрала сумку, как гостевая комната снова обрела нежилой вид, моментально вобрав мое отсутствие, как, наверное, и положено таким комнатам. Я думала, что Тамар с отцом уже ушли на работу, но, когда вышла в гостиную, сидевший на диване отец что-то буркнул.

— Тамар пошла то ли за соком, то ли еще за какой-то ерундой, — добавил он.

Мы сидели на диване и смотрели телевизор. Тамар долго не возвращалась. Отец все потирал свежесбранный подбородок, лицо у него казалось каким-то недоваренным. Рекламные ролики были такими бойкими, что я чувствовала себя неловко, на фоне натянутой тишины они звучали издевательски. Отец нервно прислушивался к нашему молчанию. Еще месяц назад я бы сидела как на иголках. Перетряхивала бы всю свою жизнь в поисках какой-нибудь жемчужинки-истории, чтобы поднести ему. Теперь это чувство исчезло. С одной стороны, отец стал мне гораздо ближе, гораздо понятнее — как никогда раньше. Но с другой — он сделался более чужим, стал самым обычным человеком, который плохо переносит острую еду и играет на валютном рынке. Продирается сквозь уроки французского.

Услышав, как Тамар ковыряет ключом в замке, он сразу вскочил.

— Мы полчаса назад должны были выйти, — сказал он.

Тамар поглядела на меня, поправила сумочку на плече.

— Извини.

— Ты прекрасно знаешь, во сколько мы уходим, — продолжал он.

— Я же извинилась.

И извинялась она как будто искренне, но тут же автоматически скосила глаза на включенный телевизор. Она быстро отвела взгляд, но я-то знала, что отец это заметил.

— И даже сока не принесла, — сказал он дрожащим от обиды голосом.

Сначала меня подобрала юная парочка. Волосы у девушки были сливочного цвета, рубашка завязана на талии, она то и дело с улыбкой оборачивалась ко мне и протягивала пакетик с фисташками. Целовалась с парнем так, чтобы я видела ее юркий язык.

Раньше я не ездила автостопом, почти ни разу. Я нервничала, не зная, что люди могут подумать о девушке с длинными волосами. Я не знала, насколько возмущенно нужно говорить о войне или что сказать о

студентах, которые кидались камнями в полицейских и захватывали пассажирские самолеты, требуя, чтобы их доставили на Кубу. Я всегда была в стороне от всего этого, словно бы смотрела фильм о жизни, которую, по идее, должна была бы прожить. Но теперь все было по-другому, теперь, когда я ехала на ранчо.

Я прокручивала в голове тот миг, когда Тамар с отцом вернутся с работы и поймут, что я сбежала. До них дойдет не сразу, Тамар, наверное, сообразит быстрее отца. В квартире никого, моих вещей тоже нет. А отец, наверное, позвонит матери, но что они смогут сделать? Как они меня накажут? Они ведь не знают, куда я уехала. Я выскочила за границы их обзора. Даже их беспокойство меня, скорее, радовало, потому что когда-нибудь им придется подумать о том, почему же я сбежала, и тогда ползет на свет мутное чувство вины и им придется прочувствовать его в полной мере, пускай даже и на секунду.

Парочка довезла меня до Вудсайда. Я торчала на парковке возле “Кэлмарта”, пока наконец меня не согласился подвезти дядька в раздолбанном “шевроле”, который вез в Беркли какую-то запчасть от мотоцикла. Когда мы подпрыгивали на ухабах, что-то грохотало в заклеенном скотчем бардачке. За окном мелькали косматые, расплывавшиеся от солнца деревья, вдалеке багряно тянулся залив. Я держала сумочку на коленях. Его звали Клод, он, похоже, стыдился того, насколько это имя с ним не совпадает.

— Матери нравился этот французский актер, — промямлил он.

Клод показушно полистал бумажник, показал фотографии дочери. Пухленькая девочка с обгоревшей переносицей. И немодными кудряшками. Словно почувствовав мою жалость, Клод внезапно выхватил бумажник у меня из рук.

— Девочкам не надо бы вот так ездить, — сказал он.

Он покачал головой, на лице у него дернулась легкая тревога за меня, признание, как мне показалось, того, какая я храбрая. Пора бы уже было понять, что, когда мужчины говорят тебе, что нужно быть поосторожнее, они зачастую имеют в виду черные сцены, которые прокручиваются перед глазами у них самих. Недобрые грезы, заставляющие их виновато желать нам “добраться до дома в целостности и сохранности”.

— Хотел бы я жить, как ты, — сказал Клод. — Свободно и легко. Ездить всюду. Но я всю жизнь вкалываю.

Он покосился на меня, потом снова уставился на дорогу. Первый укол тревоги — я уже неплохо выучила кое-какие признаки мужского вождения. Прокашляться, оценивающе ущипнуть взглядом.

— Вы-то все, наверное, в жизни ни дня не работали, а?

Наверное, он меня дразнил, но я была не совсем в этом уверена. Говорил он с горечью, с колкостью искреннего презрения. Может, мне надо было его испугаться. Взрослый мужик, который понял, что я одна, и теперь считал, что я ему чем-то обязана, — худшее для мужчины чувство. Но я не боялась. Я была неуязвима, меня охватывал дурашливый, непрошибаемый восторг. Я еду на ранчо. Я увижу Сюзанну. Я почти не думала о Клоде как о реальном человеке: он был картонным клоуном, безобидным и смешным.

— Здесь нормально? — спросил Клод.

Он остановился возле университетского городка в Беркли — башня с часами, холмы в ступенчатых террасах. Он выключил зажигание. До меня донесся уличный зной, тягучий шум транспорта.

— Спасибо, — сказала я, взяв сумки.

— Эй, не спеши, — сказал он, когда я начала открывать дверь. — Просто посиди со мной минутку, ладно?

Я вздохнула, но снова повернулась к нему. Над Беркли виднелись сухие холмы, и я вдруг вспомнила, как зимой эти холмы ненадолго становятся зелеными, пышными, влажными. Тогда я еще даже не знала Сюзанну. Я чувствовала, как Клод на меня косится.

— Слушай, — Клод почесал шею, — если тебе нужны деньги...

— Мне не нужны деньги. — Я, совершенно не боясь, дернула плечом — пока, мол, и открыла дверцу. — Еще раз спасибо, — сказала я, — за то, что подвезли.

— Стой. — Он схватил меня за руку.

— Отвали! — Я стряхнула его пальцы как наручник, сказав это с незнакомой мне яростью.

Я захлопнула дверь прямо в его жалкое, брызжущее слюной лицо. Ушла, задыхаясь. Почти хохоча. От тротуара исходил ровный жар, биение резкого солнечного света. От этой стычки меня словно подкинуло повыше, словно в мире для меня вдруг стало больше места.

— Сучка! — крикнул Клод мне вслед, но я даже не оглянулась.

На Телеграф-авеню было не протолкнуться: народ торговал кубиками ладана и этническими украшениями, с заборов свисали кожаные сумочки. В тот год в Беркли ремонтировали дороги, на тротуарах высились горы строительного мусора, асфальт бороздили глубокие трещины, будто в фильме-катастрофе. Люди в длинных балахонах совали мне трепещущие на ветру листовки. Раздетые по пояс парни с еле заметными печатями

синяков на руках оглядывали меня с ног до головы. Девочки, мои сверстницы, в бархатных фраках, несмотря на августовскую жару, тащили бившие их по ногам саквояжи. Автостоп меня не пугал, даже после того, что случилось с Клодом. Клод безобидно маячил где-то на периферии моего зрения, мирно уплывал в небытие. Том был шестым по счету водителем, к которому я обратилась за помощью, постучав его по плечу, когда он уже садился в машину. Казалось, он был польщен моей просьбой, как будто я выдумала предлог, чтобы побыть с ним. Он торопливо обмахнул переднее сиденье, смел на пол бесшумный дождь крошек.

— Тут не очень чисто, — сказал он.

Извиняясь, словно я могла закапризничать.

Свою маленькую японскую машинку Том вел четко, на предельной скорости, и, перестраиваясь, всякий раз оглядывался. Аккуратно заправленная в брюки клетчатая рубашка хоть и просвечивала на локтях, но была чистой. Трогательные, по-мальчишески тонкие запястья. Он довез меня до самого ранчо, несмотря на то что оно находилось в часе езды от Беркли. Он сказал, что едет в Санта-Розу, навестить друзей, которые там учатся, но врать он не умел: я заметила, как покраснела его шея. Вежливый, учился в Беркли. Хотел быть врачом, хотя ему и социология нравилась, и история.

— Линдон Джонсон, — сказал он. — Вот это был президент.

Я узнала, что он из большой семьи, что у него есть собака по кличке Сестра и что ему слишком много задают. Он занимался в летней школе, готовился к вступительным экзаменам. Спросил, на кого я учусь. Его ошибка меня обрадовала: он подумал, наверное, что мне точно есть восемнадцать.

— Я не в колледже, — ответила я.

Я хотела было объяснить, что еще учусь в школе, но Том сразу же стал оправдываться.

— Я тоже об этом думал, — сказал он. — Бросить учебу, но в летней школе все-таки доучиться надо. Я ведь все уже оплатил. Ну то есть жаль, конечно, но...

Он умолк. Уставился на меня — до меня не сразу дошло, что он хотел, чтоб я его простила.

— Обидно, да, — ответила я, и ему, похоже, этого хватило.

Он прокашлялся.

— А ты работаешь или чем вообще занимаешься? Если не учишься? — спросил он. — Это не слишком невежливо, нет? Не отвечай, если не

хочешь.

Я пожалала плечами, притворяясь, что меня это не волнует. Как знать, может, тогда меня и вправду ничего не волновало, может, я и думала тогда, что с легкостью смогу вписаться в окружающий мир. Что я и дальше смогу жить просто. Разговаривать с незнакомцами, решать проблемы.

— Там, куда я еду... Я там живу, — сказала я. — Нас там много. Мы заботимся друг о друге.

Он смотрел на дорогу, но мои рассказы о ранчо слушал очень внимательно. О занятом старом доме, о детях. О канализации, которую Гай кое-как вывел во двор, какой-то запутанный узел труб.

— Это похоже на Международный дом [\[16\]](#), — сказал он, — где я живу. Нас там пятнадцать человек. В коридоре висит график уборки, самые противные дела все делают по очереди.

— Ну да, наверное, — ответила я, хотя, конечно, ранчо не было похоже на Международный дом, где подслеповатые студенты-философы ругаются из-за того, кто не помыл тарелку после ужина, а девочка из Польши грызет кусочек черного хлеба и рыдает по оставшемуся на родине мальчику.

— А чей это дом? — спросил он. — Это какой-то центр или что?

Странно объяснять кому-то про Расселла, странно вдруг осознать, что есть целый мир, для которого Расселла и Сюзанны просто не существует.

— У него скоро альбом выйдет, к Рождеству, по-моему, — помнится, сказала я тогда.

Я все говорила и говорила — о ранчо, о Расселле. Непринужденно упоминала Митча, как Донна тогда в автобусе — с осторожным, выверенным расчетом. Чем ближе мы подъезжали, тем красноречивее я становилась. Как лошадь, которая, истосковавшись по стойлу, понесла, забыв о седоке.

— Похоже, там здорово, — сказал Том.

Видно было, что мои рассказы его воодушевили, он их слушал с мечтательным восторгом на лице. Завороженный сказками о других мирах.

— Можешь покантоваться с нами, — предложила я, — если хочешь.

Услышав это, Том расцвел, застеснялся в приливе благодарности.

— Только если я не помешаю, — сказал он с густеющим на щеках румянцем.

Я думала, что Сюзанна и все остальные меня похвалят за то, что я привела им новенького. Расширила их ряды, провернула старый трюк. Щекастый воздыхатель вpletет свой голос в наш хор, подкинет нам еды. Но дело было не только в этом, мне еще кое-что хотелось продлить:

приятное звенящее молчание в машине, запах кожи, который источали сиденья в застоявшейся духоте. Мое искривленное отражение в боковом зеркале, которое показывало только копну волос, веснушчатое плечо. Я оформилась в девушку. Мы проехали по мосту, миновали свалку, за которой шлейфом тянулся запах дерьма. Вдалеке ширилось еще одно шоссе, в обрамлении воды и болотистых равнин, а перед ним — резкий спуск в долину, где между холмами пряталось ранчо.

К тому времени ранчо, каким его знала я, больше не существовало. Конец уже наступил: любая реплика была элегией по самой себе. Но во мне было столько радостной надежды, что я этого не заметила. Когда Том свернул на дорогу, ведущую к ранчо, во мне все так и подпрыгнуло: прошло всего две недели, совсем немного времени, но меня переполняли эмоции. И только когда я увидела, что все на месте, что все по-прежнему такое же живое, и странное, и полуреальное, то поняла, как боялась, что все это исчезнет. Все, что я любила, этот чудесный дом. Прямо как в “Унесенных ветром”, осенило меня, когда мы к нему подъехали. Илистый прямоугольник наполовину заполненного бассейна, с пятнами ряски и голого бетона, — все это снова станет моим.

Когда мы с Томом вышли из машины, я вдруг засомневалась, заметив слишком чистые джинсы Тома, его грузную бабью задницу. А вдруг девочки будут его дразнить, а вдруг пригласить его было плохой идеей? Все будет в порядке, сказала я себе. Я смотрела, как он переваривает то, что видит, — думала, он проникся, а он, наверное, видел запустение и выпотрошенные каркасы машин. Дохлую жабу, похожую на резиновую игрушку, которая плавала в бассейне. Но я уже давно не замечала этих деталей, как, например, язв на ногах у Нико, к которым пристали крошки гравия. Мои глаза уже привыкли к рисунку разложения, поэтому мне казалось, что я снова вернулась в круг света.

Увидев нас, Донна остановилась. Она тащила ком выстиранного белья, от него тянуло затхлостью.

— Проблемка! — загоготала она. — Проблемка! — Слово из давно забытого мира. — Эта дамочка вас что, арестовала? — спросила она. — Ваще. Невезуха.

Синяки у нее под глазами были похожи на темные полумесяцы, черты заострились, но моя радость при виде знакомого лица затмила эти детали. Донна, похоже, тоже мне обрадовалась, но когда я представила ей Тома, резко на меня глянула.

— Он меня подвез, — услужливо подсказала я.

Улыбка Донны увяла, она вскинула охапку белья повыше.

— Мне ведь сюда можно, да? — прошептал Том, словно я тут что-то решала.

Гостям на ранчо всегда были рады, в шутку изводили назойливым вниманием, так что я и не знала, с чего бы тут все могло поменяться.

— Да, — повернулась я к Донне, — можно ведь?

— Ну, — ответила Донна, — не знаю. Спроси у Сюзанны. Или у Гая. Ну да.

Она рассеянно хихикнула. Донна вела себя как-то странно, хотя мне-то казалось, что это обычный ее треп, — я слушала ее даже с некоторой нежностью. Она отвела взгляд, услышав, как что-то зашуршало в траве: ящерка металась в поисках тени.

— Пару дней назад Расселл видал тут пуму, — сообщила она куда-то в пространство. Вытаращила глаза. — Ваще, правда?

— Смотрите, кто вернулся, — сказала Сюзанна, полыхнув гневом в голосе. Как будто я сбежала от них на каникулы. — Думала, ты уже к нам и дорогу забыла.

Сюзанна прекрасно видела, как меня поймала миссис Даттон, но все равно поглядывала на Тома так, словно это из-за него я тут не появлялась. Бедняга Том бродил по заросшему травой двору, задумчиво подволакивая ноги, будто в музее. Морщил нос от запахов животных, переполненного нужника. У Сюзанны на лице, как и у Донны, нельзя было разглядеть ничего, кроме еле заметной оторопи: они уже напрочь позабыли о том, что существует мир, где за свои действия можно понести наказание. Мне внезапно стало стыдно за все мои вечера с Тамар, за все дни, когда я даже

не думала о Сюзанне. Я сгустила краски, рассказывая о том, как жила у отца, — мол, меня ни на секунду не выпускали из виду, постоянно наказывали.

— Господи, — фыркнула Сюзанна. — Замок Дракулы.

Тень от ранчо растянулась по траве, будто странная комната под открытым небом, и мы забились в эту спасительную прохладу. В жидком вечернем свете висели рядками комары. Воздух дрожал от карнавального задора — я сидела в куче-мале знакомых тел, девочки выпихивали меня обратно в саму себя. Среди деревьев резко вспыхивал металл: Гай толкал машину на луг за домом, голоса метались эхом, стихали. Дремотные очертания детей, возившихся в сотах мелких лужиц, — кто-то забыл выключить шланг. Хелен куталась в плед, замоталась до самого подбородка, словно в шерстяные брыжи, а Донна пыталась его стащить, показать всем загорелое тело школьной королевы, синяк на бедре Хелен. Я не забывала о Томе, который неуклюже сидел в пыли, но больше всего радовалась, что снова, привычно, чувствую рядом Сюзанну. Она очень быстро что-то говорила, лицо у нее лоснилось от пота. Ее платье было грязным, но глаза блестели.

Я вдруг поняла, что Тамар с отцом еще на работе, вот смехота — я уже на ранчо, а они даже не знают, что я сбежала. Нико катался на трехколесном велосипеде, который он явно перерос, велосипед был ржавый и громко скрипел, когда Нико жал на педали.

— Славный малыш, — сказал Том.

Донна и Хелен расхохотались.

Том не понял, что он такого смешного сказал, но заморгал так, будто не прочь был это узнать. Сюзанна сидела в старом кресле с подголовником, которое они вытащили из дома, раздергивала стебелек мятлика. Я выглядывала Расселла, но его нигде не было видно.

— Уехал в город, ненадолго, — сказала Сюзанна.

С крыльца донесся истошный визг, мы обернулись, но это всего-навсего Донна пыталась сделать стойку на руках и дрыгала ногами. Она опрокинула пиво Тома, хотя извиняться стал он, оглядываясь по сторонам, будто искал тряпку.

— Господи, — сказала Сюзанна, — да расслабься ты. Она вытерла потные руки о платье, еле заметно повела глазами — от спилов она застывала, точно фарфоровая кошечка. Девчонки в старших классах сидели на спидах, чтобы не толстеть, но я их ни разу не пробовала, они как-то не вписывались в ощущение сонного кайфа, которое ассоциировалось у меня

с ранчо. Из-за них достучаться до Сюзанны было куда труднее, чем обычно, но этой перемены в ней мне замечать не хотелось. Я решила, что она просто злится. Она как будто не могла до конца сфокусировать взгляд, отводила его в последнюю секунду.

Мы болтали как обычно, передавали по кругу косяк, от которого Том закашлялся, но мне стало немного не по себе, когда я наконец начала подмечать и другие вещи: на ранчо теперь было гораздо меньше людей, никаких чужаков, которые обычно слонялись туда-сюда с пустыми тарелками и спрашивали, когда будет ужин. Встряхивали волосами, заводили рассказы о том, как долго добирались на машине до Лос-Анджелеса. Кэролайн тоже не было видно.

— Какая-то она была не такая, — ответила Сюзанна, когда я спросила про Кэролайн. — Такое ощущение, что у нее через кожу все кишки можно разглядеть было. Она уехала домой. Кто-то за ней приехал.

— Родители?

Эта мысль казалась бредовой — что у кого-то на ранчо вообще есть родители.

— Все нормально, — повторила Сюзанна. — Села в какой-то фургон, народ ехал на север, в Мендосино, что ли. Какие-то ее знакомые.

Я попыталась представить себе Кэролайн в родительском доме, где бы он там ни был. Но особенно задумываться не стала — значит, с Кэролайн все хорошо, она уехала.

Тому было явно не по себе. Он-то, наверное, привык иметь дело с девочками-студентками: подработки, читательские билеты, секущиеся кончики волос. Хелен, Донна и Сюзанна были дикими, мне в нос ударил исходящий от них кислый душок. Я-то две недели прожила с чудесной сантехникой, с Тамар, которая иступленно следила за собой, у которой даже для ногтей была отдельная нейлоновая щеточка. Мне не хотелось замечать, как Том растерян, как всякий раз, когда Донна к нему обращалась, он слегка съеживается.

— Ну так что там с альбомом? — громко спросила я.

Думая подбодрить Тома, в ответ я ожидала услышать хор голосов, уверения в неминуемом успехе. Потому что и ранчо, и вообще все, что я говорила, оказалось правдой — так что ему просто придется поверить. Но Сюзанна как-то странно на меня посмотрела. Остальные ждали, что она скажет, чтобы подхватить ее слова. Потому что новости были плохими, вот почему она так на меня смотрела.

— Митч — гребаный предатель, — сказала она.

Меня это так потрясло, что я даже не разглядела толком, как безобразно

у Сюзанны исказилось лицо от ненависти. Как это, у Расселла не будет контракта? Неужели Митч ничего не заметил, ни этой странной наэлектризованной ауры Расселла, ни того, как воздух будто шелестит вокруг него? Может, все дело в ранчо, может, сила Расселла проявляется только здесь? Неприкрытый гнев Сюзанны снова вернул меня в их ряды.

— Митч зассал, а почему — никто не знает. Он нам врал. Что за люди, — сказала Сюзанна, — что за мудаки.

— Он еще пожалеет, что засирал мозги Расселлу, — кивая, поддакнула Донна. — Сначала наобещал, потом от всего отвертелся. Митч плохо знает Расселла. Расселлу-то и делать ничего не будет нужно.

Расселл тогда ударил Хелен не моргнув глазом. Сколько всего неприятного мне приходилось выворачивать наизнанку, внутренне щуриться до тех пор, пока все не представало в другом свете.

— Но Митч ведь еще может передумать, да? — спросила я.

Когда я наконец посмотрела на Тома, то увидела, что он нас даже не слушал, глядел куда-то вдаль.

Сюзанна пожала плечами:

— Не знаю. Он попросил Расселла больше ему не звонить. — Она фыркнула. — Ну и пошел он в жопу. Взял и свалил, как будто и не обещал ничего.

Я все думала о Митче. О том, как той ночью он, войдя в раж, стал грубым, как ему было плевать, что я морщусь, что он придавил рукой мои волосы. Перед его затуманенным взглядом мы были неразличимы, наши тела — просто символы тел.

— Да нормально все. — Сюзанна натянуто улыбнулась. — Это не...

Она осеклась, потому что Том внезапно, рывком вскочил на ноги. С грохотом протопал по ступенькам, помчался к бассейну. Он что-то неразборчиво кричал. Нагой, жалкий вопль. Рубашка выбилась из-за пояса.

— Что это с ним? — спросила Сюзанна, но я не знала и покраснела от жгучего стыда, который перерос в страх: Том, все так же крича, лез по ступенькам в бассейн.

— Ребенок! — кричал он. — Мальчик!

Нико. У меня перед глазами мелькнуло его затихшее тельце в воде, бульканье в маленьких, переполненных легких. Крыльцо накренилось. Когда мы подбежали к бассейну, Том уже вытащил мальчишку из склизкой воды, и тут же стало понятно, что ничего страшного не случилось. Что с ним все хорошо. Нико уселся на траву — мокрый, обиженный. Он тер кулаком глаза и отталкивал Тома. Рыдал — тоже в основном из-за Тома, из-за странного дядьки, который наорал на него и вытащил из бассейна, где

он прекрасно себе играл.

— Чего ты разорался? — спросила Донна Тома. Она грубовато потрепала Нико по голове, как собачку — хороший, мол, песик.

— Он туда прыгнул.

Тома колотило от ужаса, брюки и рубашка промокли насквозь. В ботинках влажно чавкало.

— И?

Том вытаращил глаза, не понимая, что не нужно ничего объяснять, что так он сделает только хуже.

— Я думал, он свалился в бассейн.

— Но там ведь вода, — сказала Хелен.

— Мокрая такая штука, — посмеиваясь, добавила Донна.

— Нормально все с мальчишкой, — сказала Сюзанна. — Ты его напугал.

— Буль-буль-буль. — Хелен давилась от смеха. — А ты думал, он утонул, что ли?

— Он мог утонуть. — У Тома срывался голос. — За ним никто не присматривал. Он еще маленький, он не удержался бы на воде.

— Видел бы ты себя, — сказала Донна. — Ну ты и пересрал, вообще.

Том, выжимающий органическую жижу из рубашки. Хлам во дворе — весь в солнечных пятнах. Нико вскочил, встряхнулся. Тихонько посопел со странным, мальчишеским достоинством. Девочки смеялись, все хором, поэтому Нико легко улизнул, и никто даже не заметил его ухода. Я тоже сделала вид, будто совсем не испугалась, будто я знала, что все закончится хорошо, — потому что Том был таким жалким: паника прихлынула к лицу и никак не отступит, и даже ребенок и тот на него обиделся. Мне было стыдно за то, что я его сюда притащила, за устроенный им переполох, да еще Сюзанна посмотрела на меня так, что сразу стало ясно, какая дурацкая это затея. Том взглянул на меня, ища поддержки, но заметил, как я отстранилась, опустила глаза.

— Вы просто будьте поосторожнее, — сказал Том.

Сюзанна фыркнула:

— Поосторожнее, значит?

— Я работал спасателем, — дрожащим голосом сказал Том. — Можно утонуть даже на мелководье.

Но Сюзанна его не слушала, она посмотрела на Донну, скривилась. И я им тоже противна, подумала я. Этого я вынести не могла.

— Расслабься, — сказала я.

Тома это явно задело.

— Здесь просто отвратительно.

— Так уезжай, — сказала Сюзанна. — Как тебе такая идея?

В ней вибрировали спиды, она бессмысленно, злобно скалилась — даже злее, чем было нужно.

— Можно тебя на минутку? — спросил меня Том.

Сюзанна рассмеялась:

— Ну, все. Начинается.

— На минутку, — сказал он.

Я не знала, как мне быть. Сюзанна вздохнула.

— Ладно уж, поговори с ним, — сказала она. — Господи.

Том отошел в сторону, я поплелась за ним, словно боясь, что если подойду поближе — заражусь. Я то и дело оглядывалась на остальных, девочки вернулись на крыльцо. Мне хотелось к ним. Все в Томе меня раздражало — дурацкие штаны, всклокоченные волосы.

— Ну чего? — спросила я. Нетерпеливо, поджав губы.

— Даже не знаю, — сказал Том, — я просто... — Он замялся, взглянул на дом, подергал себя за рубашку. — Хочешь, я тебя отвезу обратно? У нас сегодня вечеринка, — добавил он. — В Международном доме.

Я знала, что это будет за вечеринка. Крекеры “Ритц”, зануды кучкуются вокруг мисок с водянистым рисом. Обсуждают СДО [\[17\]](#), сравнивают списки литературы. Я дернула плечом — еле заметное движение. Но он, кажется, принял этот жест всерьез.

— Давай я оставлю тебе свой номер, — сказал Том. — То есть номер телефона, который висит у нас в коридоре, просто попросишь, чтобы позвали меня.

Смех Сюзанны долетал до меня гулками рас катами.

— Да не надо, — сказала я. — Тут, кстати, и телефона нет.

— Они не очень хорошие люди. — Том заглядывал мне в глаза.

Он был похож на сельского священника, совершившего обряд крещения — проникновенный взгляд, мокрые штаны липнут к ногам.

— Ты-то откуда знаешь? — У меня неприятно запылали щеки. — Ты их в первый раз видишь!

Том махнул рукой.

— Тут помойка, — сказал он, брызгая слюной, — неужели ты сама не видишь?!

Он тыкал пальцем в обветшалый дом, в джунгли разросшихся кустов. В распотрошенные машины, пустые цистерны и заплесневелые, кишасшие муравьями пледы. Я тоже это видела, но не делала никаких выводов. Я уже отгородилась от него, и больше мне было нечего сказать.

Когда Том уехал, девочки, которым больше не нужно было переламывать себя из-за постороннего, стали снова — и гораздо сильнее — похожи на самих себя. Все, больше никакой мирной, сонной болтовни, никакого приятного молчания в дружеской обстановке. — Где же твой лучший друг? — спросила Сюзанна. — Твой старый приятель?

Дутый гнев, колени трясутся — а выражение лица совершенно пустое.

Они смеялись, и я старательно смеялась вместе с ними, но — сама не знаю почему — с беспокойством думала о Томе, который ехал в Беркли. Он был прав насчет хлама во дворе, его стало больше, да и Нико, наверное, вправду мог пострадать, и что тогда? Я заметила, что не только Донна — они все отощали: ломкие волосы, тупая опустошенность во взгляде. Когда они улыбались, видно было, что языки у них покрыты белым налетом, какой бывает у голодающих. Поэтому я, хоть и неосознанно, с надеждой ждала возвращения Расселла. Хотела, чтобы он прижал к земле мои разлетающиеся мысли.

— Сердцеедка! — присвистнул Расселл, заметив меня. — Ты вечно от нас сбегаешь и разбиваешь наши сердца.

Увидев знакомое лицо Расселла, я постаралась себя убедить, что на ранчо ничего не изменилось, но, когда он меня обнял, заметила какое-то пятно у него на скуле. Оказалось — бакенбарды. Они не топорщились, как обычные волосы, а были плоскими. Я пригляделась. И поняла, что они нарисованы — каким-то углем или подводкой для глаз. Меня это встревожило — сама извращенность, сама хрупкость такого обмана. Я сразу вспомнила одного мальчишку из Петалумы, который воровал в магазинах косметику, чтобы замазывать прыщи. Расселл гладил мою шею, делился крошками энергии. Было непонятно, злится он или нет. Зато когда он вернулся, остальные разом ожили и таскались за ним толпой, будто оципанное утята. Я пыталась отвести Сюзанну в сторонку, брала ее под руку, как в старые времена, но она только улыбалась в ответ — рассеянная, еле живая — и стряхивала мою руку, видя одного Расселла.

Я узнала, что Расселл начал угрожать Митчу. Без приглашения заявлялся к нему домой. Посылал к нему Гая, чтобы тот опрокинул мусорные баки, — вернувшись, Митч увидел, что весь двор завален сплюснутыми коробками из-под кукурузных хлопьев, обрывками воценой бумаги и склизкой от объедков фольгой. Парень, который присматривал за домом, тоже видел Расселла, правда, всего однажды, — Скотти рассказал Митчу, что видел какого-то мужика, который припарковался прямо у ворот

и просто смотрел на дом, а когда Скотти попросил его уехать, Расселл улыбнулся и сказал, что знал предыдущего хозяина дома. Приходил Расселл и к звукорежиссеру, клянчил пленки их с Митчем пробной записи. Дома была жена режиссера. Потом она рассказала, что, услышав звонок, очень разозлилась: дома спал новорожденный ребенок. Когда она открыла дверь, на пороге стоял Расселл — в обтрепанных “ранглерах” и с этой своей кривой улыбочкой.

Муж ей рассказывал об этой записи, поэтому она знала, кто такой Расселл, но не испугалась. Совсем нет. На первый взгляд ничего такого страшного в нем не было, и когда она сказала, что мужа нет дома, Расселл пожал плечами.

— Да я сам заберу, по-быстрому, — сказал он, пытаясь заглянуть ей через плечо. — Одна нога тут, другая там, всего-то.

Вот тут-то ей стало немного не по себе. Она покрепче уперлась в порог старыми шлепанцами. По коридору разносилось хныканье ребенка.

— Он все хранит на работе, — сказала она, и Расселл ей поверил.

Еще женщина вспомнила, что той же ночью слышала шум во дворе, какой-то шорох в розовых кустах, но, выглянув в окно, увидела только гравиевую дорожку да колючий, залитый лунным светом газон.

Мой первый вечер после возвращения был совсем не таким, как прежние вечера. Раньше у нас лица так и сияли от какого-то детского счастья — я гладила пса, который в поисках ласки тыкался в нас носом, от души чесала его за ухом, задавая рукой радостный ритм всему телу. Бывали у нас и странные вечера, когда мы все принимали кислоту или, например, когда Расселл доканывал какого-нибудь пьяного мотоциклиста своей петляющей логикой. Но мне никогда не было страшно. Но в этот вечер — у обложенного камнями затухающего костерка — все было по-другому. Когда пламя растаяло окончательно, этого никто и не заметил, всеобщая кипящая энергия была направлена на Расселла, а тот дрожал, как натянутая резинка, которая вот-вот порвется.

— Вот это вот, — сказал Расселл. Расхаживая из стороны в сторону, он быстро сбрыцал песенку. — Я только что ее придумал, а она уже стала хитом.

Гитара была расстроена, звук получался плоский и гнусавый, но Расселл этого будто не замечал. Он говорил лихорадочно, захлебываясь.

— А вот еще одна.

Он покрутил колки, ударил по струнам — раздалось нестройное брэнчанье. Я пыталась поймать взгляд Сюзанны, но она не отрываясь

смотрела на Расселла.

— Это будущее музыки, — перекрикивал он какофонию. — Они думают, что понимают в музыке, потому что их песни крутят по радио, но ни хера они не понимают. У них в сердцах нет истинной любви!

Никто, казалось, не слышал, как он обкусывал краешки слов, — они эхом повторяли все за ним, вместе с ним страстно кривя рты. Расселл был гением, это я так Тому сказала, — но теперь я вдруг отчетливо представила, как дрогнуло бы от жалости лицо Тома, если бы он увидел Расселла, и я возненавидела Тома за это, потому что и сама слышала все эти дыры в песнях, слышала и понимала: они сырые, и даже не сырые, а просто плохие, сентиментальная патока, слова про любовь картонные, как будто их писал школьник, — сердечки, намалеванные пухлой рукой. Солнышко, цветочки и улыбки. Но окончательно я не могла этого признать, даже тогда. Какое у Сюзанны делалось лицо, когда она на него смотрела, — как же я хотела быть с ней. Я думала, что если любишь кого-то, то эта любовь становится чем-то вроде страховки: человек видит, какие сильные, какие глубокие у тебя к нему чувства, и это учитывает. Мне казалось, что это справедливо, словно вселенной хоть сколько-то сдалась эта самая справедливость.

Бывало, мне что-нибудь снится, я проснусь — и мне кажется, что я на самом деле что-то видела, какую-нибудь картинку, деталь, и вместе со мной это чувство проникало из мира снов в реальность. А потом меня оглушало — нет, я не замужем, нет, я не взламывала никакого кода, чтобы куда-то сбежать, — и от этого делалось по-настоящему грустно.

Когда Расселл велел Сюзанне поехать к Митчу Льюису и преподать ему урок, — мне все казалось, будто я при этом присутствовала: черная ночь, сухой, тикающий стрекот сверчков и жуткие эти дубы. Но меня там, конечно, не было. Я столько об этом читала, что эта сцена так и стояла у меня перед глазами, окрашенная в слепящие тона детских воспоминаний.

Я тогда ждала Сюзанну у нее в спальне. Злилась, отчаянно по ней тосковала. Вечером я много раз пыталась с ней поговорить, дергала ее за руку, ловила взгляд, но она отмахивалась. “Потом”, — сказала она, и мне этого хватило, чтобы навообразить себе, как это ее обещание исполнится в ее сумрачной спальне. Когда послышались шаги, у меня защемило в груди, в голове осталась только одна мысль — Сюзанна пришла! — но тут меня по лицу мазнуло чем-то мягким, и я резко открыла глаза. Это была всего-навсего Донна. Она швырнула в меня подушкой.

— Спящая красавица, — прохихикала она.

Я снова постаралась улечься покрасивее. Из-за моей нервной возни простыня сбилась, я напряженно ловила каждый звук, думая, что это идет Сюзанна. Но в ту ночь она не пришла. Я ждала сколько было сил, прислушиваясь к каждому скрипу, к каждому стуку, но потом сдалась и забылась прерывистой дремотой.

Сюзанна же была с Расселлом, у него в трейлере. Они, наверное, трахались до духоты, Расселл бубнил в потолок свои планы насчет Митча. Представляю, как он подбирался к самому главному, а потом ловко обходил детали, чтобы Сюзанне казалось, будто они думают об одном и том же, что это и ее идея.

— Моя адская гончая, — ворковал он с ворочавшимся в глазах безумием, которое можно было принять за любовь.

Странно было думать, что Сюзанна на такое польстится, но да, на нее это действовало. Он трепал ее по голове — до такого нервного восторга мужчины обычно любят доводить собак, и можно представить, как нарастало напряжение, желание влиться в поток, который накроет тебя с головой.

— Это должно быть что-то большое, — говорил Расселл. — На что они не смогут закрыть глаза.

Я так и видела, как он наматывает на палец прядь ее волос, тянет, совсем легонько, так что Сюзанна и сама не знает, что это в ней дернулось — боль или наслаждение.

Он отворяет дверь, подталкивает к ней Сюзанну.

Весь следующий день Сюзанна была сама не своя.

То убегала — с таким лицом, будто куда-то опаздывает, — то о чем-то взволнованно шепталась с Гаем. Я ревновала, я отчаивалась, зная, что не могу тягаться с той ее частью, которой безраздельно владел Расселл. Она замкнулась в себе и обо мне почти не думала.

Я нянчилась со своим замешательством, выдумывала обнадеживающие объяснения, но когда улыбалась ей, она моргала в ответ, точно не сразу меня узнавала, точно я была незнакомкой, которая, например, просто вернула ей потерянную записную книжку. Я заметила, как запаивается ее взгляд, как она наглухо уходит в себя. Только потом я пойму, что это все были приготовления.

Мы поужинали разогретыми бобами, на вкус они отдавали алюминием, пригорелым соскребом со дна кастрюли. Потом — черствый шоколадный торт со слоем заиндевелой глазури. Есть решили в доме, поэтому все

расселись на занозистом полу, пристроив тарелки на коленях. Над едой приходилось ссутуливаться, как пещерным людям, — впрочем, ели мало. Сюзанна тыкала пальцем в торт, смотрела, как он крошится. Во взглядах, которыми они обменивались, прорывалось с трудом сдерживаемое веселье, общий сговор, который обернется неожиданным праздником. Донна с многозначительным видом передала Сюзанне тряпку. Я ничего не понимала и в этом своем жалком недоумении была слепой, заискивающей.

Я набиралась духу, чтобы заставить Сюзанну поговорить со мной. Но, вскинув голову от мерзкой кашицы на тарелке, увидела, что она уже встала, повинувшись неизвестным мне указаниям.

Они куда-то уезжают, поняла я, когда бежала за ней, следуя за лучом ее фонарика. Всхлип, всплеск отчаяния: Сюзанна уезжает и меня с собой не берет.

— Возьми меня с собой, — сказала я.

Она стремительно рассекала траву, я изо всех сил старалась не отставать. Лица ее я не видела.

— Куда взять? — спросила Сюзанна, голос у нее был ровный.

— Туда, куда вы едете. Я знаю, вы ведь куда-то едете.

Бойко, колко:

— Расселл тебя никуда не звал.

— Но я хочу, — сказала я. — Пожалуйста.

Нельзя сказать, что Сюзанна согласилась. Но она замедлила шаг, чтобы я могла за ней угнаться, теперь я шла по-другому — с ней, а не за ней.

— Тебе нужно переодеться.

Я оглядела себя, пытаюсь понять, что ее не устраивает: хлопковая рубаша, длинная юбка.

— В темную одежду, — сказала она.

14

Поездка была муторной и нереальной, как долгая болезнь. Гай за рулем, на переднем сиденье — Хелен и Донна, Сюзанна — сзади, я сидела рядом с ней. Она смотрела в окно. Внезапно наступила темная, глубокая ночь, машина проносилась под фонарями. Их сернистый свет скользил по лицу Сюзанны, по нашему общему оцепенению. Иногда мне кажется, что я так и сижу в той машине. Что какая-то часть меня до сих пор там.

В тот вечер Расселл остался на ранчо. Мне это не показалось странным. Сюзанна и все остальные были фамильярами, которых он выпускал в мир, и так было всегда. Гай — словно его секундант на дуэли, Сюзанна, Донна и

Хелен соглашались на все. Руз тоже должна была поехать, но не поехала, — потом она сослалась на дурное предчувствие, мол, потому и осталась, но правда ли это, я не знаю. Или ее остановил Расселл, почувствовав в ней непреклонную нравственность, которая могла утянуть Руз в реальный мир? Руз, у которой был ребенок, Нико. Руз, которая была главным свидетелем обвинения, представ перед судом в белом платье, со строгим пробором в волосах.

Не знаю, сказала ли Сюзанна Расселлу, что с ними поехала я, — этот вопрос так и остался без ответа.

В машине играло радио — до смешного чужеродная музыка к чужим жизням. Жизням, где люди готовятся ко сну, где матери соскребают с тарелок в мусорные ведра оставшиеся от ужина объедки курицы. Хелен нудела не затыкаясь — вот в Пизмо на берег выбросило кита, и правда, что ли, что это знак и теперь будет большое землетрясение? Она привстала на колени, словно эта идея ее взбудоражила.

— Придется нам прятаться в пустыне, — сказала она.

На ее уловки никто не покупался: в машине царило молчание. Донна что-то пробормотала, Хелен стиснула зубы.

— Открой окно, — попросила Сюзанна.

— Мне холодно, — заканючила Хелен.

— Давай быстрее, — Сюзанна замолотила кулаком по спинке сиденья, — я тут плавлюсь, дура!

Хелен опустила окно, машина наполнилась воздухом, приправленным выхлопными газами. Соленой близостью океана.

И я была с ними. Расселл изменился, кончилось веселье, но я была с Сюзанной. Само ее присутствие сдерживало все мои страхи. Как у ребенка, который верит, что чудища отступят, если мать посидит у его кровати. У ребенка, который не видит, что мать тоже напугана. Что она ничем не может ему помочь — только закрыть своим слабым телом.

Может быть, в глубине души я и знала, к чему все идет, — что-то пробивалось сквозь муть со дна; может быть, я примерно понимала общее направление — и все равно поехала с ними. Потом, и тем летом, и в самые разные периоды жизни, я буду — слепо, на ощупь — перебирать эту ночь, пропускать ее через пальцы.

Сюзанна сказала только, что мы наведемся в гости к Митчу. Ее слова щетинились ненавистью, какой я раньше от нее не слышала, но все равно самое страшное, что я могла себе представить, — мы сделаем то же, что и у Даттонов. Устроим психическую атаку, чтобы его встряхнуть, чтобы

Митчу хотя бы на миг стало страшно, чтобы ему пришлось выстраивать свой мир заново. Вот и хорошо — от ненависти Сюзанны вспыхнула и разгорелась моя собственная ненависть. К Митчу, к его жирным, пронырливым пальцам, к тому, как он мямлил что-то бессмысленное, оглядывая нас с ног до головы. Как будто он мог нас одурачить этими банальностями, как будто мы не видели, что похоть буквально сочится у него из глаз. Мне хотелось, чтобы он почувствовал себя слабым. Мы захватим дом Митча, словно проказливые духи из другого мира.

Я тоже это чувствовала, а значит — это и вправду было. Это ощущение, которое всех нас, сидевших в машине, объединило, — прохладное дуновение иных миров на наших волосах и коже. Но ни разу, ни разу мне не пришло в голову, что этот иной мир может оказаться смертью. В это я поверю, только когда меня с размаху оглушит новостями. После чего, разумеется, смерть окрасит все своим присутствием, безуханной дымкой заползет в машину и прижмется к окнам, дымкой, которую мы все будем вдыхать и выдыхать, в которую облечем каждое наше слово.

Проехали мы немного, находились, может, в двадцати минутах от ранчо. Гай осторожно спустил машину по узеньким, темным изгибам холма, выехал к долгим просторам полей и теперь набирал скорость. Мы пронеслись мимо частокола эвкалиптов, за окнами — холодок тумана.

Я была натянута как струна, и потому для меня все застыло, словно в янтаре. Радио, движения, профиль Сюзанны. Вот что у них всегда было, думалось мне, это сцепленное взаимосуществование — что-то такое, что опознается с трудом, поскольку маячит прямо перед глазами. Чувство, что тебя держит на поверхности сила сестринства, сопричастности.

Сюзанна положила руку на сиденье между нами. Я встрепенулась, увидев знакомые очертания, вспомнила, как она схватила меня тогда, у Митча в постели. Ногти у нее были все в пятнах, ломкие из-за плохого питания.

Я умирала от дурацкой надежды, верила, что могу рассчитывать на ее благословенное внимание. Я взяла ее за руку. Постучала пальцем по ладони, будто собиралась передать записочку. Сюзанна вздрогнула, очнувшись от забытья, которое я заметила, только нарушив его.

— Чего? — злобно бросила она.

Мое лицо разом растеряло все маски. Наверное, Сюзанна увидела, как алчно в нем бьется любовь. Наверное, оценила масштабы, точно камень в колодец кинула — но всплеска так и не услышала. Взгляд у нее застыл.

— Тормози, — сказала Сюзанна.

Гай не остановился.

— Останови машину! — крикнула Сюзанна.

Гай обернулся и посмотрел на нас, съехал на обочину, остановился.

— Почему мы... — начала я, но Сюзанна меня перебила.

— Вылезай, — сказала она, распахнув дверцу.

Она двигалась слишком быстро, мне было ее не остановить, кадры неслись вперед, звук запаздывал. — Да хватит тебе. — Я пыталась говорить весело, мол, я поняла шутку.

Сюзанна уже выскочила из машины, ждала, пока я вылезу. Она не шутила.

— Но тут же ничего нет, — сказала я, окинув шоссе отчаянным взглядом.

Сюзанна нетерпеливо переминалась с ноги на ногу.

Я поглядела на остальных, умоляя о помощи. Свет потолочного плафона обточил их лица до гладкости, так что они казались холодными, нечеловеческими, будто у бронзовых статуй. Донна отвернулась, но Хелен глядела на меня с клиническим интересом. Гай пошмыгал носом, поправил зеркало. Хелен что-то сказала, я не расслышала, что именно. Донна шикнула на нее.

— Сюзанна, — сказала я, — пожалуйста. — Мой голос беспомощно дрогнул.

Она молчала. Когда я наконец подтащилась к дверце и вылезла, Сюзанна не колебалась ни секунды. Нырнула обратно в машину, захлопнула дверь, свет под потолком погас, и они снова оказались в темноте.

И они уехали.

До меня дошло, что я осталась одна, и хоть я и лелеяла какие-то наивные мечты — они вернуться, они просто пошутили, Сюзанна бы меня не бросила, ни за что, — я понимала, что меня вышвырнули вон. Оставалось только отдалить картинку, взмыть куда-то к макушкам деревьев и поглядеть сверху на одиноко стоящую в темноте девочку. Которую я не знала.

В первые дни ходили самые разные слухи. Говард Смит [18] передал ложную новость о том, что убит Митч Льюис, впрочем, этот слух опровергли гораздо быстрее остальных. Дэвид Бринкли [19] сообщил о шести трупах на газоне перед домом — с огнестрельными и ножевыми ранениями. Потом это число снизилось до четырех. Бринкли первым заявил, что на месте убийства были обнаружены удавки, клобуки и сатанинские символы, — недоразумение, возникшее из-за сердца на стене гостиной. Нарисованного уголком полотенца, смоченного в крови матери.

Легко понять, откуда пошла эта путаница, — конечно, люди усмотрели в этой мазне что-то демоническое, решили, что это таинственный, роковой знак. Представить, что это следы черной мессы, куда проще, чем поверить в то, чем это было на самом деле: просто сердечком, какие, бывает, малюют в своих тетрадках влюбленные школьницы.

Я прошла где-то с милю вверх по шоссе, вышла к съезду и заправке “Тексако”. Я расхаживала между желтыми лампами, которые шипели, как бекон на сковородке. Раскачивалась на носках, смотрела на дорогу. А когда наконец поняла, что никто за мной не вернется, позвонила из автомата отцу.

Трубку сняла Тамар.

— Это я, — сказала я.

— Эви, — сказала она. — Слава богу. Где ты? — Я так и видела, как она крутит телефонный провод, наматывает его на палец. — Я знала, что ты скоро объявишься. Так твоему отцу и сказала.

Я объяснила, где я. Голос у меня то и дело срывался, она, наверное, слышала.

— Я выезжаю, — сказала она. — Только никуда не уходи.

Я уселась на бордюр, уткнулась головой в колени. Прохладный воздух был первой вестью об осени, на шоссе 101 вспыхивали созвездия задних фар, огромные грузовики, взревели, набирали скорость. Я выискивала оправдания Сюзанне, пыталась выжать из себя хотя бы одну причину для такого ее поведения. Не было ни одной, только ужасное, стремительное осознание — мы с ней никогда не были близки. Я ничего для нее не значила.

Я чувствовала на себе любопытные взгляды дальнобойщиков, которые покупали на заправке пакетики семечек, ровными струйками сплевывали

табачную слюну. Отечественое шарканье, ковбойские шляпы. Я знала, они присматриваются к моему одиночеству. К моим голым ногам и длинным волосам. Но, должно быть, я искрила яростным шоком — не подходи! — и они меня не трогали.

Наконец я увидела белый “плимут”. Тамар даже зажигание выключать не стала. Я шлепнулась на переднее сиденье и при виде знакомого лица Тамар от благодарности даже начала заикаться. Волосы у нее были влажные.

— Даже высушить не успела, — сказала она.

Она смотрела на меня — беззлобно, но озадаченно. Ей явно хотелось меня обо всем расспросить, но она, наверное, понимала, что я не стану ничего рассказывать. Подростки обитают в скрытом ото всех мире, откуда их изредка вытаскивают силой, а они постепенно приучают родителей к своему отсутствию. Я отсутствовала уже давно.

— Не бойся, — сказала она. — Он не сказал твоей маме, что ты сбежала. Я его убедила, что ты скоро вернешься и не стоит ее зря волновать.

Мое горе разрасталось, я ничего не замечала, кроме пустоты. Сюзанна меня бросила, навсегда. Свободное падение, внезапная пустота под ногами вместо ступеней. Тамар одной рукой порылась в сумочке, вытащила золотую коробочку, обтянутую тисненой розовой кожей. Похожую на визитницу. Внутри оказался косяк, она кивнула в сторону бардачка — я вытащила зажигалку.

— Отцу не говори, ладно? — Она затянулась, не спуская глаз с дороги. — А то он и меня под замок посадит.

Тамар не врала: отец и вправду не стал звонить матери. Его, конечно, трясло от злости, но видно было, что ему еще и стыдно, как будто дочь — это такое домашнее животное, которое он забыл покормить.

— С тобой могло что-нибудь случиться. — Он говорил словно актер, которому пришлось угадывать забытую реплику.

Тамар невозмутимо погладила его по спине и ушла на кухню, налила себе колы. Оставила меня наедине с его жарким, нервным дыханием, моргающим, перепуганным лицом. Он разглядывал меня издали, его беспокойство постепенно утихло. Столько всего случилось, что страшно мне не было, стылого отцовского гнева я не боялась. Что он мне мог сделать? Что он мог у меня отнять?

А потом я снова оказалась в своей блеклой комнатке в Пало-Альто, с лампой, с ее безликим командировочным светом.

Когда я на следующее утро вышла в гостиную, дома никого не было, Тамар с отцом уже ушли на работу. Кто-то — скорее всего, Тамар — оставил включенным вентилятор, пластмассовое на вид растение подрагивало в потоках воздуха. До моего отъезда в школу оставалась какая-то неделя, семь дней в отцовской квартире, — мне казалось, это ужасно много, нужно было перетерпеть целых семь ужинов, и в то же время до несправедливого мало — я не успею обрести привычками, прошлым. Делать было нечего, только ждать.

Я включила телевизор и под его уютное бормотание принялась рыться на кухне. В шкафчике нашлась коробка рисовых “Криспис”, на доньшке еще оставался тоненький слой хлопьев, я вытряхнула их в руку и высыпала в рот, сплющила пустую коробку. Налила себе чаю со льдом, сложила крекеры приятной, солидной стопочкой, будто покерные фишки. Подтащила еду к дивану. Но, не успев усесться, взглянула на экран и застыла.

Вихрь кадров, двоится, множится.

Поиски преступника или преступников пока не увенчались успехом. Диктор сообщил, что Митч Льюис отказался давать какие-либо комментарии. Я стиснула взмокшие ладони, посыпались осколки крекеров.

Только после суда все начало проясняться, ночь выстроилась в теперь всем известную линию. Каждую деталь, каждое движение предали огласке. Иногда я гадаю, а какая роль досталась бы мне. Что из этого было бы на моей совести. Конечно, проще всего думать, что я ничего бы не сделала, что я бы их остановила, что мое присутствие удержало бы Сюзанну среди людей. Но это все желаемое, убедительные сказочки. Рядом отиралась и другая возможность, настойчивая, невидимая. Чудовище под кроватью, змея под нижней ступенькой: а вдруг я бы тоже поучаствовала.

А вдруг бы оказалось, что это легко.

Бросив меня на дороге, они поехали напрямик к Митчу. Еще тридцать минут в машине, тридцать наэлектризованных из-за моей эффектной отставки минут: теперь они стали единым целым, настоящими паломниками. Сюзанна облокотилась на спинку переднего сиденья, искря амфетамином, излучая четкую уверенность.

Гай свернул с шоссе на двухполосную дорогу, проехал лагуну. Низенькие, оштукатуренные мотели возле съезда, воздух, перченный от нависающих эвкалиптов. На суде Хелен утверждала, что именно в этот

момент ее охватили сомнения, о которых она сообщила остальным. Но я ей не верю. Если кто-нибудь и колебался, то в глубине души — всплывали в голове, лопались пузырьки мутной пены. Но их сомнения ослабевали, как ослабевают в памяти подробности увиденного сна. Хелен вдруг спохватилась, что забыла дома нож. Согласно судебным отчетам, Сюзанна накричала на нее, но за ножом они все-таки решили не возвращаться. Их уже накрыло волной, утащило мощным течением.

Они оставили “форд” у дороги, даже прятать его не стали. Пока шли к воротам, они, словно бы внутренне примерившись друг к другу, стали двигаться в унисон, единым организмом.

Я знаю, что они увидели. Гравиевую дорогу, за ней — дом Митча. Спокойную ширь залива, форштвень гостиной. Знакомый вид. До того, как я у них появилась, они месяц прожили у Митча — ловили моллюсков мокрыми полотенцами, чуть не разорили Митча на доставке еды. И все-таки, думаю, той ночью дом — фасетчатый, яркий, как леденец, — поразил их, как и в тот, первый раз. Его обитатели были обречены — обречены до того неотвратно, что вся группа почти готова была заранее их пожалеть. За полную беспомощность перед катившейся на них лавиной, за их уже бесполезные — как пленки, поверх которых записали белый шум, — жизни.

Они думали, что Митч дома. Эту часть все знают: о том, как Митча вызвали в Лос-Анджелес поработать над песней, которую он записал для фильма “Каменные боги” (фильм потом так и не вышел). Он вылетел в Бёрбанк из Сан-Франциско последним рейсом *TWA* [\[20\]](#), дом оставил на Скотти, который утром подстриг газон, но бассейн еще не чистил. Позвонила бывшая подружка Митча, попросила об одолжении — можно ли им с Кристофером два дня пожить у него, всего два денечка.

Сюзанна и остальные не ожидали, что в доме будут какие-то незнакомые люди. Люди, которых они раньше никогда не видели. И вот в этот миг можно было остановиться, обменяться согласными взглядами.

Обескураженно молча, уйти, сесть в машину. Но они не ушли. Они сделали то, что им велел Расселл.

Сделайте что-то такое, чтобы об этом все узнали. Что-то эффектное.

В большом доме готовились ко сну Линда и ее маленький сын. Она сварила ему на ужин спагетти, цапнула пару вилок из его миски, себе готовить поленилась. Они ночевали в гостевой спальне — на полу пятна

одежды из ее стеганой дорожной сумки, захватанная плюшевая ящерка Кристофера с черными пуговками глаз.

Скотти позвал в гости подружку, Гвен Сазерленд, послушать пластинки и, пользуясь отсутствием Митча, посидеть в джакузи. Гвен было двадцать три года, выпускница Маринского колледжа, со Скотти они познакомились в Россе, на барбекю. Не красавица, но добрая и приветливая, к таким девушкам парни всегда обращаются, когда им нужно подстричься или пришить пуговицу.

Скотти и Гвен выпили по несколько бутылок пива. Скотти покурил травы, Гвен не стала. Весь вечер они провели в крошечном домике сторожа, где у Скотти было по-военному чисто — простыня туго натянута, края завернуты треугольничками.

Первым Сюзанне и остальным попался Скотти. Он дремал на диване. Сюзанна отделилась от группы — Гвен была в ванной, и Сюзанна пошла проверить, что там за звуки, — а Гай кивком отослал Донну и Хелен обыскать большой дом. Гай ткнул Скотти, разбудил его. Тот всхрапнул, резко вздрогнул, проснувшись. Скотти был без очков — засыпая, он снял их и положил на грудь — и поэтому подумал, наверное, что это неожиданно вернувшийся Митч.

— Простите, — сказал Скотти, вспомнив про бассейн, — простите.

Нашарил очки.

Наконец он нацепил их на нос и увидел скалившийся в руке Гая нож.

Сюзанна вытащила Гвен из ванной. Та умывалась, склонившись над раковиной. Выпрямившись, она краем глаза заметила чью-то тень.

— Привет, — сказала Гвен, по лицу у нее стекала вода.

Она была очень хорошо воспитана. Держалась приветливо, даже когда ее заставляли врасплох.

Может быть, Гвен подумала, что это подруга Митча или Скотти, хотя до нее, наверное, быстро дошло, что тут что-то не так. Потому что у девушки, которая улыбнулась ей в ответ (а Сюзанна, как известно, улыбнулась ей в ответ), глаза были как кирпичные стены.

В большом доме Хелен и Донна нашли женщину с мальчиком. Линда перепугалась, то и дело подносила к горлу дрожащую руку, но пошла с ними. Линда — в трусах, в безразмерной футболке, — она, наверное, думала, что если будет вести себя тихо и вежливо, с ней ничего не случится. Старалась взглядом успокоить Кристофера. Сжимала его руку —

пухлый кулачок, нестриженные ногти. Мальчик не сразу заплакал; Донна сказала, что поначалу он даже глядел на все с интересом, как будто это была игра. Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать, кто не спрятался, я не виноват.

Я все думаю, а что же в это время делал Расселл. Может, на ранчо разожгли костер и Расселл играл на гитаре в трепещущем свете пламени. А может, он увел Руз или еще кого-то из девочек к себе в трейлер, может, они курили косяк, смотрели, как дым уплывает вверх, скапливается под потолком. Девочка, конечно же, распушила перышки — от его объятий, от оказанного ей внимания, но он, разумеется, мысленно был совсем не с ней, а в доме на Эджуотер-роуд, где море подступало к самому порогу. Я так и вижу, как он лукаво поводит плечами, как прикручивает фитилек во взгляде, отчего его глаза кажутся блестящими и холодными, как дверные ручки. “Они сами этого хотели”, — потом скажет он. Рассмеется в лицо судьбе. Рассмеется до икоты. “Вы что, считаете, это я их заставил? Что я хоть пальцем до кого-то дотронулся?” Расселл так хохотал, что приставу пришлось вывести его из зала суда.

Они согнали всех в гостиную. Гай приказал всем сесть на огромный диван. Жертвы переглядывались, еще не зная, что они жертвы.

— Что вы с нами сделаете? — все спрашивала и спрашивала Гвен.

Скотти — жалкий, взмокший — закатил глаза, и Гвен рассмеялась, может, поняла вдруг, что Скотти ее не защитит. Что он самый обычный юноша — в запотевших очках, с трясущимися губами — и что она далеко от дома.

Она расплакалась.

— Заткнись, — сказал Гай. — Господи.

Гвен сдерживала рыдания, беззвучно вздрагивала. Линда успокаивала Кристофера, даже когда девочки всех связали. Донна стянула Гвен руки полотенцем. У Гвен задралась юбка, она безудержно всхлипывала. Голые ляжки, лицо так и не высохло. Линда шептала Сюзанне, пусть возьмут все деньги из ее сумочки, все, какие есть, а если они отвезут ее в банк, она снимет еще. Линда говорила спокойно, монотонно — стараясь удержать контроль над происходящим, которого у нее, конечно, не было.

Первым был Скотти. Когда Гай связывал ему руки ремнем, он начал сопротивляться.

— Погодите-ка, — сказал Скотти, — эй!

Гай грубо схватил его, тот вскинулся.

И Гай сорвался. Он втыкал в него нож с такой силой, что сломалась рукоятка. Уворачиваясь, Скотти шлепнулся на пол, попытался свернуться клубком, закрыть живот. В ноздрях, во рту у него запузырилась кровь.

У Гвен руки были связаны не очень крепко — едва нож вонзился в Скотти, она высвободилась и выскочила за дверь. Вопя с таким мультяшным надрывом, что казалось — все понарошку. Почти у самых ворот она споткнулась и упала. Не успела вскочить, как на нее набросилась Донна. Всползла ей на спину, всаживала и всаживала в нее нож, пока Гвен вежливо не спросила, можно ли ей уже умереть.

Мать и сына они убили последними.

— Пожалуйста, — сказала Линда.

Только и всего. Думаю, даже тогда она надеялась, что ее пощадят. Она была очень красивая, очень молодая. У нее был ребенок.

— Пожалуйста, — сказала она. — Я достану вам денег.

Но Сюзанне не нужны были деньги. Амфетамины сдавливали ей виски, заклинаяще гудели. У красивой девушки в груди ходуном ходило сердце — дурманящий, отчаянный перестук. А Линда, как же она, наверное, верила — как все красивые люди, — что найдется какой-нибудь выход, что ее спасут. Хелен прижала Линду к полу — сначала осторожно положила руки ей на плечи, будто неумелая партнерша на танцах, но Сюзанна потеряла терпение, прикрикнула на нее, и Хелен надавила сильнее. Линда закрыла глаза, потому что поняла, что теперь будет.

Кристофер заплакал. Он съежился за диваном, его никому не пришлось удерживать. Трусы пропитались горьким запахом мочи. Его плач вторил крикам — те же яростные выбросы чувства. Его мать лежала на ковре и больше не двигалась.

Сюзанна присела на корточки. Протянула к нему руки.

— Иди сюда, — сказала она. — Ну-ка, давай.

Об этом нигде не писали, но именно этот миг я чаще всего прокручиваю в голове.

Наверное, у Сюзанны уже все руки были вымазаны в крови. От ее тела, от волос, от одежды исходила теплая, больничная вонь. И да, я могу все это себе представить, потому что помню все ее лица. Она полна непостижимого умиротворения, словно движется сквозь воду.

— Иди сюда, — сказала она в последний раз, и мальчик пополз к ней.

Она усадила его на колени, прижала к себе, нож — словно подарок, от нее ему.

Новости я досматривала сидя. Казалось, диван выкромсали из квартиры и переместили в какое-то безвоздушное пространство. Образы раздувались, расплзались, словно лианы из кошмарного сна. Равнодушное море за домом. Видеосъемка: полицейский без пиджака выходит из дома Митча. Я видела, что торопиться им некуда — все кончено. Некого спасать.

Я понимала, что эти новости куда огромнее меня. Что я сейчас увидела всего лишь первую мимолетную вспышку, поглядела на солнечное затмение сквозь бумажку. Я металась в поисках выхода, спрятанной щекотки: может, Сюзанна не поехала с ними, может, она в этом не участвовала? Но в моих лихорадочных мольбах уже слышалось эхо ответа. Конечно, она в этом участвовала.

Мысли плыли в разные стороны. Почему Митча не было дома. Могла ли я как-то вмешаться. Почему ничего не заметила. Горло сжималось — я изо всех сил старалась не расплакаться. Я представила, с каким раздражением Сюзанна отнеслась бы к моим слезам. Ее равнодушный голос.

Ты-то чего плачешь? — спросила бы она.

Ты ведь ничего не сделала.

Сейчас даже странно вспоминать о том времени, когда убийства еще не были раскрыты. Что когда-то они существовали отдельно от Сюзанны и всех остальных. Но так оно и было, почти для всего мира. Их не поймают еще много месяцев. Преступление — такое жестокое, такое личное — отравило людей истерией. Изменились сами дома. Вдруг перестали быть крепостью, привычная обстановка теперь навязчиво лезла владельцам в глаза, словно издеваясь над ними: видите, вот она, ваша гостиная, вот она, ваша кухня, видите, как мало от них проку, от этих знакомых стен. Видите, когда приходит конец, они почти ничего не значат. Новости мы смотрели весь ужин, на полной громкости. Я то и дело оборачивалась, заведя краем глаза какое-то мельтешение, но это сменялись картинки в телевизоре или свет фар отражался в окне у соседей. Отец почесывал шею, глядя в экран с новым для меня выражением лица — ему было страшно. Тамар никак не могла успокоиться.

— Ребенок, — говорила она. — Хуже всего, что они ребенка убили.

Я оцепенела, будучи в полной уверенности, что они меня вычислят. По сокрушенному лицу, очевидному молчанию. Но они ничего не заметили.

Отец запер дверь квартиры, а перед тем как лечь спать, еще раз проверил замок. Я не могла уснуть, свет лампы падал на мои обмякшие, вспотевшие руки. Неужели два финала отстоят друг от друга всего на волосок? А если бы яркие лица планет сошлись как-нибудь иначе или, например, другая волна поглотила бы берег в ту ночь — что, это вот и было бы той мембраной, которая поделила бы миры: в одном я поехала с ними, в другом — нет? Едва я проваливалась в сон, как сразу вздрагивала, открывала глаза, чтобы не видеть ленты жутких кадров. И было еще кое-что, смутным укором — даже тогда я по ней скучала.

Постичь логику убийств было невозможно, до того она казалась непостижимой — слишком много разных граней, слишком много ложных следов. У полиции не было ничего — одни трупы, набор разрозненных смертей, будто перепутанные листочки с записями. Были ли жертвы выбраны наобум? Или убить хотели Митча? Или Линду, или Скотти, или даже Гвен? У Митча было столько знакомых, столько врагов и завистливых друзей — как у всякой знаменитости. Митч — и не только Митч — в беседах с полицией упоминал и Расселла, но далеко не его одного. Когда полицейские наконец решили наведаться на ранчо, там уже никого не было — все его обитатели сели в автобус и уехали. Сначала жили в палатках где-то на побережье, потом скрылись в пустыне.

Я и не знала, что расследование стоит на месте, что полиция увязла в каких-то мелочах: на газоне нашли брелок от ключей, но оказалось, что его обронила экономка; бывшего администратора Митча взяли под наблюдение. Смерть каждый пустяк сделала важным, вытолкнула на первый план, под ее косыми лучами все превращалось в улику. Но я-то знала, что произошло, поэтому мне казалось, что и полиция тоже все знает, и думала, что, когда арестуют Сюзанну, полиция придет и за мной, потому что моя сумка с вещами осталась на ранчо. Потому что до этого студента из Беркли, Тома, дойдет, что убийства и шипение Сюзанны насчет Митча как-то связаны, и тогда он позвонит в полицию. Мои страхи были реальными, но беспочвенными: Том не знал моей фамилии. Может, он и обращался в полицию, как и положено добропорядочному гражданину, да только полиция захлебывалась от писем и звонков, все кому не лень объявляли себя убийцами или утверждали, будто знают что-то важное. Моя сумка была самой обычной сумкой, без отличительных примет. Что в ней было? Одежда, книжка про сэра Гавейна и Зеленого Рыцаря. Губная помада “Мерль Норман”. Детские трофеи, которые притворяются взрослыми вещами. Ну и разумеется, девочки порылись в сумке —

беспользную книжку выбросили, одежду расхватали. Я часто врала, но теперь ложь обернулась огромным молчанием. Я думала сначала, не рассказать ли обо всем Тамар. Или отцу. Но потом представляла себе Сюзанну — как она ковыряет заусенец, как внезапно взглядывает на меня колючими глазами. Я никому ничего не сказала.

Совсем нетрудно воскресить в памяти страх, охвативший всех после убийств. Всю неделю до отъезда в школу я почти не оставалась одна, ходила хвостиком за отцом и Тамар из комнаты в комнату, выглядывала в окно — не едет ли черный автобус. Не спала ночами, словно мои мучительные бдения могли нас защитить, словно эти часы страдания могли сойти за равноценную жертву. Удивительно, что Тамар с отцом не замечали моей бледности, моей внезапной тяги к их обществу. Они-то считали, что жизнь продолжается. Что работа никого ждать не будет, поэтому они двигали меня по своему расписанию, как окаменевшую фигурку, в которую превратилось все, из чего была сделана Эви. Моя слабость к коричневым карамелькам, мои мечты — место всего этого заняла новая личность, подменыш. Она кивала, когда к ней обращались, мыла и вытирала посуду после ужина покрасневшими от горячей воды руками.

Перед отъездом в школу мне нужно было разобрать и упаковать все вещи в моей комнате, у матери дома. Мать заказала мне школьную форму, какую носили в Каталине, сложила ее у меня на кровати. Две темно-синие юбки и матроска, от ткани воняло казенным стиральным порошком, как от взятой напрокат скатерти. Форму я даже примерять не стала, просто швырнула в чемодан поверх кроссовок. Я не знала, что еще с собой взять, да и какая разница. Я оглядывала комнату, будто в трансе. Вещи, которые я когда-то так любила, — дневник в виниловой обложке, браслетик с зодиакальным камнем, альбом карандашных набросков — теперь казались отжившими, бесполезными, омертвелыми. Никак не получалось представить девочку, которой все это нравилось. Которая носила зодиакальные камни и писала, как прошел ее день.

— Дать тебе чемодан побольше? — Я вздрогнула.

Оказалось, что мать стоит в дверях. Лицо у нее было помятое, по запаху легко можно было представить, сколько она выкурила. — Хочешь, возьми мой красный.

Я думала, уж она-то должна увидеть, как я изменилась, даже если отец и Тамар ничего не заметили. Пропала детская пухлость, оголились углы на лице. Но она ничего не сказала.

— Этот сойдет, — ответила я.

Мать помолчала, окинула взглядом комнату. Почти пустой чемодан.

— Форма подошла? — спросила она.

Я ее даже не мерила, но кивнула, смиряясь с новой для меня уступчивостью.

— Отлично, отлично.

Она улыбнулась — показались трещинки на губах, и внезапно я разрыдалась.

Я запихивала книги в кладовку и под пачкой старых журналов нашла два белесых полароидных снимка. Сюзанна вдруг оказалась рядом со мной: ее жаркая, волчья улыбка, бугорки грудей. Нетрудно было почувствовать к ней отвращение — накачанной декседрином, взмокшей после того, как пришлось помахать ножом, — но тут же меня, вопреки всему, потянуло к ней, вот же она, Сюзанна. Фотографию нужно выкинуть, это я понимала, сам снимок уже выглядел преступно, как улика. Но я не могла. Я перевернула фотографию, засунула ее в книжку, которую больше не буду перечитывать. Человек на втором “полароиде” отвернулся, в кадр попал только размытый затылок, и я долго глядела на снимок, пока до меня наконец не дошло, что это я.

Часть четвертая

Саша, Джулиан и Зав уехали рано утром, и я снова осталась одна. Дом выглядел так же, как и всегда. Только простыни на кровати в соседней комнате — смятые, пропахшие сексом — доказывали, что здесь кто-то побывал. Я выстираю простыни в стиральной машине, которая стоит в гараже. Сложу, уберу в шкаф, подмету спальню до исходной близости.

Вечером я гуляла по мокрому пляжу, усеянному обломками ракушек, с зыбучими провалами там, где в песок зарылись крабы. Мне нравился шум ветра в ушах.

Ветер гнал людей с пляжа — студентки визжали, пока их мальчики гонялись за парусящим на ветру одеялом. Семьи, не выдержав, возвращались к машинам, волоча за собой складные стулья, аляповатые кляксы воздушных змеев — уже сломанных. Я шла медленно — в плотном коконе из двух кофт. Через каждые пару шагов я натыкалась на гигантские кучи спутанных водорослей — веревистых, толстых, как пожарные шланги. Будто истребленные инопланетные особи, явно не из этого мира. Бычьи водоросли — кто-то мне говорил, что они называются бычьими. Но оттого, что я знала их название, они не становились менее странными.

Саша даже толком не попрощалась. Она жалась к Джулиану, лицо — как щит против моей жалости. Я понимала, что она уже ускользнула, ушла в тот выдуманный ею мир, где Джулиан был милым и добрым, а жизнь — классной. Или не классной, но интересной — это ведь тоже ценно, это ведь тоже что-нибудь да значит? Я улыбнулась ей, стараясь до нее достучаться, протянуть невидимую ниточку. Но до меня ей никогда не было дела.

Кармельские туманы были гораздо плотнее, на наш пансион они обрушивались как метели. Шпиль часовни, близость моря. В сентябре я начала учиться в новой школе, все как положено. Кармель был старомодным городом, мои одноклассницы казались младше своих лет. У соседки по комнате был целый набор мохеровых свитеров, она их раскладывала по цветам. Стены дортуаров умягчали ковриками, после отбоя бегали на цыпочках. Старшеклассницы заправляли буфетом, где продавались чипсы, газировка и сладости, нам разрешалось там есть по выходным с девяти до половины двенадцатого утра, у девочек это считалось высшей степенью свободы и шика. Но, несмотря на их болтовню и выпендрож, несмотря на все их коробки с пластинками, мои

одноклассницы, даже приехавшие из Нью-Йорка, все равно казались мне детьми. Время от времени, когда шпили часовни скрывались в тумане, какая-нибудь девочка не могла сориентироваться и терялась.

Первые недели я наблюдала за девочками: они перекрикивались через весь двор, рюкзаки панцирями торчали у них на спинах, свисали из рук. Они словно бы жили за стеклом, напоминая мне закормленных, зацелованных непосед из детских детективных книжек, которые завязывали волосы ленточками и по выходным носили клетчатые рубашки. Они писали письма домой, рассказывали о любимых котятках и обожавших их младших сестренках. Общие гостиные были царствами тапочек и халатов, в мини-холодильниках лежала нуга в шоколаде, девочки жевали ее, не отлипая от телевизора, так что казалось, будто катодные лучи они впитывают уже на психологическом уровне. У одной девочки погиб парень-альпинист, сорвался со скалы где-то в Швейцарии, и все сгрудились вокруг нее, перевозбудившись от трагедии. В их демонстративных, нарочитых соболезнованиях чувствовалась зависть — пока беды случались редко, они еще казались романтичными.

Я боялась, что стану изгоем. Что все увидят, как во мне бултыхается страх. Но само устройство школы — ее особенности, ее схожесть с коммуной — помогло мне выйти на свет. Сама того не ожидая, я обзавелась подругами. Девочка с нашего поэтического семинара. Соседка по комнате, Джессамин. Мой страх все принимали за рафинированность, замкнутость — за пресыщенность.

Джессамин приехала из животноводческого района под Орегоном. Старший брат слал ей комиксы, где супергероини в трещавших по швам костюмах занимались сексом с осьминогами или мультяшными собаками. Эти комиксы ему шлет друг из Мексики, сказала Джессамин, их дурацкая кровожадность ей нравилась, она читала их, свешиваясь с кровати вниз головой.

— Смотри, какой бред, — фыркала она, перебрасывая мне комикс.

Я старалась не подавать виду, что от кровавых клякс и вздымающихся грудей меня слегка подташнивает.

— Это у меня такая диета, я делюсь едой, — объясняла Джессамин, протягивая мне “Малломарс” ^[21] из своих запасов в ящике стола. — Раньше я просто выкидывала половину, но у нас тут мыши завелись, теперь нельзя.

Джессамин напоминала мне Конни, она так же смущенно теребила футболку на животе. Конни, которая стала старшеклассницей и училась теперь в другом здании. Взбегала по низким ступенькам, обедала, сидя за

занозистым столом во дворе. Я совершенно не знала, как о ней думать.

Джессамин жадно слушала мои рассказы о доме, ей казалось, будто я живу прямо под надписью “Голливуд”. В сахарно-розовом особняке, как у всех калифорнийских богачей, с теннисным кортом и садовником, который его подметает. И неважно, что наш город в общем-то был одной большой молочной фермой, о чем я ей и сказала, — другие факты, например профессия моей бабки, это затмевали. Мою нелюбимость в начале года Джессамин истолковала по-своему — и я подстроилась под выдуманый ею образ. Рассказывала о том, что у меня был парень, что я их меняла как перчатки. “Он знаменитость, — сказала ей я. — Мне нельзя говорить, кто именно. Но мы с ним даже одно время жили вместе. У него багровый болт”, — добавила я и фыркнула, и Джессамин тоже рассмеялась. Бросив на меня взгляд, полный зависти и восхищения. Я так смотрела на Сюзанну, наверное, и до чего же просто оказалось разливаться бесконечным потоком таких историй, выдавать желаемое за действительное, брать все самое хорошее, что было на ранчо, и сворачивать это в новые формы, как оригами. Мир, где все вышло так, как я хотела.

Французский у нас вела хорошенькая учительница, которая недавно обручилась и разрешала лучшим ученицам примерить обручальное кольцо. Искусство вела очень усердная мисс Кук, в трясучке от первой работы. Иногда я замечала полосы тонального крема у нее на скулах, и тогда мне становилось ее жаль, хотя она всегда относилась ко мне по-доброму. Она ничего не говорила, если замечала, что я сижу, уставившись в пространство или опустив голову на руки. Однажды она возила меня в город, угощала молочным коктейлем и хот-догом, который на вкус отдавал тепловатой водичкой и внутри был весь в крапинку, будто почтовый желтый конверт. Она рассказывала, что ради этой работы перебралась сюда из Нью-Йорка, что солнце здесь отскакивает от асфальта широкими полосами, что соседская собака загадила всю лестницу у них в доме, что однажды она немножко сошла с ума.

— Соседка по квартире приготовит еду, а я возьму и отъем немного с края. Но вдруг я каким-то образом съедала все, и потом меня рвало. — Из-за очков казалось, что глаза у мисс Кук съежились. — Мне никогда не было так тоскливо, а ведь у меня для этого даже причин никаких не было, понимаешь?

Она явно ждала, что я отвечу ей в тон. Какой-нибудь печальной, понятной историей о том, что мне изменил мальчик, оставшийся в родном городе, или что у меня мать в больнице, или как стерва-соседка по комнате что-нибудь злобно прошипела. Историей, которую она могла преподнести

мне в героическом свете, с точки зрения старшего, более мудрого товарища. Я представила, как рассказываю мисс Кук о том, что со мной случилось на самом деле, и губы невыносимо свело от смеха. Она, конечно, знала об этих убийствах, которые так и оставались нераскрытыми, — о них все знали. Люди запирали на ночь двери, ставили врезные замки, покупали сторожевых собак, переплачивая в несколько раз. Измученным полицейским ничего не удалось добиться от Митча, который в страхе сбежал на юг Франции, хотя дом снесут только в следующем году. К дому начались паломничества: люди ездили мимо ворот, стараясь унюхать ужас, будто дымок в воздухе. Сидели в машинах, пока их не прогоняли соседи, которым уже это все порядком надоело. После отъезда Митча детективы проверяли любые зацепки — показания торговцев наркотиками и шизофреников, скучающих домохозяек. Они даже экстрасенса привозили домой к Митчу — тот старался, ловил вибрации.

— Убийца — одинокий мужчина средних лет. — Я смотрела, как экстрасенс выступал по телевизору в прямом эфире. — В молодости он понес наказание за то, чего не совершал. Я вижу букву “К”. Я вижу город Вальехо.

Но даже если бы мисс Кук мне поверила, о чем я бы ей рассказала? О том, что с августа плохо сплю, потому что мне страшно, а сны — это неконтролируемая территория? О том, как просыпаюсь в полной уверенности, что Расселл здесь, в спальне, — шумно, со всхлипами дышу, неподвижный воздух зажимает рот, будто рука. Что на мне гниль заразы, что в каком-то параллельном мире этой ночи никогда не было и я заставила Сюзанну уехать с ранчо. В этом мире светловолосая женщина и ее медвежонок-сын — усталые, взвинченные — толкают тележку по супермаркету, обдумывают воскресный ужин. В этом мире Гвен оборачивает мокрые волосы полотенцем, увлажняет ноги лосьоном. Скотти прочищает фильтры в джакузи, вода из поливалки на газоне бьет бесшумной дугой, по двору разлетается песня: где-то неподалеку играет радио.

В письмах к матери я поначалу разыгрывала представление. А потом оно стало правдой.

На уроках интересно.

У меня появились друзья.

На следующей неделе мы поедem в океанариум, будем смотреть, как медузы сжимаются и разъявливают рты в подсвеченных аквариумах, как они висят в воде тоненькими платочками.

Когда я дошла до дальней косы, ветер заметно окреп. Берег опустел, ушли все собачники, все отдыхающие. Я осторожно пробралась по валунам, повернула обратно — к песчаной полосе пляжа. Прошла по дорожке между утесом и волнами. Я здесь часто гуляла. Интересно, далеко ли Саша, Джулиан и Зав успели уехать. В любом случае им до Лос-Анджелеса еще где-то час. Я знала — даже особенно не раздумывая, — что Джулиан и Зав сидят впереди, а Саша — сзади. Я представляла, как она то и дело высовывается вперед, просит повторить шутку или тычет пальцем в смешной дорожный знак. Отстаивает свое существование, но потом, сдавшись, снова разваливается на заднем сиденье. Их голоса сливаются в бессмысленный шум, пока она смотрит на дорогу, на мелькающие за окном сады. На ветки со вспышками серебристых лент, которые отпугивают птиц.

Мы с Джессамин собирались пойти в буфет, в общей гостинной какая-то девочка крикнула.

— Тебя сестра ищет, она внизу.

Я даже не обернулась, это точно не ко мне. Оказалось — ко мне. Не сразу, но до меня дошло, кто может меня искать.

Джессамин, кажется, обиделась.

— Не знала, что у тебя есть сестра.

Наверное, я всегда понимала, что Сюзанна придет за мной.

В школе я жила в каком-то ватном оцепенении — не самое неприятное чувство. Как, например, когда затекает рука или нога — тоже ведь не самое неприятное чувство. До тех пор, пока эта нога или рука не начнет отходить. И тогда начинается покалывание, все оживает с болью. Сюзанна стояла, привалившись к стене, в тени возле входа в общежитие. Нечесанные волосы, растрескавшиеся губы — ее присутствие снова пробило зазор во времени.

Все вернулось ко мне. В сердце беспомощно взвизгнул, задрезжал страх. Хотя что Сюзанна могла мне сделать? Сейчас светло, в школе полным-полно свидетелей. Я смотрела, как Сюзанна разглядывает суматошный пейзаж: учителя торопятся на консультации, по двору носятся девочки с теннисными сумками и шоколадным молоком на губах — ходячие свидетельства того, сколько усилий вложили в них отсутствующие тут матери. Однажды я видела, как лань осторожными шажками переходит шоссе, непривычно цокая по асфальту копытами, — та же любопытная, животная отстраненность была и в Сюзанне, примеривание к новому для нее месту.

Она выпрямилась, когда я к ней подошла.

— Вы только поглядите на нее, — сказала она. — Чистенькая, отмытая. Ее лицо стало еще жестче, под ногтем кровавый волдырь.

Я ничего не ответила. Не смогла. Стояла и теребила кончики волос. Теперь они были короче — Джессамин подстригла меня в ванной, щурясь и поглядывая в журнал, где было расписано, как это сделать.

— Я смотрю, ты мне рада, — сказала Сюзанна.

Улыбнулась. Я улыбнулась в ответ, вышло через силу. Сюзанна как будто осталась довольна. Тем, как мне страшно.

Я понимала, надо что-то делать. Мы так и стояли возле входа, чем дольше стоим, тем больше вероятность, что кто-нибудь остановится, что-то спросит, начнет знакомиться с моей сестрой. Но я словно приросла к земле. Расселл и все остальные, наверное, где-нибудь неподалеку — может, они следят за мной? Окна во всех зданиях словно ожили, у меня в голове вспышками проносились мысли: снайперы, долгий взгляд Расселла.

— Покажи мне свою комнату, — велела Сюзанна. — Хочу посмотреть.

В комнате никого не было, Джессамин еще не вернулась из буфета. Сюзанна протиснулась мимо меня, я не успела ее удержать.

— Р-роскошно, — прочирикала она с наигранным британским акцентом.

Уселась на кровать Джессамин. Попрыгала на ней. Посмотрела на прилепленный липкой лентой плакат с гавайским пейзажем — сахарное ребрышко пляжа зажато между небом и океаном нереальных цветов. На тома энциклопедии *World Book* — подарок отца, куда Джессамин ни разу не заглянула. В резной деревянной шкатулке Джессамин хранила письма, и Сюзанна сразу же туда полезла, принялась рыться.

— Джессамин Сингер, — прочла она надпись на конверте. И повторила: — Джессамин.

Захлопнула крышку, встала.

— А это, значит, твоя кровать.

Она насмешливо поправила одеяло. У меня екнуло в животе — мы с ней в кровати у Митча. Ее волосы прилипли к шее и ко лбу.

— Тебе здесь нравится?

— Ничего так. — Я по-прежнему стояла в дверях. — Ничего так, говорит она. — Сюзанна засмеялась. — По ее мнению, учиться в школе — это ничего так.

Я все смотрела на ее руки. Гадала, что именно сделали они, как будто мне было важно высчитать все в процентах. Она проследила за моим

взглядом — наверное, поняла, о чем я думала. Резко вскочила.

— А теперь я тебе кое-что покажу, — сказала Сюзанна.

Автобус был припаркован в переулке, сразу за школьными воротами. Я видела, как внутри маячат чьи-то фигуры. Расселл и все, кто с ним остался, — наверное, все, думала я. Они закрасили рисунок на капоте. Но больше ничего не изменилось. Автобус — непобедимый зверюга. Внезапная уверенность: сейчас они меня окружают. Загонят в угол.

Со стороны казалось, что мы с ней подружки, стоим себе на пригорке. Болтаем в субботний денек — у меня руки в карманах. Сюзанна ладонью, как козырьком, прикрывает глаза.

— Мы пока поживем в пустыне, — объявила Сюзанна, глядя на замешательство, которое мне, скорее всего, не удалось скрыть.

Я почувствовала, до чего узенькая у меня жизнь: вечером у нас собрание французского клуба — мадам Гювель обещала принести сливочные тарталетки. Лежалая травка, которую Джессамин предлагала покурить после отбоя. Неужели в глубине души я все равно хотела уехать, даже зная то, что я знала? Влажное дыхание Сюзанны и ее прохладные руки. Спать на земле, жевать крапиву, чтобы в глотке не так пересыхало.

— Он на тебя не в обиде, — сказала она. Не отводя взгляда, удерживая меня глазами. — Он знает, что ты никому ничего не скажешь.

Правда — я никому ничего не сказала. Мое молчание подарило мне невидимость. Да, мне было страшно. Отчасти молчание можно было, конечно, списать на этот страх — страх, который никуда не делся даже после того, как Расселл, Сюзанна и все остальные оказались за решеткой. Но кроме страха было еще кое-что. Я не могла не думать о Сюзанне. Которая иногда подкрашивала соски дешевой помадой. О Сюзанне, которая жила, ошестившись, словно знала, что каждый хочет что-нибудь у нее отнять. Я никому ничего не сказала, потому что хотела ее защитить. Потому что — ну а кто еще ее любил? Кто хоть раз обнял Сюзанну и сказал ей, что вот это самое сердце, которое бьется у нее в груди, бьется там не зря?

У меня вспотели ладони, но я не могла вытереть их о джинсы. Я пыталась как-то осознать этот миг, удержать в памяти образ Сюзанны. Сюзанна Паркер. Вот она лежит в речке, покачиваясь на воде, — тогда она позволила мне разглядеть себя. Вот я вижу ее в парке, и в моей жизни все перестраивается на атомном уровне. Вот ее губы улыбаются в мои.

До Сюзанны на меня никто не смотрел — не смотрел по-настоящему, поэтому я стала ее отражением. От ее взгляда у меня в груди все

плавилось, да так быстро, что мне казалось, она целится в меня даже с фотографий, обжигает предназначенным только для меня знанием. Она смотрела на меня не так, как Расселл, потому что ее взгляд вмещал и его тоже: уменьшал и его, и всех остальных. Мы с ней были с мужчинами, мы позволяли им делать с нами все, что они хотели. Но то, что мы от них скрыли, они никогда не увидят — не почувствуют даже, что чего-то не хватает, не узнают, что можно, оказывается, было отыскать что-то еще.

Сюзанна не была хорошей. Это я понимала. И отодвигала это знание подальше от себя. Заявление судмедэксперта о том, что мизинец и безымянный палец на левой руке Линды были отрублены, когда она, пытаясь защититься, прикрывала лицо.

Сюзанна смотрела на меня так, будто ждала какого-то объяснения, но вдруг за глухими занавесками автобуса кто-то шевельнулся — даже тогда Сюзанна ловила каждое движение Расселла, — и она напустила на себя деловой вид.

— Ладно, — ее подгоняло тиканье невидимых часов, — ну я пошла.

Мне почти хотелось, чтобы она чем-нибудь мне пригрозила. Как-нибудь дала понять, что еще может вернуться, что мне нужно ее бояться или что я еще могу ее удержать, если подберу правильные слова.

После этого я видела ее только на фотографиях и в новостях. И все-таки. Я так никогда и не поверила, что она ушла от меня насовсем. Для меня Сюзанна и все остальные будут жить всегда, я верила, что они никогда не умрут. Что так и будут вечно мелькать где-то на задворках обычной жизни, кружа по шоссе, забиваясь в закоулки парков. Что их так и будет тащить за собой неугомонная, неустанная сила.

Сюзанна легонько пожала плечами, спустилась по поросшему травой пригорку, залезла в автобус. Ее улыбка — как странное напоминание. Как будто мы — мы с ней — договорились встретиться, назначили время и место, но она знала, что я забуду и не приду.

Мне хотелось верить, что Сюзанна тогда вышвырнула меня из машины, потому что до нее дошло, какие мы с ней разные. Что она знала: я не смогу никого убить, и тогда еще достаточно ясно соображала, чтобы понять — я поехала с ними только из-за нее. Она хотела защитить меня от того, что должно было случиться. Это было простое объяснение.

Но кое-что не вписывалось.

Сколько же ненависти в ней было, чтобы на такое решиться, чтобы снова и снова всаживать в человека нож, словно выплескивая большое исступление, — ненависти, которая была знакома и мне.

Ненависть — это легко. Время идет, но варианты всегда примерно одни и те же: незнакомый мужик на ярмарке, который сунул руку мне между ног. Прохожий, который сделал резкое движение в мою сторону и рассмеялся, когда я дернулась. Взрослый мужчина, который однажды отвел меня в дорогой ресторан, когда я еще не доросла до вкуса устриц. Мне еще и двадцати не было. К нам подсел владелец ресторана, потом — известный режиссер. У мужчин завязалась оживленная беседа, не предполагавшая моего участия. Я мяла тяжелую салфетку, лежавшую у меня на коленях, пила воду. Смотрела в стену.

— Ешь овощи, — вдруг прикрикнул на меня режиссер. — У тебя растущий организм.

Режиссер хотел, чтобы я поняла то, что я сама давно поняла: у меня нет никакой власти. Он увидел мое бессилие и использовал его против меня.

Ненависть к нему вспыхнула моментально. Стоит сделать всего глоток прокисшего молока — и по ноздрям бьет тухлятиной, она затапливает весь череп. Режиссер посмеялся надо мной, а с ним — и все остальные. И тот взрослый мужчина, который потом, отвозя меня домой, схватит меня за руку и прижмет ее к своему члену.

Это все не редкость. Со мной такое сотни раз случалось. А может, и больше. Ненависть, которая проглядывала у меня на лице, на лице девочки, — наверное, Сюзанна ее распознала. Конечно, моя рука предвкушала тяжесть ножа. И то, как проседает под ним человеческое тело. Столько всего нужно было уничтожить.

Сюзанна не дала мне совершить то, на что я была способна. Вместо этого она выпустила меня в мир, как собственный аватар — девочки, которой она уже никогда не станет. Она уже не будет учиться в школе-пансионе, зато я буду, и она запустила меня подальше, будто спутник собственной несбывшейся личности. Сюзанна подарила мне это все: плакат с Гавайями на стене, пляж и голубое небо — простейшие меры фантазии. Возможность ходить на поэтические семинары, выставлять за дверь мешки с грязным бельем и во время родительских посещений жевать истекающие солью и кровью стейки.

Она сделала мне подарок. И как я им распорядилась? Жизнь не становилась насыщеннее со временем, как мне когда-то казалось. Я окончила школу, затем колледж — еще два года. Протянула десять пустых лет в Лос-Анджелесе. Похоронила сначала мать, затем отца. Он умирал от рака, перед смертью ему хотелось молока, волосы у него стали тонкими, как у ребенка. Я оплачивала счета, покупала продукты, ходила к окулисту, а дни осыпались один за другим, будто камешки с утеса. Жить для меня

значило вечно пятиться от края.

Были, конечно, и периоды забвения. Лето, когда Джессамин родила первого ребенка и я приехала к ней в Сиэтл. Я увидела, как она ждет меня у обочины, подобрав волосы под воротник пальто, и годы вдруг расплелись, и я на миг ощутила себя милой, невинной девочкой, которой я однажды была. Год, который мы прожили с женщиной из Орегона. Наша кухня была увешана домашними растениями, индийские покрывала маскировали прорехи на сиденьях машины, мы ходили в поход, разбили лагерь на холмах неподалеку от каньона Хот-Спрингс — ниже по побережью, неподалеку от коммуны, члены которой знали наизусть всю “Книгу народных песен” [\[22\]](#). Нагретая солнцем скала, на которой мы лежали, обсыхая после купания в озере, — на камнях остался соединенный отпечаток наших тел.

Но потом я снова вспоминала о том, чего у меня нет. Я почти стала женой, да осталась без мужа. Я почти стала другом. А затем перестала им быть. Ночами я выключала прикроватную лампу и оказывалась в непроглядной, одинокой темноте. Иногда я с извращенным ужасом думала о том, что никакой это был не подарок. Сюзанну осудили, и за этим последовало искупление грехов: тюремные кружки по изучению Библии, интервью в прайм-тайм, заочная учеба и диплом. Мне же досталась участь вынесенного за поля наблюдателя, я пустилась в бега, не совершив никакого преступления, ожидая — в ужасе, с надеждой, — что меня поймают.

В конце концов проболталась Хелен. Ей было всего восемнадцать, ей еще хотелось внимания, — удивительно вообще, что их так долго не могли поймать. Хелен арестовали в Бейкерсфилде — за то, что воспользовалась украденной кредиткой. Ее бы подержали недельку в окружной тюрьме и выпустили, но она не сдержалась, похвасталась сокамернице. В общем зале был работавший от монет телевизор, как раз передавали сводки расследования.

“Дом гораздо больше, а по фотографиям и не скажешь”, — сказала Хелен — со слов сокамерницы. Хелен так и стоит у меня перед глазами: беззаботная, подбородок вздернут. Наверное, сокамерница поначалу не обращала на нее внимания. Закатывала глаза, слыша, как она несет какой-то девчоночий вздор. Но Хелен не умолкала, и вдруг женщина прислушалась, стала прикидывать — наградят за поимку, скостят срок. Стала поддерживать разговор, вызывать ее на откровенность. Ее внимание, наверное, польстило Хелен, которая и развернула перед ней всю

неприглядную историю. Может, даже преувеличивая, протягивая жутковатые паузы между словами, словно страшилку рассказывала, оставшись на ночь у подружки. Каждому хочется, чтобы его заметили.

К концу декабря арестовали всех. Расселла, Сюзанну, Донну, Гая, всех остальных. Полиция накрыла их палаточный городок в Панаминт-Спрингс: спальные мешки с рваными фланелевыми подкладками и синие брезентовые тенты, угасшие угли в костре. Расселл попытался сбежать, как будто можно было уйти от целого наряда полиции. Фары патрульных машин горели в блеклом розовом рассвете. До чего жалко это все выглядело — скорость, с которой они поймали Расселла, поставили его на колени в траву, велели держать руки за головой. Надели наручники на Гая, с удивлением обнаружившего, что у лихости, которая раньше его всегда выручала, все-таки есть предел. Детей согнали в фургон соцслужбы, завернули в одеяла, накормили сэндвичами с сыром. У них выпирали животы, в волосах кишели вши. Тогда власти еще не знали, кто там что сделал, поэтому Сюзанна никак не выделялась из стайки тощих девочек. Девочек, которые, будто бешеные собаки, сплевывали в грязь кипевшую слюну и обмякали в руках у полицейских, когда те пытались надеть на них наручники. Они сопротивлялись с достоинством юродивых — никто не сбежал. Даже под конец девочки все равно оказались сильнее Расселла.

В тот же день в Кармеле лег снег — тоненькой белой пленочкой. Уроки отменили, мы носились по двору в джинсовых курточках, под ногами у нас тихонько похрустывало. Нам казалось, что наступило последнее утро на земле, и мы вглядывались в серое небо, ждали, не выпадет ли еще чудес, хотя не прошло и часа, как все растаяло, превратилось в слякоть.

Я была уже на полпути к парковке, когда увидела мужчину. Он шел на меня. Был от меня, может, ярдах в ста.

Бритая голова, грубые очертания черепа. Одет в футболку — очень странно, — кожа покраснела от ветра. Мне невольно стало не по себе. Но от фактов не скроешься: я одна на пляже. До парковки еще далеко. Поблизости никого, только я и этот мужчина. Четкие контуры утеса — видна каждая бороздка, каждый прострел мха. Ветер хлещет меня по лицу моими же волосами — растрепанными, беззащитными. Крутит воронки в песке. Я шла навстречу мужчине. Усилием воли не замедляла шаг.

Расстояние между нами сократилось, теперь пятьдесят ярдов. Руки у него были расчерчены мускулами. Этот его устрашающий голый череп. Я сбавила шаг, но без толку — мужчина по-прежнему быстро шел в мою сторону. Подергивая при ходьбе головой — ритмичный, безумный тик.

Камень, лихорадочно думала я. Он возьмет камень. Пробьет мне голову, мозги вытекут на песок. Схватит за горло, раздавит трахею.

Глупости, которые пришли мне в голову: Саша и ее солоноватый детский рот. Как в детстве солнце просвечивало сквозь макушки деревьев, которые росли у нас вдоль подъездной аллеи. Знала ли Сюзанна о том, что я о ней думаю. Как мать, должно быть, умоляла их перед смертью.

Мужчина надвигался на меня. Руки обмякли, вспотели. Пожалуйста, подумала я. Пожалуйста. К кому я обращалась? К мужчине? К Богу? К тому, кто всем этим заправлял.

И вот он передо мной.

Ой, подумала я. Ой. Потому что оказалось — это обычный человек, безобидный, с белыми наушниками в ушах, идет и кивает головой им в такт. Просто человек, который гуляет по пляжу, наслаждается музыкой и слабеньким, режущимся сквозь туман солнцем. Он улыбнулся мне, проходя мимо, и я улыбнулась ему в ответ, как улыбаются прохожим, незнакомцам.

Сноски

1

18 апреля 1906 г. в Сан-Франциско произошло мощное землетрясение. Из-за вспыхнувших в городе пожаров, которые продолжались четверо суток, было разрушено почти 80 % зданий. — *Здесь и далее примеч. перев.*

2

Церковь процесса Последнего суда (*The Process Church of The Final Judgment*) — религиозная секта, существовавшая в США в 1960-х гг.

3

Детские организации вроде герлскаутов.

4

Роман Жаклин Сьюзан (1966); в романе “куклы” — таблетки барбитуратов.

5

Ежемесячный журнал для женщин, выходил в США с 1873 по 2002 г.

6

Американский бейсболист.

7

Сеть аптек.

8

Район в Сан-Франциско, в конце 1960-х из престижного квартала превратился в коммуну хиппи.

9

Корневое пиво на основе коры дерева сассафрас.

10

Имеется в виду группа *Jefferson Airplane*.

11

Сетевой ресторан.

12

Американский музыкант-инструменталист, трубач.

13

Тетрагидроканнабинол, каннабиноид.

14

Spanky and Our Gang — музыкальная группа, популярная в 1960-х. Она была названа в честь известного комедийного сериала 1930-х гг. *Our Gang / The Little Rascals* — “Негодяи”, или “Пострелята“, и его-то и имеет в виду отец Эви.

15

Доска для спиритических сеансов.

16

Общежитие и культурный центр при университете Беркли, *International House*.

17

Студенты за Демократическое общество (*SDS, Students for Democratic Society*) — радикальная студенческая организация, основана в начале 1960-х гг., в 1969 г. распалась.

18

Говард Смит (1883–1976) — американский конгрессмен от Демократической партии, представлявший ее консервативное крыло.

19

Дэвид Бринкли (1920–2003) — американский тележурналист, с 1956 по 1970 г. вел одну из самых популярных программ на американском телевидении.

20

Trans World Airlines — американская авиакомпания.

21

Сладость, чем-то похожая на зефир в шоколаде, вместо зефира маршмэллоу, внизу — тонкое печенье.

22

The People's Song Book — сборник революционных, рабочих и народных песен, впервые опубликован в 1948 г. членами организации *The People's Song*, выпускавшей брошюры и журналы с подборками таких песен.